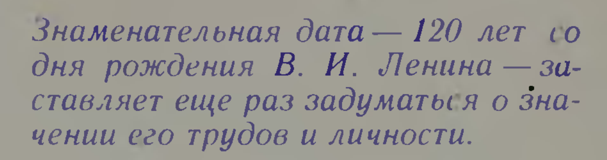
90 коп Индекс 73293



Знаменательная дата — 120 лет со дня рождения В. И. Ленина — заставляет еще раз задуматься о значении его трудов и личности.

НОВЫЕ КНИГИ ПОЛИТИЗДАТА

ISSN 0132-0637 Октябрь. 1990. № 4. 1—208.

1990 4 ОКТЯБРЬ

ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

4

1990





ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ОСНОВАН В МАЕ 1924 ГОДА. С 1925 ГОДА ИЗДАВАЛСЯ КАК ЖУРНАЛ ВСЕСОЮЗНОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, С 1934 ГОДА — ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР



1990

АПРЕЛЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Георгий СЕМЕНОВ

Два рассказа

Солнце любви

Вязанная из белых и черных нитей шапка сидела на нем высоким петушиным гребешком. На шапке сбоку, на черном фоне, было вывязано слово «Спорт», звучавшее насмешкой над его сутулой и болезненно худой, долговязой фигурой.

Он ходил среди толпы в залах универмага и хищной, вороватой взглядкой высматривал товар, будто готовился стащить что-нибудь с полок или выкрасть деньги из сумки зазевавшейся дамочки.

Бледное его лицо казалось озябшим, позеленевшим от нутряного холода. Бледность, как паутина, обметала кожу. Глубоко запавшие глаза выражали одну лишь беспокойную, зябкую злость, которая мучила его болью. Руки, сунутые в карманы плаща, казалось, тоже были злобно сжаты в кулаки.

Ходил он в толпе левым плечом вперед, рассекая идущую навстречу людскую массу. Останавливался, мрачно озирался вокруг, как если бы искал чей-то посторонний внимательный взгляд, наблюдающий за ним из этой кружащейся толпы. Переносица его морщилась при этом, как у близорукого, снявшего запотевшие очки.

Детский врач районной поликлиники Дмитрий Иванович Рученков в последние два-три года стал страдать от чрезмерной подозрительности и непонятного страха. Ему мерещились кровавые драки с потаенным ножом в руке нападающего, который неосторожно, грубо, очень остро и быстро пронзая ему мышцы живота, врезался в кровавое месиво кишок... Страх этот, усиленный знанием анатомии, заставлял напрягать все душевные силы и готовиться к худшему, если на пустынной вечерней дороге навстречу шли подростки, будь то в Москве или на проселочной дороге. В воображении рисовалась ему сцена нападения. Он отчаянно сопротивлялся в драке, одерживая каким-то образом победу, хотя рассудок подсказывал, что ни о какой победе в драке ему не приходится даже мечтать. Мышцы его, не знавшие физического труда и гимнастических упражнений, были дряблы и хилы.

Потомок деревенских жителей, он родился и вырос в Москве и с детства был так избалован родителями, так беспомощен, что даже лампочку не мог ввинтить в патрон, не говоря уж о более сложных делах по дому. Молодая его жена, благополучно родившая ему двух девочек-погодков (иногда Рученкову казалось, что именно девочки, будущая их судьба во взъерошенном мире, явились причиной нервного перенапряжения), жена его справлялась с этим куда ловчее, чем он, и все заботы по дому взяла на себя, освободив мужа от мелочей жизни.

Если он брался помогать ей, она гнала его прочь, отбирала, как у ребенка, плоскогубцы или молоток, зная, что он непременно прищемит или разобьет в кровь палец, ударив по нему молотком, которым он лишь изредка попадал по шляпке гвоздя.

Это был неприятный для окружающих, скрытный и заносчивый в своих претензиях человек, любивший во враждебном мире лишь жену и двух маленьких девочек, младшей из которых исполнилось три года.

За закрытой дверью, запертой на ключ, за зашторенными окнами, при включенном телевизоре он чувствовал себя спокойно и бывал даже весел и

шутлив, а то и оживлен до одури в играх с девочками. Дочери обожали отца, а жена смеялась до умильных слез, когда Митька катал на спине девочек, елозя на четвереньках по комнате и по-дурацки игогокая.

Он приходил домой с работы и долго тщательно мыл руки, прежде чем допускал к себе детей, и целовал их, подхватив на руки: в ласке и в играх он бывал неутомим в своем доме, куда не проникал посторонний взгляд из внешнего мира.

— Задерни, пожалуйста, шторы,— просил он жену, лишь только сумерки клали свои тени в комнате и приходила пора включать электричество.

Он терпеть не мог окон большого дома, громоздящегося на другой стороне улицы, они вызывали в нем чувство беззащитности и собственной слабости перед рядами этого многоглазья, этой толпы, живущей за белыми стенами и смотрящей, как чудилось Рученкову, прямо ему в душу.

В выходные дни он уходил гулять с девочками и, если стояла хорошая погода, уезжал с ними в центр Москвы, на бульвары, проходя в молчании километры и при этом не выпуская рук дочерей из своих.

Как-то в осенний день они сидели втроем на скамейке, присыпанной желтыми листьями. Молчаливые, тихие на улице девочки, не выпуская отцовских рук, задумчиво смотрели на прохожих, вытянув вперед ноги в красных сапожках и привалившись к отцу. Подбородками они уткнулись себе в грудь и на мир смотрели исподлобья и насупленно большими и ясными глазами симпатичных зверят, загнанных на эту скамейку подозрительно опасными людьми.

— Ах, какие хорошие у вас девочки,— ласково сказала старушка, проходя мимо и шурша листьями.— Прелесть!

— Что вы! — мрачно откликнулся суеверный Рученков.— Дома от них спасу нет. Это здесь они такие тихие.

Девочки удивленно взглянули на отца, но только крепче прижались к нему, как будто старушка хотела обидеть их всех. Домашнее счастье стало и для них тем маленьким секретом, о котором никому нельзя говорить правду. Рученков с благодарностью сжал теплые их руки: они поняли его хитрость. Руки их были такие маленькие, мягкие, как воск, и податливые.

Он всякую минуту чувствовал опасность, подстерегавшую девочек, напускал на себя хмурость и казался под своим гребешком в самом деле страшным великаном, грозным для воображаемых врагов дочерей.

Они гуляли долго, но помнили при этом, что дома их ждет воскресный винегрет темно-бордового цвета, дымящийся суп с оранжевой морковкой и, может быть, жареная морская рыба с картошкой или котлеты и, уж конечно, газированная сладость в бутылках, пахнущая леденцами.

За столом начинались разговоры, капризы и слезы: одна из дочерей не хотела есть рыбу под майонезом, что приготовила мать, и супилась над тарелкой, едва сдерживая слезы; другая уплетала за обе щеки и с мстительным злорадством поглядывала на сестру, поведением которой родители были недовольны.

Эти застольные ссоры были маленькими развлечениями в семье Рученковых. Родители долго обсуждали поведение дочерей, уложив их спать, стараясь оправдать друг перед другом каждую из них, зная, что короткий дневной сон, радостное это забытье уставших девочек, скоро окончится, они проснутся и как ни в чем не бывало примутся играть, даже не вспомнив о своих капризах и мелком злорадстве. А потом наступит вечер, по телевизору будут показывать какой-нибудь фильмик, золотистый свет задернутых штор будет освещать комнату и всех их, увлеченных каждый своим занятием, и придет умиротворение в сердца, ибо они останутся наконец-то одни на всем белом свете, любящие друг друга родные люди, о которых никто ничего, слава богу, не знает и до которых нет никому никакого дела.

Дмитрий Иванович Рученков в свои двадцать восемь лет очень уставал на работе и не скрывал этого от жены, жалуясь по вечерам коротким словом, похожим на стон: «Устал»,— которое он произносил с чувством обреченного на погибель человека, неспособного что-либо изменить.

Он улыбался тоскующими в глубине темных впадин глазами, зная, что перед ним единственный на свете человек, могущий простить его слабость. Это даже и не жалобы были на усталость, а просьбы о помиловании, о сочувствии и милосердии. Или вопросы о бессмысленности смертельной усталости, какую он испытывал к концу рабочего дня. Его усталость по сути своей никому не была нужна. Не приносила она удовлетворения и ему, хотя он и лечил больных детей. Но это мог делать всякий другой человек на его месте и делать это без особой усталости.

Он сам себя иногда понимал человеком с низменными инстинктами, когда думал, что так уставать на работе за такую мизерную зарплату, какую он получал, дико и безнравственно, потому что сам он тоже ведь человек, состоящий из той же плоти и крови, что и больные дети. Терзание этой плоти с методической изощренностью, похожей на добровольную пытку, за которую он, истерзанный и полуживой, получает два раза в месяц гроши,— страшное преступление перед человечеством. «Почему же так мало платят за такую муку? — задавался он вопросом к самому себе.— Если бы я получал в три раза больше денег, я бы хоть знал, за что я так мытарюсь на работе. Я похож на торговца, который продал лошадь втрое дешевле, чем она стоила, а теперь, когда уже поздно, страдает и плачет, обманутый. Может быть, оттого и усталость?»

Он зарабатывал много меньше какого-нибудь наглого волосатика за рулем такси, меньше уборщицы из поликлиники, которая успевала убирать по совместительству какую-то контору, получая за свой труд, не приносивший ей ни усталости, ни душевных тревог, чуть ли не в два раза больше его, врача, проучившегося шесть лет в институте и немало лет уже практикующего в новом районе Москвы.

Он так уставал, так много было вызовов на дом к больным детям, что к концу дня забывал порой попросить полотенце и мыло, брезгливо потом думая о себе, когда вспоминал об оплошности, задремывая в кабине синенького «Москвича», и укорял себя в распущенности, усиливая обморочную усталость.

Конечно, испуганные и заплаканные глаза детей приводили его в чувство, он улыбался им, бодренько разговаривал, отвлекая игрушками, но как только садился писать рецепты, усталость опять наваливалась на него, и он с большим усилием держал голову, засыпающую над латынью.

— Доктор,— слышал он сквозь забытье,— может быть, чаю или кофе?

— Спасибо. Нет, нет... Столько вызовов! Спасибо,— с виноватой улыбкой отвечал он заботливым людям и не стеснялся тоже говорить им: — Что-то я сегодня чертовски устал.— Как будто вчера он был чертовски бодр и весел.

— Погода ломается,— успокаивали его.— Или магнитная буря.

— Все мы теперь метеопаты,— отвечал он, не переставая виновато смотреть на людей.— Солнце очень активно. Но я где-то читал, активное солнце спасет озоновый слой. Нет худа без добра. До свидания,—говорил он, надевая плащ, если была дождливая, как сейчас, прохладная весна, и натягивая на уши двухцветный вязаный мешок, который сразу придавал лицу бессмысленное и носато-крысиное выражение.

«Боже мой,— думали люди,— зачем он носит этот дурацкий колпак? Неужели некому подсказать?»

Подсказать, конечно, было кому, но ни он, ни жена не замечали этого безобразия, потому что вечером, когда они бывали вместе, она не видела на нем колпака. Ему же было все равно, что у него на голове, если рядом с ним не было жены, а значит, не было никого. Спортивная шапочка, фасон которой получил в обиходе название «петушок», нравилась Рученкову: ее можно было сунуть в карман, а он ценил в вещах удобство и целесообразность.

Живут люди до старости, а так и остаются Сашками да Варьками, и никак не клеится к их именам уважительное отчество... В лучшем случае окликают их одним лишь отцовством, опуская имя за ненадобностью, будто он не человек вовсе, а некая принадлежность усопшего отца, а то и вовсе рода безвестных жителей Земли, имя которым — легион. Ходят по России поникшие от старости, серые, облысевшие, беззубые Степанычи, Петровичи или Степанна с Петровной, как бы забывшие свои имена, данные при рождении и освященные в купели. А спросят с уважением у старухи, как ее зовут, окажется, что имя ее Анна, ответит, смущаясь, как девушка: «Аня»... Про отчество постесняется: «Не больша птица, чтоб по отчеству величать!» Стоит такая Анна Степановна перед добрым человеком и робеет от душевных мук благодарности к этому незнакомцу, который про имя и отчество у нее спро-

сил и назвал Анной Степановной, словно одарил забытым уже почтением к ее старости и тяжелой жизни. И стыдно ей вроде бы перед человеком предстать в этом именитом обличье, как если бы не по заслугам он назвал ее Анной Степановной, будто она начальница какая. Прошамкает смущенно что-то себе под нос и не скроет застенчивую улыбку, недоверчивую и пугливую: не шутник ли перед ней, не насмешник ли?.. И долго еще будет тлеть радостная улыбка, как тихая зорька на летнем закате, в оживших ее глазах.

Жена Дмитрия Ивановича Рученкова с юных лет привыкла, будучи учительницей младших классов, что она не просто Оля, а Ольга Николаевна, как ее называли в школе не только ученики. Будем и мы ее называть с уважением.

Она была старше мужа, хотя выглядела моложе его. Тоже выше среднего роста, впрочем, незаметная в толпе, она не выделялась ни красотой, ни особыми приметами. Хорошо развитые молочные железы, стиснутые одеждой, образовывали туманную впадину, мягкую теснину, которая телесной своей тенью делила пополам высокую грудь и в плавном движении разливалась светлой плотью, произрастая сочным стеблем шеи, несущей хорошенькую голову-цветок. За головой Ольга Николаевна тщательно ухаживала. Подкрашивала волосы в темно-каштановый цвет, завивала их крупными локонами, заставляя кружить волной над плечами и отливать влажным лоском. Глаза у нее были коричневые, с обширной радужкой, отчего даже белок под густыми ресницами казался утомленно-красным, придавая глазам вечернюю тьму и ту задумчивую внимательность, на которую обычно ловятся мужчины, полагая, что эта внимательность и вечерняя таинственность, какую они замечали в ее взгляде, предназначается только им, ее избранникам. Что-то греховное видели они в ее глазах, как если бы она предлагала им обратить на себя особое внимание.

Но у нее с детства была эта привычка всматриваться в глаза людей, пряча свое любопытство и потому глядя как бы исподлобья, исподтишка, источая из глаз некую энергию, заставлявшую многих оглядываться и думать про нее бог знает что.

В этом смысле Ольга Николаевна была невольной жертвой, испытывая порой и неприятные минуты, когда к ней в метро или в трамвае вдруг, ни с того ни с сего, как она думала, начинал приставать мужчина, от которого пахло вином и который с пьяной расторможенностью звал ее куда-то, обещал какие-то радости жизни и чуть ли не хватал за рукав.

У нее, кстати, были полнокровные губы под толстеньким носом, которые она подкрашивала темной, почти коричневой помадой.

И вообще она была «ничего!» — как в смехе говаривала Ольга Николаевна сама о себе в минуты игривой веселости. Тонкая талия, узкие бедра и легкая, стремительная походка. Ну и, конечно, молодость и здоровье — все это составляло истинную красоту милой женщины, которую боготворил муж.

Он узнал ее в толпе, то есть разглядел сразу всю до донышка, увидел единственного здесь человека со своим лицом, неповторимое создание в этой безликой массе, и успокоился, мгновенно распрощавшись с чувством гнетущего одиночества: «Привет»...

Летнего платья лососевого цвета, какое давно хотела купить Ольга Николаевна, не нашлось, конечно, в ворохе разноцветного, ниспадающего с вешалок безобразия с рюшечками, воротничками, оборочками и фестончиками... «Ах, какая глупость, какая чепуха, ерунда, чертовщина! Кто это все придумал и для кого? Посмотри, какая жуть, ай-яй-яй! Как не стыдно! Это? Нет... Это годится для отпевания... Ты в своем уме? Нет, мне ничего тут не нравится... Пойдем отсюда, пойдем... Какое безобразие! Они болтаются тут с прошлого года».

Продавщицы скучающе поглядывали на нее с явным презрением, потому что сами точно так же думали обо всем этом тряпье, но не хотели, чтобы кто-то еще смел так же думать.

Но все-таки два дешевых ситцевых сарафана, маленький сверток в серой бумаге, они унесли из этого универмага, сэкономив кучу денег.

Впереди были лето и дача в Подмосковье, две комнаты и терраса, за которую они заплатили хозяевам задатка сто рублей, пятую часть громадной суммы. Это была первая дача, снятая самостоятельно, и оба они пребывали в страшном возбуждении, будто затеяли рискованное дело, грозившее им разорением.

Они давно уже откладывали по двадцать пять рублей в получку, поджимая свой бюджет, и к весне у них скопилось кое-что; они чувствовали себя богачами, но, отдав сто рублей, поняли, что ошибаются и что впереди у них кабала, принявшая образ четырехсот рублей.

Но свежий воздух, шелест листвы, ягоды, опята осенью—все это мерещилось неосуществимым счастьем, вливающимся в душу зеленой и солнечной прохладой. Лето в деревянном доме среди яблонь и цветиков, в тишине и покое... Сколько это стоит?

— Ну хорошо,— говорила Ольга Николаевна,— хорошо. Рублей двести я, наверное, сумею занять в кассе, а уж остальные — как-нибудь сами. Впереди еще столько времени, что-нибудь придумаем, правда? Зато девочки все лето будут на свежем воздухе. Представляешь себе, молоко — настоящее! — а в молоке ягоды земляники! Черника, наверное, тоже есть. С черникой я так люблю землянику! Представляешь, какая красота — солнце сквозь листву, пение птиц. Я забыла даже, как поют щеглы. Да и тебе тоже полезно провести отпуск за городом. Там, говорят, в августе орехи поспевают.

— Почему только отпуск? — морща переносицу, говорил муж.— Я буду приезжать каждый день. Сорок минут на электричке. Я столько же трачу. Вместо сорока — час. Какая разница.

— Конечно! А потом — каждый день прогулки... Километра два до станции?

— Да, не больше.

— Два туда, два обратно... Будем вместе ходить, а может быть, даже бегать. В Москве разве побегаешь? А на даче сам бог велел. Нет, я уверена, мы правильно сделали, что сняли. В конце концов и маме это полезно, как бы она там ни пищала. Три месяца на природе, а то и все четыре... Они ж говорили, можно и сентябрь... Ох, я что-то очень волнуюсь,— говорила Ольга Николаевна, прижимая ладошками горячие щеки.— Когда родители снимали, ничего, кроме радости, а тут тревога какая-то... Чего-то я боюсь. Нет, ты представь себе, представь,— открываешь утром окно, а перед тобой зеленые яблоки на ветке. Привет! Здрасте, яблочки! Хорошо, что мы сразу договорились о молоке. Один литр, конечно, мало, но и это хорошо. Девочки хоть настоящего молочка попьют.

— Да, хорошо,— соглашался он, хотя к молоку был совершенно равнодушен.

— Каждый день у нас обязательно будет свежий букет полевых цветов... Надо купить большую вазу. Это уж ты предоставь мне — это моя забота. Вернее, какая это забота?! Это радость. Я так люблю собирать цветы где-нибудь на опушке леса. Всякие цветы: ромашки, клевер... Ты знаешь, клевер бывает такой красивый, как маленькие розы... Душистый бывает, медовый. Я знаю! И в букете он хорошо смотрится. Мы их называли в детстве кашкой. Я не думаю, что это название пошло от каши... Тут что-то другое. А на опушке березняка чего только нет... Кстати! Совсем забыла! Мы щавель будем собирать! Зеленые щи. С яйцом, со сметаной и с кусочком черного хлеба... Девочки будут помогать, я научу их. Там еще есть такие крохотные цветочки, они голубенького цвета с желтенькой сердцевиной и похожи на анютины глазки. Забыла название. Тоже красивые. Между прочим, в лугах подорожник бывает совсем другой, у него длинный розовый цветок необыкновенной красоты... Или, например... Ах, господи! Что-то я очень волнуюсь! Дикие астры, конечно! Они бывают бледно-сиреневые или совсем розовые. Стебель у них как из проволоки, да... Очень прочный. Можно, конечно, ножичек брать... Ножички перочинные надо купить, потому что и за грибами пригодится, и какую-нибудь палку срезать. Правильно?

Он опускал глаза, встречаясь с ее взглядом, и, морща переносицу, скаля зубы, улыбался по-дурацки. Уж очень она азартно рассказывала все это, уж очень восторженна была, рисуя картины будущей жизни.

— Да! — спохватывалась она вдруг, вскинув изумленные глаза и тряхнув пушистыми локонами.— А я не обратила внимания: есть ли там колодец?

— Артезианская скважина.

— Это что? Это из-под земли? Ну да, конечно... Прекрасно! Хорошо, что нет колодца, потому что все-таки это опасно... Свалятся, не приведи господь!

От перевозбуждения у нее, казалось, опухли, налившись хмельной кровью, разрумянились щеки, подперев жаром блестящую коричневость глаз.

— Ах вот, вспомнила! Я еще люблю цветы козлобородника... Они поменьше одуванчиков, такие же желтые, но попушистее. По нескольку цветочков на сером стебельке... Очень хорошо смотрятся в букете.

— Откуда ты знаешь все это? Козлобородник. Первый раз слышу.

Вдруг она рассмеялась, откинув голову, смех ее был водянист и плаксив, жалок в своем звучании.

— Ну как же откуда?! — заговорила торопливо.— Ну как же? А про мою бабушку забыл? Это же бабушка. Я была маленькая, а она ходила со мной, рассказывала. А потом... Все-таки я и журналы просматриваю. «Наука и жизнь», например. Там, на последних страницах... Разве ты не видел? Странный какой-то вопрос,— обиженно добавила она,— «откуда я знаю»... Знаю. Ладно, хватит об этом. Что-то я совсем потеряла голову. Исключим эту тему, а то можно с ума сойти. Придет время...

Она внимательно и неожиданно злобно вперилась в мужа и сказала с чувством страшной какой-то обиды:

— Я много чего знаю, дорогой мой. Гораздо больше, чем ты. Мы когда-то договорились: никогда не спрашивать друг друга о том, что было до того. Мы ведь договорились! Ты обещал. Ты это не забыл, надеюсь... До того ничего не было — ни у тебя, ни у меня. Нас тоже не было до того...

— Но я ведь про цветы! — пытался возразить Рученков, неприятно опять морща переносицу и скаля длинные, лопатистые зубы.

Он был смущен, не понимая резкого перелома в настроении жены, и объяснил это себе нервным перенапряжением, срывом.

— В самом деле, не будем об этом. Впереди хорошие денечки, и это главное. Успокойся. Ты устала сегодня, прости. И все-таки странно...

Они пришли наконец к молчанию, к полному покою и тишине, которая была тише земной. Тишина эта оглушала вакуумом, в котором в некоей блеснувшей точке воскресла и беззвучно явилась былая жизнь, украшенная цветами, а Ольга Николаевна поймала задумчивым взглядом и как бы вросла в эту жизнь или, вернее, в ее обрывки, фрагменты в виде пятиугольников, треугольников, квадратов, выкрашенных в яркие тона старого бытия. И, оцепенев, она ушла. Глаза ее, нарушив оптический фокус, нужный для земной жизни, сдвинулись к носу, круто скосились, и взгляд выскользнул из реальности, устремился в некую щель и прорвался в бескрайнее пространство вечного времени. Она словно бы перестала быть здесь, рядом с землей, с домом, в котором был муж и спящие дочери. Она не хотела этого, но так получилось помимо ее воли.

Две ветви, два рога, белеющие в путанице шумных на ветру листьев, шатаются в синем небе. С ловкостью обезьяны она впервые в жизни взобралась на березу, но вдруг вцепилась мертвой хваткой в напудренную кору душистого дерева, словно ее подбросила сюда нечистая сила, и от испуга засмеялась.

Смотрит и смеется, смеется и смотрит на него, который рядом, на этой же высоте, в ворохе зеленых листьев соседней ветви, ухватился рукой и тянет изо всех сил на себя качающуюся ветвь. Кричит круглым ртом округлый звук ее имени, которое тонет в шуме леса.

Лицо ее в живых листьях качается над вершинами леса, в синем небе, в белых парусах облаков, а она прекрасно знает, чего он хочет, и оттого смеется, понимая, что он обязательно подтянет ее к себе, если она не свалится, и на этой высоте, в этом мечущемся треске листьев поцелует.

Она ждет и готова лопнуть от смеха, чувствуя себя перезревшим и очень тяжелым плодом, который вот-вот сорвется вниз.

...Это был человек особенной складки характера. В двадцать лет он не научился зарабатывать деньги, у него не было никакой специальности; где-то он учился, но его выгоняли за лень и полную неспособность что-либо понять в науках; ходил неприкаянный, в обтрепанных джинсах, единственном своем костюме, и, кажется, был доволен жизнью, если ему удавалось что-нибудь съесть за прожитый день и лечь спать не на пустой желудок.

Как же она ненавидела его за это! Ей казалось, что она уже не сможет жить без этого человека, но в то же время она понимала, что жить нельзя с таким человеком, за душой у которого нет ни гроша и, наверное, никогда

не будет. Он сочинял стихи и мечтал о славе, понимая себя гением, но стихи, которые она хвалила, казались ей упражнениями самолюбивого мальчика, избалованного и циничного. Ему доставляло огромное удовольствие употреблять в стишках нецензурные слова, и он смеялся над ней, когда она, стараясь не показать смущения, втолковывала ему прописные истины об особенностях литературного языка в отличие от обиходного. Она ненавидела его за этот смех, очень сердилась за его высокомерие, с каким он смотрел на нее, пролепетавшую эту пережеванную и давно уже отторгнутую глупость.

Он писал о непонятных ей людях, об их демоническом презрении к жизни, словно хотел доказать, что жизнь — половая тряпка, грязная и вонючая, в которой нет ничего святого. Писал без рифмы, с прозаическими отступлениями, которые он, подражая известному поэту, читал небрежной скороговоркой, взрывно переходя к поэтическим ритмам, и ей было неловко сказать ему, что все это очень не нравится ей, хотя она и восторгалась, но восторгалась им самим и тем еще, как он читает свои сочинения, а вовсе не стихами.

— Боренька,— говорила она вкрадчивым голосочком,— но ведь ты не такой, ты этого не можешь чувствовать... Тебе это не идет...

— Я разный,— отвечал он, поглядывая на нее сверху вниз.— Во мне живет подпольный негодяй, он наборматывает слова и во многом прав, хотя, конечно, я тоже не всегда согласен с ним. Но что поделаешь, он сильней. Когда читаю, я делаю шаг назад и смотрю ему в затылок. Это он, а не я.

— Но ты же любишь цветы. Почему ты никогда не напишешь о цветах и как ты их любишь?

Он любил цветы и хорошо узнавал многие из них среди травы. Опускал глаза только в тех случаях, когда видел цветы и мог броситься тут же в траву, увлекая и ее за собой, чтоб и она тоже могла разглядеть цветок. Не срывая, а пропустив между пальцами цветоножку, он разглядывал цветок, любуясь акварельной прозрачностью лепестков, которые пластались или пушистились живым перстнем на его худощавых пальцах. Особенно он любил дикую астру, называя ее своим тотемным цветком, и голубой цикорий.

Земля, на которой не было цветов, не интересовала его, и он шел по ней, высокомерно поглядывая по сторонам, словно впереди него шли согбенные слуги, ровняющие дорогу, чтоб он не споткнулся. Другого такого человека она не встречала в жизни и чувствовала себя счастливой избранницей в свите этого горделивого короля, и с аканьем, как в холодную воду, валилась с ним в траву, если душа его вдруг откликалась на зов цветка. Он ворчал, как шмель, нюхая ландыш или цветущую черемуху, гудел от восторга, разглядывая желтый венчик козлобородника. Порывисто выхватывал из серой холщовой сумки, которую он носил, выезжая за город, бутылку «Вазисубани» или «Цинандали», вырывал зубами пластмассовую пробку, впиваясь в нее с алчностью голодного волка, и протягивал бутылку, чтоб она сделала первый глоток. И она покорялась его страстному ожиданию.

Ненависть, граничащая со слезами,— вот все, что осталось в памяти от того тупичка в жизни, в которой она попала, не понимая до сих пор, как это случилось: любовь ли пришла, или физическая ее созрелость раскрылась в неурочный час и первый встречный сумел раньше других оказаться рядом с ней, сумел напористостью своей разжечь в ней любопытство, победившее рассудок.

Но вот что странно. Неожиданно для самой себя она об этом человеке подробно рассказала Мите Рученкову, когда познакомилась с ним, почуяв в нем терпеливого и доброго исповедальника, готового слушать ее. Рассказ получился печальным, словно она, едва узнав Рученкова, уже прощалась с ним, оплакивая загубленную жизнь и ни на что не надеясь.

— Такие вот глупости я натворила, такая вот я...— со вздохом закончила она исповедь, которая искренностью своей доставила ей самой болезненное удовольствие, повергнув в волнение, какого она никогда еще не испытывала.

Рученков выслушал ее. Они стояли, навалившись грудью и локтями на гранитный камень набережной в том месте Москва-реки, на той ее стороне, где за спинами их темнела кремлевская стена, а за рекой горбатилась старая Софийка; стояли, подломив колени и перевесившись через камень, смотрели в мутную воду, отливавшую павлиньими хвостами нефти, замусоренную, тяжкую в своей тьме, мертвенно протекавшую перед ними с похоронной мед-

лительностью. Ни всплеска играющей рыбы, ни взмаха белой чайки — ничто не оживляло некогда светлую речку с хрящеватым дном.

Рученков, не отрывая взгляда от воды, всхлипнул вдруг и сказал:

— Я люблю вас... Я никогда, поверьте, никогда... Я знаю...

Этот всхлип, спазматически-болезненный и шумный, в который она не сразу смогла поверить, так расслабил ее, что она долго плакала у него на груди, как если бы все ее грехи были вмиг прощены доброй душой.

День был пасмурный, вода серая, стена бурая, сырая, деревья еще голые — стояла ранняя весна, и людей на набережной было мало: она не видела их.

— Митенька,— шептала она сквозь слезы.— Митенька...

Он гладил ее волосы, и она чувствовала, как дрожит его рука.

— Митенька...

Дрожь эта словно бы пролилась в нее ушатом холодной воды, она прижалась к нему в лихорадочном ознобе, и он слышал, как, мелко цокая, фарфорово стучали ее зубы. Она и сама тоже слышала, но не в силах была справиться с колотуном. Не могла представить себе, что тело ее умеет так сильно трястись, распадаясь на куски, многократно раскалываясь вдребезги, навсегда теряя способность обрести былую целостность.

Эта прогулка в прошлое дорого стоила ей, она заболела и лежала в сильном бредовом жару, отгоняя с капризным стоном встревоженную мать и желая лишь одного: увидеть своего Митеньку.

Он приходил каждый вечер и подолгу сидел у постели, грея холодные пальцы в ее руках. Она не отпускала его ни на миг, разглядывая и привыкая к некрасивому лицу, которое вскоре перестало казаться ей некрасивым, точно она одолела каким-то своим главным, всепроникающим чувством внешнюю оболочку плоти и поместилась всем существом в тихой и очень красивой обители этого человека, найдя там тепло уготованного ей жилища. Она как бы стала смотреть на него сквозным взглядом, видя и не видя его, обнаружив в себе эту способность и очень обрадовавшись, что она хоть и видит его глазами, но любуется им из какой-то иной, до сих пор незнакомой ей глубины.

Градусник, который он ставил, холодный и гладкий, как морской камушек,— был первым его прикосновением.

— Извините, я врач,— говорил он, морща переносицу, щурясь в странном волнении, чуя теплый, горчичный запах ее тела.

Эти полукасания и ее волновали необыкновенно, в ней замирала душа, когда она, помимо воли содрогаясь от льдистого прикосновения, словно бы старалась успеть прижать под мышкой вместе с холодом стекла холод его пальцев, испуганно ускользавших всякий раз.

Утром она просыпалась с его именем и ждала вечера, страдала, если он задерживался, доводила себя до истерики, до полного отчаяния и чуть ли не взрывалась в кровати от страха и радости, слыша звонок:

— Мама! — кричала она ломким хрипотком.— Мама! Ну где же ты?! Звонок! — И ужасно злилась на нерасторопную мать за то, что та не бежит открывать, и, главное, за то, что она здесь, дома, рядом, дышит, ходит, мешает и не догадывается уйти на часок куда-нибудь.— Слышишь, мама! Звонок!

А сама пряталась до подбородка под одеялом и, вытянувшись, с обмиранием смотрела на белую, поблескивающую филенками дверь с потрескавшейся краской, на ее старую ручку из желтой меди и ждала, когда эта изогнутая спелым бананом ручка вздрогнет и кивнет вниз на своей пружине, а в темном проеме покажется Митенька.

Ни с чем не сравнимое состояние духа переживала она, встречая усталого Митеньку и всеми силами отмахиваясь от тех навязчивых видений, которые все еще посещали ее в полубредовом забытьи, пугая своей реальностью и неистребимостью.

Опять она видела того человека, проваливаясь в сумерь прошлой жизни, где она уже ничего, кроме гадливости, не испытывала, ничего, кроме крика души, не слышала из той мрачной ямы, словно измазанной омерзительно-холодной слизью, из которой она выкарабкивалась, оскальзываясь и падая.

Пропащий человек, какой мерещился ей с безжалостным постоянством, возбуждался от вина и опять, грозя опухшим пальцем, злобно говорил, как бы видя перед собой толпу поклонников:

«Берегите меня. Я знаю путь... Берегите как следует меня! Я укажу... Давай! За Россию! Выпей со мной. Ах, так?! Ты против России?! Не хочешь?! За Россию не хочешь? Вон оно что!»

Он всматривался в нее с нарастающим мраком в отекших глазах, и она, зная его, уходила с привычными уже слезами, предчувствуя бешеную злобу, какая вдруг начинала душить его, как если бы он наконец-то разглядел очумелым, побелевшим взглядом истинного врага России. Хлопала дверью и с ужасом слышала за спиной грохот удара и звон разбитого об дверь стекла.

Потом он жалобно хныкал и мучился, прося у нее прощения, обещая никогда больше не пить вина. Но все чаще и чаще приходил домой пьяный и уже на пороге, пугая ее своим видом, с мстительной гримасой кричал, что он опять назло ей напился и будет пить, пока Россия не обретет покой и свободу.

В минуты проясненного разума пытался писать о разрушенных храмах, о Христе, о Куликовской битве и о святом Дмитрии... Она опять хвалила его, хотя понимала, как ничтожны и случайны его знания о русской истории, но, надеясь еще на воскрешение, была возбуждена, как и он сам, говоря с придыханием:

— Это хорошо! Ты молодец. Вот это твое, наверное, истинное... Ты себя нашел наконец... Это очень важно — найти себя. Только не сорвись.

Но в ответ видела злую усмешку, с какой он бросал ей:

— Дура! Ты что бормочешь? Мозги-то прочисти! Ох, дура! Это я-то нашел себя? Ты что! До сих пор я, значит, искал себя? Ищут, в душу твою мать, вшей в голове. Пошла вон, паскуда! Россия погибает! А она... Ее... Поэту!..— орал он, впадая в раж.— Уйди отсюда! Ах-ха, лучшему поэту России — такое...

Она перестала понимать, когда трезв он бывал, а когда пьян. Попытки привести его в чувство ни к чему не приводили. Ей казалось, что она только и делала, что трясла мешок, надеясь вытряхнуть некую драгоценность из пыльного его нутра. Но силы ее в конце концов иссякли, а надежды покинули навсегда.

«Нет,— сказала она себе,— я не гожусь в героини. И женой гения быть тоже не могу. Не хочу!»

Видения эти мучили ее до тех пор, пока она не рассказала обо всем своему спасителю Дмитрию Ивановичу Рученкову. Теперь ей там, в том страшном мире, нечего было делать одной, а с ним тем более. В ее сознание наплыл густой туман и, закрыв от нее мерзкие сцены, заглушил заодно все звуки, доносившиеся до ее сердца крысиной возней, писком, грохотом и шатким топотом неверных ног.

Она ликовала, спасенная святым Димитрием, как думала украдкой о нем. Ей очень хотелось болеть, лениться, купаться в мечтах и лени, ждать своего доктора, который приходил и измерял ей температуру, стряхивая градусник локтистой рукой с долгими и узкими пальцами, поблескивающими розовой кожей, как у пятиклассника, грызущего ногти.

Таким он и остался для нее, матери двух дочерей, похожих, к счастью, не на отца, хотя и говорят, что счастливые дочки в отца. Вряд ли будут они счастливыми, унаследуй каждая из них его черты.

Он сидел под торшером, читая приложение к «Вечерке», и плечи его подпрыгивали в скрытном и упругом поскрипывании, какое он издавал смеясь, будто кто-то в нем бежал в скрипучих сапожках. Зашуршал газетой, ощерился в счастливой улыбке.

— Вот смотри,— сказал он,— какое я открытие сделал. Что хотят купить люди. Недорого дом, полдома, часть дома. Автомобиль, автомобиль, стенку, мягкую мебель, опять автомобиль... Благоустроенный дом. Недорого домик в деревне... Новую автомашину. Старинную мебель. Богач! Часы ему каминные нужны. Зимнюю дачу, дом, желательно с телефоном... Опять дом, домик, дача. А какие предложения? Что продают? В основном породистых щенков... Щенков кавказской овчарки, волкодавов, верный друг, надежный сторож. Длинношерстная такса. Афганская борзая. Гладиолусы! Персидские котята. Щенок коккер-спаниеля, ризеншнауцера, миниатюрного пуделя шоколадного окраса. Буль-терьера. Колли. Щенков серого той-пуделя и даже машинку для стрижки собак. Малый абрикосовый пудель. Опять колли. Клуб-

ных щенков добермана, ого! От импортного производителя... Щенки редкой элегантной породы бедлингтон-терьер. Очаровательные «овечки» розового и голубого окраса; клуба «Фейвэд Стайл», высота 40 см, не линяют. Опять щенки, щенки... Полное изобилие! На любой вкус, сколько угодно. Производство налажено, как в развитых странах... Никаких пятилеток, никакой идеологии... Родятся, множатся, процветают. Приходи, выбирай, плати деньги и радуйся. А люди вопят: дом хочу, автомашину хочу, мягкую мебель хочу, жить хочу хорошо... Вот тебе спрос, вот тебе предложение.

Лицо его, только что сморщенное в брезгливой усмешке, разгладилось, глаза с болезненным упреком уставились на жену, он спросил, стукнув пальцами по газете, издавая звук выстрела:

— Ты, наверное, тоже хочешь дом, автомашину, каминные часы, да?

— Нам проще,— сердито ответила она.— Мы не можем, потому что без денег. А люди не могут, потому что у них деньги, и они хотят превратить их во что-нибудь существенное. Им сложнее: инфляция. Ничего я этого не хочу,— сказала и очень неприятно пошевелила губами, будто что-то не договаривала.

— А я бы пожил! Черт с ними, с каминными часами. А вот автомобиль нужен. Пусть бы стоял в гараже. Вот тогда пригодился бы и «верный друг, надежный сторож». Девчонки бы бегали по лужайке, а с ними собака — хвостом бы своим виляла. Язык розовый, слюнявый, а глаза карие, как у тебя. Разве плохо?

В этот вечер она не расположена была к шуткам.

Рученков в розовой рубашке с короткими рукавами, в зеленых шортах, сутулый и долговязый, стоял, прислонившись к липе, и смотрел с прищуром на вытоптанную тропу, ручьисто бежавшую в полусумраке разросшихся канадских кленов. Он встречал жену, и душа его была неспокойна. Он уже пропустил одну электричку, на которой обычно приезжала она, занятая в школе бессмысленным времяпровождением, и теперь очень нервничал, отгоняя мрачные видения, мучившие его своей жестокостью.

Он стоял, сложив руки на груди и скрестив ноги. Острые, костистые локти и шишковатые колени, серые от пыли длинные пальцы ног, растянутость худых мышц, шарнирная непрочность тела, которую сам он словно бы не замечал или, во всяком случае, не придавал ей никакого значения, вдобавок ко всему белый козырек на резинке, заломившей волосы на затылке,— все это делало его неприступным и замкнутым, нездешним, никак не связанным с той жизнью, какая текла своим чередом на пыльном пространстве возле станции.

Сам же он был напряженно-внимательным к этой непонятной для него чужой жизни, таинственной и опасной, какой она представлялась ему, как если бы он был несметно богатым человеком, но об этом пока еще не знали люди. Хотя некоторые уже догадывались и поглядывали на него подозрительно, проходя мимо и исчезая, проваливаясь куда-то бесследно, за угол ли дома, в сумрак ли горячей тропинки, ведущей на платформу, скрывались из виду, чтобы устроить засаду на него, когда он наконец-то встретит и станет обладателем несметного богатства.

Все люди, проходившие мимо, казались ему ничтожными бедняками, готовыми на любое преступление ради мелкой своей наживы и неспособными понять его, богатейшего в этом мире человека, живущего среди них. Чувство собственного превосходства, которое ему приходилось скрывать от людей, мучило его своей остротой, заставляя именно так, надменно и презрительно, смотреть на бедняков. Он и думать не позволял себе, что кто-то из них может сравняться с ним, обладающим таким богатством, такой непозволительной роскошью, какими считал он дочерей и жену, соединенных с ним таинственными нитями любви. Ему страшно было представить себе, что какой-нибудь негодяй может посягнуть на его богатство, забраться грязной лапой в душу и нарушить эту соединенность, которую с такой отчаянной тревогой оберегал он от посторонних глаз, алчных и злых. «Ноздри порву! — мрачно наговаривал он про себя, когда человек, проходивший мимо, казался ему особенно подозрительным.— Порву ноздри, сволочь...— и эта угроза казалась ему самой страшной из всех, какие он знал.— Ноздри порву».

Услышь кто-нибудь эти угрозы, эти мысли и чувства Рученкова, вся его напряженная сосредоточенность наверняка показалась бы смешной и нелепой,

а то и неприятной до омерзения, как если бы перед людьми проявился во всей своей неприглядности страшный эгоист, не виданный еще миром себялюбец, стерегущий свой покой и благополучие.

Но Рученкову было не до улыбки: он ждал жену, которая должна приехать к нему из злобного и опасного города, и все, что попадалось ему на глаза, представлялось не иначе как мрачной помехой на пути встречи с ней.

За густыми кленами рассыпался вдруг вдоль платформы тихий, но пронзительный звон, словно кто-то провел там гвоздем по стеклу,— это остановилась подкравшаяся к станции московская электричка. Рученков встрепенулся, каждая мышца его наполнилась силой, все его жилы напряглись, сердце с надеждой участило ритм, он прокашлялся от волнения и почти бегом, стараясь не опоздать, ринулся сквозь заросли молодых кленов к платформе.

Успел увидеть раздвинутые двери вагонов, цветные тени чужих людей, явившихся на свет и ступавших на асфальт платформы.

«Нет, не она, не она, нет, не она,— колотилось сердце.— Не она...»

Это были ненужные ему, отвратительные до ужаса тени в пестрых платьях, брюках, на высоких и низких каблуках, которые зачем-то выходили из вагонов и тянулись вдоль зеленой тьмы электрички к бетонной лестнице.

Но вдруг он увидел... Нет! Взгляд его вдруг наткнулся на единственного там живого, одухотворенного, близкого до щемящей боли в сердце, знакомого до неведомых никому подробностей, удивительного в своей гармонической цельности человека. И даже нет! Не человека. Это был ангел, чудом слетевший на серую платформу.

Он замахал рукой и понял, что замечен. Перешагнул через рельсы и, улыбаясь, шел по запретному пути, по шпалам, глядя на нее снизу, любуясь ее улыбкой и распаренным в душном вагоне лицом. Выхватил на бетонных корявых ступенях тяжелую сумку из ее рук, уткнулся носом в упругие волосы. Ему стало очень жалко ее, изнуренную в душной Москве, в душном вагоне, и стыдно перед ней за свою праздность.

Но он молчал не в силах перебороть радость и чуть ли не до слез доходящее волнение, какое он испытывал, идя с ней рядом и чуя горчичный запах ее тела, смешанный с неуловимым запахом духов. Он даже не спрашивал, почему она опоздала, зная, что это не имеет теперь никакого смысла и значения, ибо она была рядом, жива и здорова, и весь вечер и всю ночь будет с ним до утра, пока он не разбудит ее и не скажет ей, что пора, к сожалению, просыпаться, и, как всегда, пойдет провожать ее до станции, чтобы вечером опять прийти сюда и с замиранием ждать, ждать, испытывая чувство полного одиночества и безумной тревоги.

Они шли по тропинке через поле, она была впереди, он чуть сзади, потом через лесок, в котором пахло березовым вялым листом, по улице поселка до чужого дома, где ждали их у калитки дочери, соскучившиеся по матери.

Опять они были вместе, одни на всем белом свете, и он, смеясь, рассказывал ей, как соседка опрыскивала корову из баллончика с ядовитой жидкостью, спасая буренку от комаров, мух и слепней.

— Сумасшедшая! — откликалась Ольга Николаевна и покачивала головой, отчего локоны ее пружинисто касались щек.

— Сумасшедшая,— вторил он, словно бы радуясь, что соседка, у которой они берут молоко, сумасшедшая.

— Девочки пьют молоко, а она опрыскивает корову гадостью,— говорила Ольга Николаевна.

— Это не страшно. Корова большая. Но, конечно, она сумасшедшая!

— Сумасшедшая! — соглашалась Ольга Николаевна.— Вся наша жизнь сумасшедшая!

— Вся жизнь, Оленька, вся жизнь,— вторил Рученков.— Я тоже недалеко ушел. Электричка, а тебя нет и нет. Какие-то выходят, выходят... все не ты, не ты... Смотрю, и двери закрылись. Это ужасно было! Чуть с ума не сошел. Чего я только не передумал! Даже думал, что ты забыла сойти. Ты опоздала?

«Я, Митенька, встретила *его*»,— почти сказала Ольга Николаевна, но поперхнулась и, не ответив на вопрос, с внезапной озабоченностью промолвила едва слышно:

— В Москве такая жарища. Сегодня послали в отдел озеленения...

Сплошная говорильня,— взглянула на мужа, увидев бугры его больших коленей, и опять словно бы сказала ему: «Я, Митенька, встретила»,— и ей стало страшно, будто она и в самом деле не сумела скрыть встречу с ним. Лицо ее поплыло в смущении, она прижала ладони к щекам, сдерживая предательскую неуправляемость мышц и кожи, которые словно бы плавились, как воск, текли, раздражая глаза.

— Что-то я хотела сказать! — воскликнула она и порывисто встала. «Ну что ты на меня так смотришь?» — чуть не вскрикнула она, хотя Митенька только ждал, что же она ему хочет сказать, не замечая ее смущения, и с любопытством разглядывал вспыхнувшее лицо.— Ах, да! Я, наверное, завтра останусь ночевать в Москве.

— Я с тобой,— подхватил он тут же эту идею.

— Конечно, ты со мной,— откликнулась она.— Ты без меня ни на шаг... Это уж слишком, Митенька, слишком! Так нельзя. Мне надо постирать, мне некогда будет кормить тебя, ухаживать.

Рученков, увидев слезный блеск в ее глазах, забеспокоился, встрепенулся навстречу ей.

— Ты устала,— говорил он,— успокойся. Ну, пожалуйста, я прошу. Поступай, как хочешь... Конечно, тебе тяжело мотаться в такую жару, я понимаю. И давай договоримся: все хорошо. Все хорошо.

— Все хорошо,— согласилась она.

Все было бы хорошо, если бы не занозистое, маленькое «но»... Если бы не подземный переход под Садовым кольцом, куда по какой-то странной прихоти нырнула Ольга Николаевна, увидев на другой стороне улицы хозяйственный магазин и решив заглянуть в него. Она, конечно, знала, что денег у нее нет и купить она ничего не может. В сумрачном каменном подземелье, душном от выхлопных газов, видя впереди подголубленный отделочной плиткой бледный свет, она почувствовала почти физическую неловкость от неожиданного нырка под землю, словно ее что-то иное, чем простое любопытство, заставило предпринять переход под широким полотном улицы. Она подумала: не вернуться ли? — потому что чувство неловкости, сковавшее вдруг ее мысли, было настолько сильным, что она даже телом ощутила его неприятное давление.

И это было неспроста.

Едва она поставила ногу на ступеньку лестницы, ведущей в солнечное пекло, как навстречу ей, сверху, из мертвенного сияния догорающего дня прыгнул человек на костылях, неся на весу белую от гипса и бинтов ногу, и тут же окликнул ее удивленно округлым «О» ее имени.

Русые усы и бородка, из которых вместе с шумной одышкой выпрыгнуло и гулко покатилось ее имя, путая разум и смущая мгновенной догадкой,—все это так ошеломило Ольгу Николаевну, что ей даже почудилось, будто голубая стена качнулась. Она успела выкинуть навстречу ей руку и с трудом удержала дурную стену от падения.

Вцепилась пальцами другой руки в лоб и ворчливо сказала:

— Господи! Как ты меня напугал.

Это был, конечно, он. Мокрый от пота, в промокшей, потемневшей серой рубашке, он стоял перед ней, выставив ногу в тяжелой гипсовой обмотке, из-под рваных краев которой смиренно торчали багрово-отекшие пальцы, побеленные гипсом. Он загнанно, шумно дышал, улыбался урывками и был смущен не меньше ее.

— Видишь,— говорил он,—прыгаю. Первый раз вышел. Жмут, елки-палки, под мышками. Жара, мокрый насквозь. Ты туда? Мне все равно...

Она, будто отшибло ей память, шла по ступенькам рядом с ним, покорно, как прежде, и безвольно. А он, осторожно и неуверенно подтягиваясь на костылях, поднимался наверх. Ей казалось, что он вот-вот упадет, рухнет на своих ходулях, разобьется вдребезги на бетонных ступенях. Рука ее то и дело вздрагивала, дергалась, тянулась к нему, когда он оступался.

— Ногу сломал,— говорил он с одышкой.— Думал: как это люди кости себе ломают? А тут сам. Веселенькое дельце! Когда-нибудь сама ломала, нет?

— Нет, я не ломала,— ответила она, думая, что у нее нет времени, но думала она об этом, как о чем-то постороннем, не имеющем к ней отношения. Да, конечно, времени нет. Но при чем тут она? Времени нет для чего? — Нет,— повторила она в крайнем удивлении.— Я, слава богу, еще цела. Свалился откуда-нибудь?

Он смехом ответил на этот вопрос.

Они вышли на пепельно-серую плоскость широкого тротуара, в шум и вонь Садового кольца, битком набитого злобными автомобилями, несущимися в мареве газов, словно в собственных испражнениях, к запаху которых привыкли живые люди.

— Посидим,— чуть ли не криком сказал он, перекрывая рев автомобилей своим голосом.

Присел на низкий, пыльный парапет перехода, а она, вспомнив вдруг шумный лес, березовые ветви, шатавшиеся на ветру, его восторженный крик, опять с ужасом подумала, что у нее нет времени. Именно у нее нет времени постоять с ним рядом и что-то вспомнить, о чем-то спросить, но смелости не хватало сказать ему об этом проклятом времени, которого нет в грохочущем пространстве. Она с испуганной улыбкой смотрела на него и думала, что в бороде и усах он был на кого-то очень похож, хотя никак не могла понять на кого. Они придавали ему значительность, ностальгическую русскость, а может быть, даже хитроватую простоватость, скрывавшую острый ум... Что-то такое видела Ольга Николаевна в нем и хотела, как это ни странно, знать — нравится ей это или нет. Перед ней сидел чужой человек, но ей все равно важно было, чтоб он ей нравился, будто она имела на это право.

— Тебе идет,— сказала она, сделав выбор.

— А мне все идет! — со смехом откликнулся он, поняв, о чем речь.— Мне даже костыли идут. Народ сочувствует, по глазам вижу. Такой молодой, а на костылях. Дай-ка мне твою руку.

— Зачем?

— Дай, дай, не спрашивай.

Неуверенно протянула, он осторожно взял ее за запястье, и она с волнением почувствовала его влажный палец, ищущий пульс. Вот он нащупал бьющуюся жилку, прижал ее и, прислушиваясь к волнистым ударам, задумчиво посмотрел в глаза смущенно притихшей Ольги Николаевны.

— Не бойся,— как мог тихо сказал он.— Я хочу послушать твой пульс. Мне это надо.

— Зачем?

— Частит немножко. Ты волнуешься, это хорошо,— говорил он, поймав ее покорливый взгляд и с мольбой прося о пощаде.— Человек должен волноваться. Я сам сейчас дьявольски волнуюсь. Прости меня, О-о...

...«О-о-о»,— кричал он, стараясь ором своим переорать шумный лес, раскачиваясь на березовой ветке в ворохе трещащих листьев. И тянул, тянул на себя другую ветвь, на которой качалась она, вцепившись, как кошка, в белую кору дерева. Сколько же лет прошло! Он все-таки дотянулся тогда и поцеловал ее, помог спуститься на землю и не выпустил из рук... «Неужели это был он?» — думала она, с удивлением глядя на него и чувствуя его палец, давящий на бьющуюся жилку. Вспомнила опять, что у нее нет ни минуты времени. Да что же это за время такое, которого нет, нет и никогда не будет... Боже мой, неужели это моя первая любовь?»

— Ну хватит,— сказала она, высвобождая руку.— Зачем это тебе?

Было слишком шумно, душно, и он не расслышал вопроса.

— А ты красивая! — крикнул он и опять засмеялся незнакомым ей, бородатым смехом, мокрый от пота, сероглазый, измученный безалаберной жизнью, очень близкий ей некогда человек.— Красивая, честное слово! Я, как Онегин, смотрю и думаю: вот дурак-то был...

Поток машин ринулся от светофора, штурмуя эстакаду над Самотекой, ревущий шум оглушил их, и она крикнула:

— Онегин так о себе не думал!

— Думал! — кричал он.— Наверняка думал! Именно так и думал: ох, дурак, думал, какой дурак!

— Как ты живешь? — криком спрашивала она.— Как дела?

Нога, на которую он бросил взгляд, безжизненной пяткой касалась тротуара, пальцы, как матрешки, высовывались из-под загипсованного бинта.

— Как живу? — переспросил он.— Видишь, ногу сломал. Стишок вчера накарябал. Что еще... Женщин — пруд пруди. Одна уверяет, что я отец ее ребенка, тянет гроши... Может быть, и в самом деле мой. Еще одна обещает

родить. Это уж слишком,— сказал он, кисло смеясь.— Пиво по случаю пью. Завтра, а может, и сегодня напишу опять стишок... В ритме твоего пульса. Будет в нем фонема «о» и твой пульс... «Пусть пульс фонемы О...» Что-нибудь в этом роде... Пульсирующее О... Понятно говорю? «Пусть пульс фонемы О...» А дальше пока не знаю! Прости меня, пожалуйста, О!

Она в смятении поняла, что ей давно уже пора, коснулась судорожным движением руки спутанных его, нечесаных волос, влажных от пота, и быстро пошла вверх, к бывшей Сухаревке, к метро.

Она не услышала от него ни звука, но долго еще чувствовала спиной горький и простодушно-хитрый взгляд, пока толпа на тротуаре не оттеснила и не спрятала ее своей толщей от него.

Шла, улыбалась и плакала.

Она никогда не рассказывала мужу об этой встрече и так и не услышала стихотворения с пульсирующим О, которое было обещано ей. Москва слишком велика и многолюдна, чтобы дважды случайно встретиться с одним и тем же человеком.

Иногда она жалела об этом. Обиднее всего казалось ей то, что он не спросил у нее о ее жизни, а сама она не нашла даже минутки, чтобы сказать, что замужем, что у нее две дочери и что она очень счастлива с ними. Так счастлива, что ей больше ничего не надо.

Ей было очень обидно, что он так и не узнал о ней ничего и в бредовом воображении, сочиняя свои стихи, может подумать о ней, будто она тоже, как он, живет от случая к случаю, меняет партнеров и жалеет, что рассталась с ним.

Это предположение не давало ей покоя и злило, как если бы он оскорбил ее своим равнодушием и нелюбопытством.

Надо было бы сказать ему: а я вышла замуж, очень счастлива, муж у меня детский врач, добрый и умный человек, обожающий детей; любит меня и в каждом человеке видит моего обидчика; я его тоже люблю, потому что это большая радость и счастье откликаться любовью на любовь; я его не только люблю, я ему благодарна, что он спас меня от тебя, да, спас; если бы не он, неизвестно еще, как сложилась бы моя жизнь; я его так люблю, что тебе даже не снилась такая любовь, да, да, и можешь не усмехаться в свои дурацкие усы, в слюнявую бороду, я ненавижу тебя, ты омерзительный, грязный развратник, ты не имеешь даже права думать о поэзии, прикасаться к ней, потому что ты мразь, и я тебя никогда ни за что не прощу, сколько бы ты ни просил; ты мразь, мразь, отказываешься от своих детей, усмехаешься над несчастными, тебе до них нет никакого дела, и я тебя ненавижу, презираю тебя, ненавижу. Господи! Прости...

В тот вечер, когда она осталась ночевать в Москве, она очень долго плакала. Стирала белье, всякую мелочь, накопившуюся за лето: трусики, платки, колготки, маленькие и большие. Она склонялась над мыльным тазом, тискала в руках тряпичную рухлядь, сливала в ванну грязную воду, полоскала, развешивала на веревках и все время плакала, делая это с каким-то особенным, щемящим удовольствием, как если бы соскучилась по слезам. Поглядывала на себя в запотевшее зеркало, видела опухший нос и красные мокрые глаза, мокрые щеки, и слезы с новой силой припускались из глаз.

Сказала бы ему: ты думаешь, ты моя первая любовь? Ошибаешься! Я тебя никогда не любила, я поняла, что такое любовь к мужчине уже без тебя. Ты можешь записать меня в число своих побед, ты можешь хвастаться перед забулдыгами, что я была твоей, у тебя не отнимешь этого права, и это ужасно, но не думай, что это была любовь... Ты можешь зачать ребенка, но зачать любовь ты не в силах, ты бесплодная тварь, я бы пришибла тебя камнем, переломала бы тебе все кости на мелкие кусочки...

Она опять и опять смотрела на себя в зеркало, плакала и жалко улыбалась, ужасаясь мыслям и словам, которые теснили, распирали голову, жгли ей грудь и так волновали ее, что она даже подставила свою голову под холодный душ, остужая жар. Ей казалось, что голова ее издавала змеиный шип, остывая под струями воды.

«Господи,— подумала она, встретив свой безумный взгляд, увидев отвратительную лепешку вместо лица.— Прости меня, Господи! — прошептала она вслух.— Я не знаю, что говорю... Боюсь... Боюсь, Господи. Зачем ты сделал так, чтоб я увидела его? Я ведь хорошо жила... дети, муж... У нас все хорошо... Разве нужно меня искушать? Для чего? С какой целью? Не понимаю, Господи... Или это не ты?»

Она очнулась от нежданной и негаданной жалобы и мольбы, услышав свой плаксивый шепот, тряхнула головой, мокрые волосы хлестнули ее по лицу, по глазам...

— Не дури! — злобно сказала она той, что перилась на нее своим отвратительно гнусным взглядом отекших, страдальчески горьких глаз.— Возьми себя в руки, идиотка!

Она плохо спала в эту душную ночь, ворочалась, раскидывалась, вставала и во тьме подходила босая к распахнутой двери балкона, в полной прострации смотрела куда-то, видя редкие пятна окон, светившиеся в мутной московской ночи.

В эту ночь ее мучило сладостное желание, давно забытое, но освеженное встречей, какое она испытывала когда-то от прикосновения его торопливых рук, его поцелуев, его бормотанья... Тело ее страдало от тщетного предвкушения чувственной радости, она языком увлажняла сухие, клейкие губы и, как чуткий приемник, настроенный на его волну, ловила в эфире звуки многодавнего голоса, сама в полубреду нашептывала те слова, какими молила его, просила, требовала от него любви, словно он и сейчас был рядом с ней, этот развращенный женщинами, капризный, отвратительный в своих желаниях, изощренный в своем искусстве тип.

Утром она только и думала о том, как, какими глазами она встретит вечером мужа, потому что у нее было полное ощущение, что она изменила ему в эту ночь. Весь день она настраивалась на встречу с ним, искала ответы на вопросы Митеньки, который обязательно спросит, почему она так плохо выглядит (а выглядела она ужасно), что с ней такое произошло, почему у нее заплаканные глаза.

Если он так спросит, она скажет ему: попробовал бы сам постирать этой химией, я бы посмотрела, какие у тебя глаза. Обыкновенная аллергия. Они у меня слезились, как водосточные трубы в дождь. До сих пор раздражены.

Он, конечно, поверит, если она еще к тому ж скажет это устало-раздраженным тоном: «Попробовал бы сам»...— он знает, что такое аллергия.

Но все-таки, когда электричка с искристым скрежетом тормозов остановилась у платформы, когда Ольга Николаевна ступила на прочную плоскость и увидела мужа, его сияющий лик под дурацким козырьком, у нее перехватило дыхание и на лице (она почувствовала это) поплыла неестественная улыбка, выдававшая ее ночные грехи.

К счастью, Митенька сам был виноват перед ней и тоже ждал ее с опасением.

— Знаешь, что мы сегодня натворили? — сказал он подчеркнуто робким голосом.—Мы нашли в лесу маленького ежика, вот такого, с ладошку, у него даже иголки еще не очень колючие. Прелесть!

— И что же? — водянисто спросила она, как пропела.

— Ничего не мог поделать,— говорил Митенька, морща переносицу.— Девчонки в слезы...

— Он у нас дома?

— Да,— сокрушенно ответил Митенька.

Она чуть не всхлипнула от восторга, мысленно благодаря ежика за спасение. И долго шла молча, делая вид, что очень недовольна мужем. Озабоченно сказала, сдерживая предательский всхлип:

— Он по ночам бегает и стучит лапками.

— Ну и что, ну пусть бегает на террасе, никому не помешает. Он маленький! Девчонки от него без ума. И ты знаешь, такой доверчивый! — оживился Митенька, чувствуя согласие жены.— Не успели принести домой, а он уже молоко из блюдечка пил.

— Неужели так сразу?

— Да! Это удивительное существо. Я сам таких маленьких никогда не видел. Как с детской картинки. Девчонки ему коробку из-под торта поставили в уголке, травы туда нарвали, сделали гнездышко и уложили спать. И он, ты знаешь, уснул! По-моему, ему нравится у нас. Очень забавное существо.

«Пусть пульс фонемы О,— вдруг зазвучало у нее в голове.— Пусть пульс фонемы О»...

Она вздохнула и с глубоким этим вздохом избавилась от нервного напряжения.

— Смотри-ка, смотри! — воскликнула она.— А в небе два облачка. Одно вон там, над лесом... А второе слева от него. Видишь?

Осиновая опушка леса была подернута золотистой охрой, зеленые стволы осин светились соломенным цветом во тьме изумрудных провалов, пещер и ущелий леса. На лугу перед опушкой паслись черно-пегие коровы из поселка. Их было мало, всего семь или восемь. Они были тоже ярко освещены. А в небе так же соломенно, как и стволы осин, светились два облака, два маленьких парашютных купола, два перышка из груди белого голубя, такие же полупрозрачные и легкие.

Ручейковы смотрели на них с надеждой, как смотрели, наверное, старые моряки, застигнутые штилем в южных широтах, на такие же облачка, предвещавшие ветер и перемену погоды.

Душа Ольги Николаевны радовалась особенно, тело ее, плывущее в горячей смоле воздуха, ждало прохлады и дождя, блеска молний, сырых раскатов грома и шума воды, будто этот ветер наполнит поникшие ее паруса, вытащит житейский ее корабль из перегретой бухточки, встречная волна плеснет ей брызгами в лицо, освежит, взбодрит, и она увидит опять такие просторы впереди, такие заманчивые дали, что дух захватит от счастья.

— А как зовут ежика? — громко спросила она, словно бы ветер уже коснулся ее груди и зашумел в листьях.

— Ежика? — Ручейков засмеялся.— Его зовут... А как его зовут?

— Митькой его зовут! — закричала Ольга Николаевна и провальсировала кружочек, смеясь над мужем.— Ежика зовут Митька!

Им было очень весело, когда они втянулись по тропинке в лес. Вдруг им показалось, что сзади, прямо по лесу, наезжает на них легковая машина. Оба они остановились и прислушались. Ровным, металлическим шелестом шумели вершинные листья осин, чутко уловившие движение воздуха.

— Слышишь? — спросила она таинственным шепотом.

— Слышу...— ответил он.

Бродяжка

Среди жаркого дня пролился дождик. Густой, как из садовой лейки, он вмиг намочил поселок и край леса, в сторону которого ушла темнеющая туча. Шум дождя так же неожиданно умолк, как начался; туча, стряхивая последние капли, синим омутом налилась над мокрым лесом, далекие ее пепельные вершины, вознесшиеся в небеса, осветились солнцем.

Дождя ждали, он пролился, и люди были рады июньскому гостю. Освобожденные от поливки огородов, словно бы отпущенные начальством раньше срока с работы домой, они, как дети, играючи жили в этот теплый и влажный вечереющий день, пропахший сырой землей, молодыми листьями и мокрым асфальтом.

Вовка Духонин, убежавший сразу после дождя в лес за сыроежками, вернулся оттуда с четырьмя грибками, розовевшими в полиэтиленовом мешочке, правая его рука сжимала складной ножик с торчащим из-под мизинца серым лезвием. И без того-то бледное лицо Духонина взялось землей, во взгляде блуждал испуг, тяжкое и частое дыхание иссушило губы, он глотал воздух и никак не мог ничего рассказать соседу, к которому ворвался, не заходя к себе домой.

Мокрый насквозь, с растрепанными волосами, с почерневшим взглядом серых глаз, он, захлебываясь и задерживая дыхание, говорил, срываясь то и дело на кашель, который бил его впалую грудь.

— По этой тропинке, как к высоковольтке идти... Ну? А там дерево поваленное... Вот налево и пошел... Елочки густые... Место я запомнил. Густые елочки.. Дай, думаю, загляну, там я лисичек всегда находил. А он там лежит...

Голос его переходил на полушепот, он пугливо озирался вокруг и заходился в кашле.

— Кто лежит-то? — спрашивал сосед, хмурясь и поглядывая на грифельное лезвие.

— Я откуда знаю?! Мужик какой-то... Воняет. Прямо вот так, как до тебя, наткнулся... Сначала не понял, ботинки суконные торчат... черные...

— Убери нож,— сказал ему сосед.

— Какой нож? А-а, это...— отозвался Вовка, словно бы впервые увидев в своей руке лезвие ножа.— Это я, как побежал, забыл... Это тут, недалеко... Из леса выскочил, прямо к пушкаревскому дому... Где-то тут и лежит. Слушай, а это, знаешь,— говорил Вовка, клонясь к соседскому лицу, к волосатому его уху, но сосед отстранялся от него, заметно принюхиваясь: не пьян ли Духонин.— Надо милицию вызвать... Он лежит-то... это...— мялся Вовка, не решаясь сказать главное.— Он на боку лежит, а голова вот так, немножко в сторонке... в зимней шапке... Я и побежал... Нож вытащил, думал, кто-то там, в елочках этих. Выскочил как раз на дорогу к пушкаревскому дому... Где-то вот тут, с полкилометра...

Он наконец-то разжал затекшую, то ли потную, то ли мокрую руку, щелкнул лезвием и убрал нож в карман, а руку вытер о штанину, будто обтер с нее кровь.

— Ты помалкивай,— сказал ему сосед.— Мало ли что. Пока никому...

— Это точно! — азартно согласился Духонин.— Это я понимаю! Я только тебе и сказал. Это уж точно. Чуть сам не подох! Представляешь? — говорил он осевшим голосом.— Место я запомнил, конечно... От пушкаревского дома, если прямо, то с полкилометра...

Страшная усталость разлилась по его телу, он присел на стул, влажные веки свалились на глаза пепельными колпачками, рот раскрылся, словно все крепежные мышцы лица ослабли вдруг... Улыбочка смягчила левую половину лица...

— Нормально,— сказал он хмурому соседу.— Бежал марафон, ободрался весь и кепку потерял, хрен с ней. А сейчас совсем... А как в милицию-то сообщить? Может, ты?

— Нет, это тебе, ты нашел. Как в милицию? Ноль один — пожар... Так? Ноль три — скорая... Ну, правильно — ноль два... А там скажут.

Телефонная будка стояла в центре поселка, милиция обещала приехать, но в поздних сумерках июньского дня в поселке уже знали о случившемся, будто Духонин, говоря в трубку или, точнее, крича в нее, обнародовал страшную новость, известив о ней всех жителей, которые притихли в этот теплый вечер, как если бы в общем их доме поставили покойника.

Милицейский «уазик» острым лучом прожекторной фары над ветровым стеклом мазнул по лиственницам, развернулся возле духонинского дома, трое мужчин, один из которых был участковым под погонами старшего лейтенанта, а двое других, не считая сержанта за рулем, в штатском, долго ходили с Духониным по лесу, освещая жидкую тьму фонарями, но вернулись ни с чем, пообещав приехать завтра.

Совсем обессиленный Духонин, проклиная сыроежки, согласился быть дома и ждать, чувствуя себя кругом виноватым перед милицией.

— Точно,— говорил он грузному мужчине, черные ботинки которого были обляпаны охристо-светлой глиной.— Это я точно говорю. В темноте, конечно, трудно сориентироваться... Завтра покажу точно... Ошибки тут нет. Если только кто не убрал, не знаю...

Он, казалось, похудел за этот день и потерял столько сил, что его шатало, как пьяного, хотя он и бодрился пред очами нахмуренной власти, составившей с его слов протокол о происшедшем и уехавшей из темного и сырого поселка, опустевшего и словно бы притаившегося в испуге на краю молчаливого леса, прячущего разложившийся труп.

Духонин даже ужинать не стал в этот вечер, хотел раздобыть где-нибудь водки или, на худой конец, самогонки, но вспомнил, что завтра опять придется искать, поругался с женой, которая упрекать его стала за то, что он раструбил на весь свет о своей находке, наговорил ей сгоряча Бог знает чего, довел до слез, разогнал по углам испуганных дочерей, разбил чайную чашку и, безумоватый, улегся спать.

— Жизни мне с вами нет никакой! — вдруг закричал он срывающимся на вопль голосом.— Уйду я от вас к едрене-фене! — И сам чуть не заплакал, так ему стало жалко себя, Вовку Духонина, которому зачем-то понадобились сыроежки. Сидел бы дома, и пусть он тлеет там, пропади он пропадом...

Перед внутренним взором, в расплывчатой рамочке воспаленной памяти среди ржавых, поблескивающих дождевыми каплями густых елочек, где по осени вызревали черные грузди, глыбилось человеческое тело, улегшееся как-то уж очень неудобно для себя, на боку, с подвернутой рукой и даже вот... с отвалившейся башкой в черной зимней шапке с опущенными ушами.

Человек ли это был, не ошибка ли? Может, пацаны одели в старую ватную телогрейку, в грязные брюки да суконные ботинки какую-нибудь дохлую собаку, бросили в елки, зная, что кто-нибудь наткнется среди лета на тухлое это чучело? Сейчас молодежь и не такие шутки откалывает! А тем более пропал недавно старый кобель, ушел две недели назад, как говорили, в лес подыхать, а кто-то даже жаловался, что из лесу, когда ветер оттуда, плохо пахнет, видно, дескать, кобелем несет... Был такой разговор, он сам теперь вспомнил.

Вспомнил и вспотел от стыда, представив себе, что это и в самом деле злая шутка ребятишек, на которую он попался, заглотал, как ерш, голую мормышку. Пожалуй, такой оборот дела будет пострашнее, если найдут они вместо человеческого трупа дохлую собаку...

И он с тревогой вглядывался в ту тряпичную глыбу, стараясь утвердиться в мысли, что это был именно человек. Лежал тот с разбухшими ногами, одетыми в грязные брюки, испачканные чем-то белым, как известкой или меловой краской... Но почему же рук-то он не увидел? Словно они поджаты были, спрятаны в стеганых рукавах от холода. Солнышко вчера ярко просвечивало туманный воздух леса, бледно-зеленые стебли сухой осочки горели в его лучах золотистыми иглами, оттеняя тьму тряпичной груды и хилые ботинки. Нет, он чутьем чувствовал, вспоминая подробности, что не ошибся и что это именно человек тлел в живом лесу, в котором после дождя цокали, ударяясь о прошлогодний лист, дробно трещали, как перестук легкого бега невидимого зверька, стекающие с деревьев капли. Этот потрескивающий неумолчный шум мокрого леса и наводнил его паникой, будто вокруг трупа ходили некие живые существа, а увидев свидетеля, стали окружать его, а потом и догонять, догонять... Вот тут он и припустился во весь дух, не разбирая дороги, ломился сквозь шершавый орешник, сквозь упругие ветви, которые хлестали его, и, прыгая зайцем через них, еле живой от страха вывалился на асфальт, только тут наконец почувствовав себя спасенным. Нет, это, конечно, был человек, который до сих пор преследовал его своим запахом, словно Духонин сам превратился вдруг в дикого зверя, почуявшего зловоние страшного своего врага — человека, и, убежав, трясся теперь в страхе, потому что ноздри были забиты этим человеческим запахом, напоминающим вонь баллонного газа.

— Дай мне какие-нибудь духи! — потребовал он, зная, что жена не спит.

Но даже аромат «Белой сирени» напоминал ему запах разлившегося газа, усугубляя душевную тревогу.

С того дня, как Духонин обнаружил в лесу мертвого человека, разогретый на солнце лес, заманчивые его тропинки, перевитые еловыми корнями, раскатистые песенки щеглов и зябликов в зеленых куполах деревьев, кукование кукушки, разносящееся в гулких глубинах, а уж тем более воронья перебранка в том примерно направлении, где искали труп,— все эти звуки напоминали теперь лишь об одном: о мистической той опасности, которую являли собой недавно еще веселые тропинки, уводящие в лесную сень, в густые ельнички, в таинственную ту зону, ныне грозившую как будто лишь смертельным ужасом. И хотя умом все понимали, что нет в лесу более безопасной встречи, чем встреча с мертвым человеком, который не может причинить никому никакого вреда, хотя рассудок даже подсказывал фантастический вариант этой встречи, мертвый на ваших глазах вдруг встал и пошел бы, шатаясь, своей дорогой, что само по себе было бы благим чудом, говорившим лишь о том, что смерть не так уж и страшна, если возможно истинное воскрешение покойника,— хотя жители поселка отлично знали, что этого никак не может быть, все-таки страх перед смертью человека, лежащего в лесу, холодил им души. Лес, в котором недавно отпели ландыши, казался теперь враждебным, не сулящим больше никаких радостей, как если бы реальная угроза исходила от него, тревожа сердца живых людей. Многие женщины даже боялись поглядывать в его сторону, не то что веселиться с детьми на его опушке.

Все с нетерпением ждали, когда наконец-то найдут смердящий труп и вынесут его из леса.

И мало кому приходила в голову простая мысль о том несчастном, тело которого тлело в теплом лесу. Никто не задумывался о том, что когда-то в муках и радостных страданиях неведомая миру женщина родила на свет крохотного мальчика, окрестила его заветным именем, может быть, назвав его в честь любимого деда, выкормила грудью, с умилением слушая первый его лепет, научила словам, которые знала сама, а потом и привычному тому делу, какое знали они с мужем... Если это был первенец или просто мальчик после дочерей, сколько радости принес он своим рождением счастливым матери и отцу, сколько забот уделили они своему чаду, любуясь первыми его шажками, страдая от его болезней, которые, конечно, случались с ним, как с каждым малышом. А потом была школа, сельская или городская,— тому никто уж не сыщет верного ответа... Но она была! И был первый день, когда его встретила добрая учительница, усадила за старую парту, подновленную к учебному году, а через некоторое время мальчик вывел в тетрадке первое свое слово «мама»... Впрочем, может быть, это было совсем другое слово, но все-таки в тетрадках его, сожженных в топке печи, было, конечно, и это слово, темно-лиловое, отливающее бронзой старых, лоснящихся на странице в косую линейку чернил. Все это зачем-то было!

А теперь этот мальчик, проживший долгую жизнь, лежал зловонной грудой в густом ельничке, и никто никак не мог отыскать его, будто он и в самом деле померещился Вовке Духонину, дважды ходившему с милиционерами в лес, не узнавая его, как если бы попал в этот лес впервые...

Заходили прямо от пушкаревского дома, шли шеренгой, перекликались, но потом почему-то растягивались, кричали друг другу, словно сами боялись потеряться, Вовка тоже кричал, гогокал, пугливо поглядывая по сторонам. А потом усталые, все они возвращались к машине, вытирали пот, пили холодную воду из эмалированного ведра, посмеивались над Вовкой Духониным, точно он разыгрывал их, а Вовка, азартно и задиристо огрызаясь, говорил им, что нельзя так растягиваться, надо кучно идти, горячился, задетый за живое. Но сам хорошо понимал этих ленивых ребят, которым вовсе не хотелось в свое дежурство наткнуться на разложившийся труп, чтоб потом нести вонючие останки к дороге, задыхаясь в жарких противогазах. Чего уж так-то стараться! Он, конечно, понимал ребят, а потому перестал их побаиваться и уж, во всяком случае, смущаться перед ними, поругивая их незлобно, как плохих работников.

Оперативная группа, которой выпала эта грязная работа, состояла из пяти человек, считая и фотографа. Он отсиживался в тени душистых лиственниц, разложив свою аппаратуру на скамейке, подремывая, едва поглядывая сонным оком на звонкий мир, слушая, как поют комарики, жужжат осы и пчелы, гудят шмели и сверлят обомлевший от жары воздух торопливые мухи, мешающие отдыхать.

Ему-то и пришла в голову простая мысль. Он вяло улыбнулся чувственно-сочными, целовавшими не одну женщину губами и сказал насмешливо:

— Чтой-то мы все ходим...

— Мы, конечно, ходим,— перебил его следователь, намекая на безделье фотографа.

— Нет, серьезно. Он же здесь вышел из леса... Я имею в виду Духонина... Вернее сказать, выбежал, как гонный заяц...

— Ну уж это, знаете! — взъерепенился Вовка.— Я этот лес с детства знаю. Лучше всякого зайца. Ага, вот так!

— Не перебивай, Вова,— попросил его следователь, а фотограф продолжил:

— А что если пойти в лес, как он сам в него заходил? Ты помнишь, как заходил в лес?

— Почему же нет? Конечно, помню... Что же я!

Такая простая мысль приходила, наверное, в голову не только фотографу. Но лишь фотограф, пораскинув мозгами в тени смолистых лиственниц и не предполагая, что друзья его эту мыслишку прятали до завтрашнего дня, чтоб не дай Бог наткнуться в такую жарищу на останки,— лишь он один обнародовал ее, сделав достоянием всей опергруппы, и поставил друзей в безвыходное положение. Конечно же, надо было шагать от печки! С ним нельзя было не согласиться.

— Вспомнишь, как шел? — строго спросил следователь у Вовки Духонина, словно тот скрывал верный путь к поиску.

— А как же? Тропинка на высоковольтку, а там поваленное дерево. От него налево, метров двести... Оттуда-то я, конечно, сразу найду...

— Сразу найдет! — передразнил его следователь.— Третий день ходим...— Он хотел было отчитать Вовку за плохую сообразительность, но осекся по причине той самой палки, которая о двух концах: ему-то уж по долгу службы надо было начинать поиск именно с этого, а не ходить вспять по следу бегущего.— Так,— сказал он.— Сейчас отдохнем малость и пойдем. Жара африканская... Искупаться бы!

Был он грузен телом, налит нездоровой силищей, серый пиджак его потемнел на спине и под мышками от лошадиного пота, но ноги, прочно враставшие с каждым шагом в землю, легко носили следователя, справляясь пока со своим пузатым и грудастым центнером, промокшим насквозь от пота. Глаза его казались свирепо-розовыми от соленой влаги, виделась в них одна лишь решимость, затмившая все остальные чувства, когда-либо посещавшие этого молодого человека.

— Духонин, вперед,— одышливо скомандовал он,— показывай дорогу... Сыроежка, иё... Пошли!

— А ногти-то! — воскликнул в ответ Духонин, разглядев нежно-розовую руку следователя.— Цветут!

— Какие ногти?

— Ногти-то цветут... К подарочку,— с язвительной усмешкой задиристо сказал он, кивая подбородком на утонувшие в потной плоти пальцев ногти следователя, пестрые от белесых точек и черточек.— К подарочку цветут... Примета такая.

Следователь только досадливо мотнул головой, растущей из мощной груди, и кашлянул.

Они пошли по асфальтированной дороге, с одной стороны которой стоял ряд домов, а с другой, отступя метров на сто, начинался лес: дубы, воздевшие в небеса голые сучья сухих вершин, старые елки, березы и осины, подпушенные снизу густым орешником. Тропинка ответвлялась от дороги метрах в трехстах от последнего дома поселка. Глинистая, она светло ныряла под тенистую арку, пропахшую еловой смолой, и приглашала ступить на свою ороговевшую поверхность. Опергруппа во главе с Вовкой Духониным втянулась в лес и, переговариваясь, бодрясь звуками своих голосов, тут же пропала из виду, а вскоре и затихла.

В поселке в эти тревожные дни только и разговоров было о лесном покойничке, о припомнившихся, слышанных когда-то от кого-то случаях таинственных убийств. Поругивали милицию, возмущались, что до сих пор не вызвали солдат, которые прочесали бы лес. Труп называли не иначе как *он* или *его*, приглушая при этом голос, словно бы опасаясь потревожить *его* там, куда уходили на поиски милиционеры. Люди чувствовали себя скверно. Казалось, сосед их подорвался на мине, оставшейся со времен далекой войны, а саперы теперь искали другие, вполне возможные мины на лесных тропах, по которым недавно ходили люди, не чуя опасности.

Он, лежащий где-то там, был враждебен всем, и никто, конечно, не хотел и не мог представить себе живым этого человека, смеющимся или плачущим от любви к женщине, а то и к ребенку, который улыбкой своей, может быть, тоже осветил когда-то загадочную его жизнь. А может быть, любил он какую-нибудь лохматую собаку и собака тоже любила его и была предана ему выше всяких похвал. Все могло быть с этим человеком в испарившейся жизни, никому не нужной и словно бы лишней, случайно возникшей под солнцем и так же случайно оборвавшейся, как если бы не человек это был, а березовый листок. Даже в милицию не поступало заявок от граждан о пропаже человека, во всяком случае, здесь, в подмосковных пригородках, в районах, прилегающих к Москве.

— Бродяжка,— ласково говорил фотограф, отвечая на вопросы любопытных жителей.— Раз он в зимней одежде, значит, с зимы лежит, а то и с прошлой осени.

Люди испуганно перешептывались, соображая, как долго жили они по соседству с мертвецом. «А помнишь?» — полушепотом спрашивал кто-нибудь из них. «А я тут слышала...» «А помнишь? То ли прошлой осенью... то ли этой весной... Тоже ведь в этих ботинках «прощай молодость», а?»

А и в самом деле, тоже в таких же суконных полуботах на шнурках, но только не в зимней шапке и не в ватнике, а в какой-то хлопчатобумажной угрюмо-серой хламиде, называемой нашими швейниками «рабочей одеждой», приходил небритый, странный мужик и что-то непонятное жевал... Серые щеки и кадыкастая серая шея, голова на струнно напряженных шейных сухожилиях, задранный подбородок, будто старый мужик, закинув голову, смотрел на людей с болезненной и неприятной ему высоты. Дыра беззубого рта выборматывала глинистые мятые слова, обсосанные голыми деснами, смысл которых не сразу доходил до сознания. В руке висела грязно-синяя «авоська», а в сетке этой топорщилось что-то завернутое в мятую газету, что-то легкое, не имеющее никакого веса. Кажется, край вафельного полотенца торчал из бумаги или что-то похожее, что-то серовато-белое, как сама газета.

— Лагерь тут гдей-то,— говорил очень озабоченный, согбенно-высокий, старый мужик. И слышно было, как огнисто трещит его щетина на шее, которую он по-обезьяньи грубо почесывал негнущимися пальцами.— Вот ищу... Отлучился. Теперь никак не найду... К жене ездил. Помыться, белье поменять.

— Какой лагерь? Пионерский, что ль? Нет тут поблизости... Ты, отец, что-то путаешь...

— Не пионерский, нет,— тревожно отзывался старик, поглядывая странным своим, высокомерно-болезненным взором как бы поверх голов людей.— Там вот так же... Бугорок, а на бугорке ларек... Речка внизу,— говорил он, озираясь.

— Чего на бугорке? — переспрашивали его, не понимая.

— Ларек, продукты там продают... вафли...

— Вафли?

— И хлеб тоже... Чего-то еще... А внизу речка.

— Дом отдыха, что ль, какой-нибудь?

— Может, и домотдых... Вот-вот, домотдых... Не знаю я... Поехал к жене помыться, белье поменять... А забыл, как в лагерь этот идти...

— Нет тут никаких лагерей.

— Нету? — убито переспрашивал старик, стоя на подкошенных в коленях ногах.

Растревоженный, измученный взгляд его, исходящий из восковой желтизны морщин, из рассеченной кожи вокруг глаз, смявшей в той же беспорядочности кожу лба над переносицей, недоверчиво скользил по лицам людей и казался брезгливым, болезненно-капризным.

— Нет, отец, нет... Ошибся ты...

Он тогда покорно повернулся и ушел. На него никто не обратил внимания, и о нем тут же забыли люди, у которых он спрашивал про какой-то лагерь. Мало ли шизиков на свете!

А теперь вспомнили, и многим показалось, что есть тут какая-то связь, потому что кто-то припомнил, что он еще раз заглядывал в поселок и было уже холодно, но так же этот старик морщился, спрашивая про таинственный лагерь, искал этот лагерь, а про ларек, кажется, ничего не говорил... Или говорил? Сейчас трудно сказать. А вот про речку — да... Про бугор тоже... И какой-то он странный был! Да, да, это точно, говорил, что ездил мыться к жене и заплутал...

Все эти разговоры слушал разомлевший фотограф и вежливо улыбался, как бы показывая всем своим видом, что знает случаи куда пострашнее, чем это маленькое происшествие, но рассказывать не имеет права...

— Я же говорю, бродяжка,— с зевотой пропел он, поглядывая на молодую женщину с ребенком, которая очень нравилась ему.— У вас тут в районе все спокойно,— говорил он ей.— Во всяком случае, насколько мне известно...

Договорить он не успел, потому что все вдруг увидели Вовку Духонина, идущего по асфальтированной белесой дороге. Все умолкли. В тишине было слышно, как шваркают подошвы о сухую дорогу. Вид у Духонина был страшный. Казалось, он шел против пыльного ветра, щурясь и испуганно улыбаясь под его колючим, обжигающим напором. Он загнанно дышал и все время откашливался.

— Это самое,— сказал он, пряча запавшие глаза,— пошли...

Фотограф все понял, как только увидел Духонина, и, не мешкая, но и

не поспешая, покинул свой пост, мазнув взглядом по глубокому вырезу на груди красавицы.

— О, Фелия! — сказал он, закатывая маслянистый взгляд, намекая этой простоволосой и, наверное, образованной, умной женщине, что тоже не лыком шит. Но той было не до любви и не до насмешек...

— Нашли? — звонко спросила она и крепко схватила своего мальчика за руку.

— Шерлок Холмс! — весело отозвался фотограф, хлопнув Духонина по плечу.

Вовка, усталый и еле живой от пережитого, пошатнулся, но устоял на ногах: казалось, он высох за эти дни и бессонные ночи и почернел лицом.

Часа через три, а то и больше шестеро красных, потных мужчин в рукавицах и в респираторах, делавших их лица похожими на морды странноватых животных, шумно отдыхиваясь и покашливая, вынесли из леса и спустили на сухую глинистую тропу дороги большой брезентовый сверток. Оставили его и, отойдя в сторону, сняли рукавицы и маски, которые бросили в траву.

— Где этот, йе?! — гневно воскликнул следователь, истекая потом.— Нельзя разве чистой воды?! Кто-нибудь... Кокошкин!

Но все сидели измученные и смотрели на мир с такой же ненавистью, как и сам следователь.

—А в чем везти?—отозвался сержант.—В ведре? Что вы, ей-Богу, Александр Васильевич!

— Ладно, молчи!.. Потопали. Санитарку надо вызвать. Когда-то приедет теперь, йе! А ты, Духонин, посиди тут, отдохни.

— Не-е, я не буду,— крикнул Вовка и пошел, шатаясь, к себе домой отмываться.— Не буду я ничего!

— Кокошкин! Тогда ты... Пригонишь машину и жди тут. Понял?

— Ага...

— А сейчас пошли. Потопали, потопали... Надо звонить скорей.

Утихли топотливые шаги сапог и ботинок, опустело все вокруг, и стали слышны пружинисто-упругие песни перекликающихся щеглов в гулком лесу, озабоченное квохтанье дроздов, прогонявших от гнезд нахальную ворону, воинственное их щебетанье... Белая бабочка рвано пропорхала над тропой, на которой горбился продолговатый сверток.

Там, где только что густо пахло горячей смолой, теперь тревожно и вкрадчиво смердило газом, невыносимым зловонием, перед которым бессилен человек. Казалось, даже игриво-извилистая тропинка и та померкла и потерялась в темной траве, утратила под тяжестью страшного груза свою заманчивую привлекательность.

Люди же в поселке, конечно, радовались, что наконец-то нашли и вынесли е г о из леса, как будто это была падаль, бродяжка, который сунулся в последнем своем усилии в колючую ржавость чащобки и умер. Елки там душили друг друга в безжизненной тесноте, оголив перепутанные нижние ветки, похожие на колючую проволоку. Люди славили Духонина, а также милицию, освободившую их от страха, и, конечно, Бога.

— Я ж говорил... Таких теперь много шляется... А этот — старый,— красуясь собой, успокаивал людей добродушный фотограф.— С зимы, наверное, лежал. Ваш Духонин решил, что брюки у него белым чем-то испачканы... Не-ет! Это ткань истлела. Долго лежал. Кожа... Я не пугать вас хочу, нет, а наоборот — успокоить. Чтоб вы знали, что не убийство это, а естественная смерть. У вас в районе вообще-то спокойно. Проникновения в частные дачи имеются, конечно. Но где их нет?! Это уж обычное дело.

Он ласково улыбался, опуская глаза под тревожным взглядом молодой матери с мальчиком, которая и в самом деле была прелестна, крася собой выгоревший сарафан и стоптанные туфли на босу ногу, дыша телесным здоровьем и некоей умной, очень соблазняющей красотой, словно бы созданной не для какого-то там счастливца, а для всех, кто только взглянет на нее хотя бы одним глазком. Есть такие женщины в Москве и в пригородах, украшающие собой жизнь простых смертных.

К вечеру темно-серая санитарная машина увезла несчастного бродяжку. В этот вечер особенно хорошо пели над речкой соловьи, щелкая и разливаясь в сыром тумане. Они начали петь очень рано, когда лес еще звенел от других птиц, поющих песенки возле своих гнезд, возле голых птенцов, гре-

ющихся в рыхлом пере распушившейся матери, которая, вполне возможно, строя весной гнездо, принесла какую-нибудь ниточку или ватку из одежды молчаливого бродяжки, лежащего в елочках. Сначала птицы, конечно, боялись его, а потом перестали — привыкли. Старая его одежда пригодилась им, крохотные частички ее согревали теперь подрастающих птенцов, которым скоро вылетать из гнезда.

Зачем-то ведь жил человек! Не только ведь птицам пригодился он на земле?

Тот ли это был старик, что приходил в поселок в поисках таинственного лагеря, ища убежища в нем и душевного покоя? Или это был другой бродяга?

Кто теперь ответит на праздный вопрос! Да и нужен ли этот вопрос успокоившимся людям, жизнь которых вошла в свою колею? Один только Вовка Духонин неделю ходил полупьяный, выгоняя из себя страх и смердящий запах, долго таящийся в памяти, как будто был он пропитан им насквозь,— даже алкоголь не брал. Над Вовкой посмеивались: «Ты уж не ходи больше за грибами!»

По вечерам на дороге трещали и ревели мотоциклы, заглушая все окрестные звуки белоночного покоя,— то местные ребята, подражая московским рокерам, гоняли свои вонючие машины по асфальту. В утреннем лесу опять перекликались грибники, ища первые подберезовики.

Да, но ведь зачем-то жил человек на свете! Тот, который смертью своей перепугал людей, напомнив бездомной кончиной про то, что он тоже был человеком... Не от людей бежал, а к людям и, может быть, вправду искал свой лагерь на старости лет, спасаясь от одиночества среди людей? Роились в его пошатнувшемся разуме картины утренних побудок, алюминиевая миска с баландой, топотливый шумок таких же, как он, страдальцев, идущих колонной на дальний участок под заботливой охраной лагерных конвоиров, а потом, после тяжелой работы и ужина, сон на дощатых нарах... Может быть, именно тогда и был этот человек истинно счастлив? Бог его знает! Были мечты о воле... Что же? Вольная жизнь опостылела?

Ах, ты, Господи! Уж лучше не думать об этом зле, которое грязным подолом рваной шинели тянется за моим народом, потерявшим привычку любить и жалеть несчастных, падших духом братьев своих и сестер, утратившему привычку жить вольно, без которой всякий сущий на земле лишается облика своего и рассудка.

Но как же не думать-то, если слезы горечью подступают к горлу! Зачем же тогда быть человеком? Или это пустой звук? Может быть, думая, мы и придумали себя, назвавшись высшими существами на земле, вознеслись в гордыне и успокоились на этом, как те наши ближние, из-под боку у которых убрали тяжкое, но не услышанное ими, не прочувствованное напоминание о том, что до покоя и счастья нам очень и очень далеко.

Евгений ХРАМОВ

Новые стихи

Завет

...И скажут: «Он здесь, Он пришел, Он зовет...»
Не верьте — я все вам сказал наперед.

Придут к вам пророки, придут чудодеи,
Над толпами длани протянут Мессии
В Евфратских песках, на камнях Иудеи,
В полях, занесенных снегами России.
И двинется вслед за вождями народ.
Не верьте — я все вам сказал наперед.

На улицу кликнут — останьтесь в дому.
«Он здесь, в этом доме!» — ступайте из дому.
Отвергнув соблазна восторг и истому,
Меня не у з н а т ь не дано никому.
И если звезда на Востоке взойдет —
Не верьте, я все вам сказал наперед.

А путь легковерных укажут вам птицы,
Что станут над падалью смрадной кружиться.

* * *

С. З.

Человек, которого я уважаю,
Как-то рассказывал в тесном кругу
Про первые сталинские урожаи,
Уже сгибавшие страну в дугу.

Он вспоминал, как через их город
Под настырный гул телеграфных вестей
Гнали ОГПУ и голод
Раскулаченных из окрестных степей.

На вывороченных, кочевничьих лапах
Шли они в час —верста, хорошо—полторы,
И—еще от живых—плыл покойницкий запах,
Заполняя яблоневые дворы.

Хоть все щели закрой—дом был полон неясным
Вялым шелестом к смерти плетущихся ног.
Он сказал: «Как мог я быть не несчастным?»
И, качнув головою, сказал: «А ведь мог».

Мог! Сибирский школьник и тульский фабзаяц,
Пятилеточным ветром наполнив грудь,
Мог не слышать, как шел, чуть плеча не касаясь,
Их народ мимо них в предуказанный путь.

Но завязший в цитатах гуманитарий,
Комсомольский вожак с пушком над губой
И измученный питерский пролетарий
Истово, как «Отче наш», повторяли:
«Это есть наш последний
И решительный бой».

Да, последний! Вот-вот всем карательным ротам
Будет отдан последний беспощадный приказ,
И тотчас же откроется за поворотом
Жизнь такая, что слезы счастья из глаз!

Но «столыпин» на стыках все качало, качало
И никак не кончалась работа свинца,
Ибо есть у жестокости только начало
И нет у нее никогда конца.

* * *

Чтение стихов любимых
Оставляем напоследок:
После сладкого и кофе,
После проводов соседок.

И тогда, устроясь в креслах,
Повинуясь неким знакам,
Мы откроем пир воскресный
Непременным Пастернаком.

После «Тем и Вариаций»,
После Ганга и Тамары
Станут где-то раздаваться
Легких клавишей удары.

И войдет длиннoресничный,
В эспаньолке мастер с тростью,
Элегантно-неприличный,
Обожженный темной страстью.

Тотчас станет пустяками
Все, что гром на землю валит,
И заговорят стихами
Чашки и диванный валик.

Но стряхнем очарованье
Всех эфебов стройнобедрых,
Чтоб услышалось ворчанье
Дождевой капели в ведрах.

Разговор листвы и крыши,
Птиц, укладывающихся на ночь,
Чтоб из полумрака вышел
Владислав Фелицианыч.

Он, седой, и желто-серый,
И всезнающий, как змей,
Со своею желчной верой,
Вечный, как Гиперборей.

Сумрачно, несуетливо
Даст он каждому ключи —
Путь зерна и тяжесть лиры
В наступающей ночи.

Преображение

Был жребий апостолов неодинаков.
Немногим из них предстояла гора —
Двум братьям,
их звали Иоанн и Иаков,
А следом за ними позвал Он Петра.

Был черен хитон цвета спелой оливы
На фоне отбеленного известняка.
Казались шаги его неторопливы,
Но эти за ним поспешали, пока
Не кончился путь на вершине Фавора.
Они подошли, огляделись вокруг.
Круглясь, словно волны, окрестные горы
От них уходили на север и юг.
И не было видно ни пастбищ, ни хижин,
Как будто земля с сотворенья пуста.
Зато небосвод так чудесно приближен,
Что весь различим — до прожилок листа.

Меж тем в них таинственный трепет рождался,
Несхожий с былым предвкушеньем любви...
Сияние вспыхнуло.
Голос раздался.
И пали все трое на лица свои.
Мгновение длилось все это, не больше,
Но в это мгновенье промчались века:
Успела родиться и рухнула Польша,
Возникли из мрака два материка.
Костер инквизиций восстал и померкнул,
За Дон и Дунай степняки пронеслись,
Сто тысяч и трижды петух кукарекнул,
Сто тысяч и трижды Петры отреклись.

И снова гора средь холмов Палестины.
Сиянье погасло. Окончился миг.
Чело отерев рукавом из холстины,
К учителю очи возвел ученик.

А Он был все тот же, все в том же хитоне,
Рожденный и живший средь этих людей,
Простерший над ними худые ладони
Еще без отметин от ржавых гвоздей.

●

Марк ПОПОВСКИЙ

Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга

Глава шестая

КОНВЕЙЕР (1937 — 1941)

«Как только Господь был арестован, Он был отведен во двор Первосвященника, который стал расспрашивать Его об учении и учениках. Иисус отказался отвечать. Тогда стоявший около слуга ударил Его, сказав: «Так ли отвечаешь Первосвященнику?» Иисус сказал ему: «Если Я сказал худо, покажи, что худо, а если нет, то почему ты бьешь Меня?»

ИОАНН (18. 22—23).

«Я знаю, что все кровавые сатурналии (1793 г.) хотели бы объяснить, хотели бы прикрыть волей народа... Нет, нет! Смерти Лавуазье, смерти Мальзерба не требовал народ и обе жертвы не нужны были для безопасности Франции. Прочь снисхождение к подобным преступлениям, их надо проклинать ныне, завтра и всегда, для истинной свободы и благоденствия государства не нужны эшафоты».

Франсуа Доминик АРАГО.
Биографии знаменитых астрономов, физиков и геомеров.

Они пришли по обыкновению ночью: несколько человек в гражданском, милиционер, дворник. Сняли иконы, рылись в ящиках стола и шкафах. Молодой чекист распотрошил шкатулку с письмами покойной Анны Ланской. Войно сидел в углу, не произнося ни слова. Остальные тоже молчали. В общую кучу на середину комнаты летели книги, одежда, медицинские рукописи. В напряженной тишине вдруг раздался голос молодого чекиста: притомившись, он разогнулся, щелкнул портсигаром, попросил разрешения закурить. Войно ответил, не подняв головы: «Своими грязными руками вы роетесь в письмах моей жены, вы совершаете Бог знает что в моем доме, так делайте же и дальше, что хотите...» Чекист, не закурив, резко сунул портсигар в карман.

Те, кто совершает ночные обыски и увозит своих жертв в черных закрытых автомобилях, более всего пекутся о сохранении тайн. Главная их тайна — методы: как арестовывают, как везут, что происходит в камере, на допросе, в тюремной больнице, в лагере. Бесчисленные винты и винтики пыточной машины потому так боятся света и гласности, что в глубине души каждый из них

Окончание. Начало см. «Октябрь», №№ 2, 3 с. г.

знает о беззаконности и бесчеловечности того, чем занимается. Им хотелось бы навеки сохранить тайну своей кухни, «черного ящика», ограничив наши сведения о нем лишь фактом ареста «на входе» и реабилитационной бумажкой «на выходе»... Но острие правды лезет наружу, прорывает душевный страх одних и корыстные расчеты других. Тюремные врачи из Ташкента Г. И. Абрамова и И. Г. Обоев не захотели со мной разговаривать. Побоялись. Но тайна, в которую посвящены двадцать миллионов,— уже не тайна. Приложите усилия, и вы найдете тех, кому страх не сводит губ и опасения за свое будущее не застилают память о прошлом. Я искал и нашел.

Первый человек, рассказавший, что стало с Войно после того, как за ним задвинулись железные ворота ташкентской тюрьмы, был — не странно ли? — двоюродный брат афганского эмира. Да, да, того самого высокоценимого нашими историками прогрессивного эмира Амманулы-хана, который первым среди глав зарубежных государств признал Советскую Россию.

На долю кузена его величества Мухаммада Раима выпала жизнь довольно бурная. Когда летом 1971 года он принял меня в своей просторной квартире на Кутузовском проспекте (дом «сталинской» архитектуры, предназначенный для иностранцев), ему было уже 67 лет. Числился он научным сотрудником Института народов Азии и, судя по дорогой арабской мебели и алым сафьяновым покрывалам на диванах, нужды не испытывал. Но случалось старому афганцу переживать и иные времена.

В том возрасте, когда европейские дети посещают обычно среднюю школу, Раим стал губернатором Северной (Мазари-Шерифской) провинции. Ладить с таким братцем, как Амманула-хан, было, очевидно, не слишком просто. В 1926 году, не удовлетворясь скромной ролью эмира, Амманула объявил себя падишахом. Правление его отмечено было постоянными мятежами и бунтами, которые подавлял он со всей жестокостью истинного самодержца. Славился он также лютой ненавистью к англичанам и ко всему вообще европейскому. Случалось, на дворцовых приемах, вооружившись ножницами, падишах собственными руками выстригал у своих приближенных клочья их европейских сюртуков и мундиров. Он и Советскую Россию признал только, чтобы насолить Англии. В 1929 году, однако, очередной мятеж заставил Амманулу бежать в Европу. А его кузен Мухаммад Раим, губернатор, услыхав, что в Кабуле режут падишахскую родню, погнал своего коня из Мазари-Шерифа прямо на север, через пограничную Аму-Дарью, на советскую территорию. Другой возможности спастись у него не было.

Не зная русского языка, экс-губернатор кое-как перебивался в Бухаре и Самарканде, потом добрался до Ташкента. Там получал копеечное жалованье в качестве технического служащего в каком-то институте. В 1937 году его обвинили в шпионаже и арестовали. Зачем его высочеству понадобилось оставить свой государственный пост, опускаться до уровня рядового шпиона и что именно он высматривал на территории СССР, этого деятели тогдашнего НКВД не знали да и знать не желали. Просто «клепали» дело, оформляли бумаги, подвернулся под руку такой вот королевский отпрыск. «Следствие» продолжалось четыре года. Претерпел Мухаммад Раим и «конвейер» семисуточный, и голод, и иные муки. Но, верующий мусульманин, он сохранил душевное равновесие и к потрясениям судьбы отнесся философски. В конце концов Особое совещание определило губернатору-шпиону наказание — восемь лет лагерей. Освободили его, кстати сказать, досрочно, еще при жизни Сталина.

Так вот этот Мухаммад Раим (в российском своем обличье Раим Омарович Мухаммад), сидя в 1938-м уже не во внутренней тюрьме НКВД, а в центральной областной, оказался в седьмой камере второго корпуса, где в обществе трехсот таких же «преступников» томился епископ Лука. В камере той — шесть на шесть, с трехэтажными нарами и цементным полом — кузен падишаха занимал сначала место под нарами. После очередных расстрелов освободилось место рядом с профессором-епископом. Тут и довелось этим двоим провести два года бок о бок, обсуждая свои беды и возлагая надежды на Аллаха и Спасителя.

Рассказы Раима Омаровича о Войно полны неподдельной симпатии. Он

даже считает нужным обосновать эту свою симпатию и объясняет мне, что Исса-Христос — один из семи главных святых мусульманского мира, и, следовательно, мусульманину вполне естественно уважать христиан. Религиозную терпимость бывшего губернатора разделяли, к сожалению, не все его однокамерники. Камера номер семь соединила под своими сводами людей разных. Сидели тут и «белые» генералы, и генералы нового режима, секретари обкомов, члены ЦК. Вместе со старой профессурой ждали своей участи профессора новой формации — партийные. Кадеты и анархисты соседствовали на нарах с коммунистами и беспартийными. Но даже здесь, уравненные перед Богом и людьми в своем несчастье, голодая, задыхаясь в тесноте и ожидая смерти, россияне продолжали тяжбы и взаимные обвинения. «Белые» обвиняли «красных» в злодействе, «красные» клялись, что, выйдя из тюрьмы (их преданность партии и Сталину, конечно же, выведет их отсюда), перестреляют всех «бывших» до единого.

Наиболее рьяные атеисты пытались втянуть в спор и «несознательного», «реакционного» епископа Луку, но Войно «по вопросам метафизики» (выражение Раима Омаровича) спорить отказывался. В лекциях своих медицинских (такие лекции читали и другие профессора) вопросов политики тоже не касался. В камере был со всеми ровен и сдержан, готов был любому оказать медицинскую помощь, мог поделиться и пайкой хлеба. Относились к Луке в камере, в общем, уважительно. Даже начальство его выделяло. Луку освобождали от мытья сортиров и выноса параши. «Он был такой человек, что нельзя было к нему относиться иначе»,— поясняет Раим Омарович, и черные усталые глаза его, глаза очень много повидавшего человека, освещает свет почтительного удивления.

За два года о чем только они с Войно не переговорили! И про катаплазмы Вальневой ему профессор рассказывал, и про дело Михайловского, когда пытались огепеушники обвинить епископа в подстрекательстве к убийству. И енисейские свои скитания Лука описывал. Запомнилась Мухаммаду история, как в Сибири Войно крестьянину полостную операцию делал перочинным ножом, а зашивал рану женским волосом: «И видит Бог, никогда не случалось нагноения». Толковали о заветной мечте профессора: дописать и опубликовать «Гнойную хирургию». Помнит Раим Омарович и тот день, когда по требованию Луки выдали епископу-хирургу чернила и перо и писал он письмо наркому обороны К. Е. Ворошилову. Говорилось в письме опять-таки о книге, которая необходима нашей родине в мирное время, но еще больше в случае войны. Лука у Ворошилова свободы не просил, а просил только разрешения получать из дому научные материалы, хотя бы на два часа в день уединяться для работы над книгой.

Взгляды свои религиозные Лука тоже не скрывал. Не таил и того, что преследуют его за веру; говорил: «Мне твердят: сними рясу — я этого никогда не сделаю. Она, ряса, останется со мной до самой смерти». И еще говорил: «Не знаю, что они от меня хотят. Я верующий. Я помогаю людям как врач, помогаю и как служитель церкви. Кому от этого плохо? Как коршуны нападают на меня работники ОГПУ. За что?»

Сохранился по поводу злополучной рясы и другой рассказ. Повелось так, что в седьмой камере заключенные, прежде чем идти на допрос, подходили к епископу под благословение. Не все, конечно, но некоторые подходили. То ли они сами в этом признались следователю или кто-то донес, но однажды Войно был вызван в тюремную больницу, и тамошний доктор Обоев долго уговаривал его снять рясу и вообще «не привлекать к себе излишнего внимания», т. е. по существу забыть о своем духовном звании. Обоев признавался потом своему знакомому, что это поручение начальника тюрьмы выполнить ему не удалось. Войно корректно, но твердо заметил коллеге, что тот взял на себя миссию не по силам.

Есть в этом эпизоде некоторая странность. Тюремному начальству ничто не мешало разрешить конфликт с епископом самым простым способом: содрать с него рясу (очевидно, речь шла о подряснике), швырнуть взамен рубашку, сня-

тую с очередного расстрелянного,— и конец проблеме. Но вот не содрали. Что-то помешало? Неужто совесть?

Ташкентский житель, профессор-дерматолог Армаис Аристагесович Аковбян — еще один свидетель жизни Луки в камере номер семь. Когда-то студент-медик Аковбян слушал лекции хирурга Войно-Ясенецкого в Ташкентском университете. И вот где встретиться пришлось... Впрочем, была у них на свободе еще одна встреча. В самом начале 30-х, уже будучи врачом, Армаис Аристагесович заходил к Войно в больницу как пациент. Ему показали кабинет профессора, и он постучал. Не услышав ответа, тихонько приоткрыл дверь. Войно молился. Аковбян несмело окликнул его. В ответ услыхал внушительное:

— Не мешайте мне. Я говорю с Богом...

С тех пор многое изменилось для доктора Аковбяна. Человек по натуре мирный и законопослушный, он пережил потрясения, которые ни с чем нельзя было сравнить и нечем объяснить: обыск, арест, «допросы с пристрастием», дикие обвинения в несуществующих преступлениях. Пришел он от всего этого в полное уныние и упадок духа. А Лука все тот же. Дважды в день, оборотясь на восток, становится на колени и, не замечая ничего вокруг себя, молится. Но не то удивительно. Чудно, что там, где яблоку негде упасть, где измученные, озлобленные люди готовы лаяться и драться по любому пустячному поводу, на время молитвы его воцаряется вдруг неправдоподобная тишина. Среди заключенных много мусульман и просто неверующих, но все они почему-то начинают говорить шепотом, и как-то сами собой разрешаются только что раздиравшие людей ссоры.

То же и при раздаче утренней пайки. Тут страсти кипят самые что ни на есть звериные. Лука сидит в стороне, думает свое, а в конце концов ему подают ломоть хлеба ничуть не хуже, чем достался другим, а подчас даже и вожделенную горбушку. Позднее у Луки возникла возможность отплатить за оказанное ему внимание. В начале 39-го, когда, отслужив свою кровавую службу, сошел с политической арены Ежов, начались в тюрьме некоторые послабления, разрешили передачи. Начал получать посылки и профессор-епископ. По словам Аковбяна, он до крохи раздавал все полученное между сокамерниками.

В чем его обвиняли? Он никогда об этом не рассказывал. Не жаловался даже после тринадцатисуточного допроса. Тринадцать суток без сна — это предел. Больше никто не выдерживал. После одного такого «конвейера» Войно приволокли в камеру волоком. Только уходя на этап, впервые обратился он к сидевшим с ним ташкентским врачам и ученым: попросил — кому Бог пошлет выйти на волю, пусть похлопочут вместе с другими профессорами о смягчении его, Войно-Ясенецкого, участи. «Ведь я ничего дурного не сделал. Может быть, власти прислушаются к вашим просьбам...» Полгода спустя, летом 1940-го, Армаис Аристагесович передал эту просьбу профессору М. И. Слониму. Но старый друг Войно, теперь уже орденоносец, депутат, заслуженный врач, замахал испуганно руками: «Что вы, что вы, нет, нет...» То, что казалось естественным в двадцатых годах, на пороге сороковых вызывало ужас.

Два моих собеседника в Ташкенте и в Москве воссоздали вполне достоверную картину камерного котла, в котором много месяцев варился епископ Лука. Но что происходило за пределами камеры? Как выглядела дьявольская западня следственных комнат, капканы, в которых ломали тела и уродовали души? Где-то они стоят, где-то припрятаны тома с грифом «Хранить вечно» — протоколы допросов профессора Войно-Ясенецкого за 1937—1939 годы. Но попробуйте заглянуть в них. Тайна. Главная государственная тайна. Ан птичка выпорхнула. Двадцать лет спустя, диктуя свои «Мемуары», архиепископ Лука закрепил на бумаге все пережитое: голодовки, побои и, главное,— конвейер.

«Этот страшный конвейер продолжался непрерывно день и ночь. Допрашивавшие чекисты сменяли друг друга, а допрашиваемому не давали спать ни днем, ни ночью. Я опять начал голодовку протеста и голодал много дней. Несмотря на это меня заставляли стоять в углу, но я скоро падал от истощения.

У меня начались ярко выраженные зрительные и тактильные галлюцинации. То мне казалось, что по комнате бегают желтые цыплята, и я ловил их.

То я видел себя стоящим на краю огромной впадины, в которой был расположен целый город, ярко освещенный электрическими фонарями. Я ясно чувствовал, что под рубахой на моей спине шевелится змей. От меня неуклонно требовали признания в шпионаже, но в ответ я только просил указать, в пользу какого государства я шпионил. На это ответить они, конечно, не могли. Допрос конвейером продолжался тринадцать суток, и не раз меня водили под водопроводный кран, из-под которого обливали мне голову холодной водой».

Елена Валентиновна Жукова-Войно утверждает, однако, что отцу четко инкриминировали шпионаж в пользу Ватикана. Позднее, когда дочь ездила к отцу в третью ссылку, она слышала от него и другие подробности о конвейере 1937 года. Чтобы подорвать его дух, в следовательскую комнату несколько раз врывался чекист, пестро наряженный шутом, который изрыгал отвратительные ругательства и оскорбления, глумился над верой заключенного, предсказывал ему ужасный конец. Но главной пыткой, конечно, оставались недели без сна.

...Когда в безлюдном переулке на человека нападают бандиты, он кричит. Криком разбойников не отпугнешь, но они боятся гласности, боятся разоблачения. Боятся гласности и хозяева застенков. У тех и других есть что-то общее с гангренозной палочкой. Как и анаэробная инфекция, они не любят свежего воздуха общественного интереса, ветер общественного негодования для них губителен. Не эпизод ли с Горбуновым подсказал Войно-Ясенецкому прием, с помощью которого решил он если не одолеть, то хотя бы напугать своих мучителей. Надо поднять в городе шум, привлечь внимание врачей, бывших пациентов. Идея верна. Но как и все интеллигентские проекты этого рода, замысел Войно, чрезвычайно логический, оказался вместе с тем и чрезвычайно наивным.

Это произошло где-то на тринадцатом витке пыточной машины. Подследственный объявил, что прекращает голодовку и подпишет любые показания, за исключением разве что покушения на товарища Сталина. Но сначала он просит поесть: хорошо бы — кусок жареного мяса. Тарелка с мясом и прибор появились незамедлительно.

«Я предполагал,— пишет Войно,— перерезать себе височную артерию, приставив к виску нож и сильно ударив по его головке. Для остановки кровотечения нужно было бы перевязать височную артерию, что невозможно в ГПУ[30], им меня пришлось бы отвезти в больницу или в хирургическую клинику. Это вызвало бы большой скандал в Ташкенте.

Очередной чекист сидел на другом конце стола. Когда принесли обед, я незаметно ощупал тупое лезвие столового ножа и убедился, что височной артерии перерезать им не удастся. Тогда я вскочил и, быстро отбежав на середину комнаты, начал пилить себе горло ножом. Но и кожу разрезать не смог. Чекист, как кошка, бросился на меня, вырвал нож и ударил кулаком в грудь. Меня отвели в другую комнату, где предложили поспать на голом столе с пачкой газет под головой вместо подушки. Несмотря на пережитое тяжелое потрясение, я все-таки заснул, не помню, долго ли спал. Меня уже ожидал начальник секретного отдела (очевидно, следственного.— М. П.), чтобы я подписал сочиненную им ложь о моем шпионаже. Я только посмеялся над этим его требованием... Я был совершенно обессилен голодовкой и конвейером, и, когда нас выпустили в уборную, я упал в обморок на грязный, мокрый пол. В камеру меня принесли на руках».

Первый конвейер происходил в здании внутренней тюрьмы НКВД. Не добившись от «попа» проку, чекисты перевели его до поры до времени в областную тюрьму. Тут-то и повстречал Лука своего бывшего студента Аковбяна и бывшего афганского губернатора Раима Мухаммада. Войно признается, что многое пережитое в тюрьме он забыл, но память врача сохранила зато эпизод сугубо профессиональный.

«Не помню, по какому поводу я попал однажды в тюремную больницу. Там с Божьей помощью мне удалось спасти жизнь молодому жулику, тяжелобольному. Я видел, что молодой тюремный врач совсем не понимает его болез-

ни, я сам исследовал его и нашел абсцесс селезенки. Мне удалось добиться согласия тюремного врача послать этого больного в клинику, в которой работал мой ученик доктор Ротенберг. Я написал ему, что и как он найдет при операции, и Ротенберг позже мне писал, что дословно подтвердилось все написанное в моем письме. Жизнь жулика была спасена, и долго еще после этого при наших прогулках в тюремном дворе меня громко приветствовали с третьего этажа уголовные заключенные и благодарили за спасение жизни жулика».

Запомнился и второй допрос конвейером, во время которого заснул сам чекист. Разбудил его внезапно вошедший в комнату начальник следственного отдела. «Попавший в беду чекист,— пишет Войно,— прежде всего очень вежливый со мной, стал бить меня... ногой, обутой в сапог». Потом несколько дней карцера... Неудивительно, что после всего пережитого Лука многое забыл. Его отрывочные воспоминания дополняет дочь Елена.

Почти два года после ареста отца семья ничего о нем не знала. Первые вести просочились из тюремной больницы: папа лежит с отеками на ногах; из-за голодовок сдало сердце. Потом родственникам разрешили приносить передачи. Золотые деньки послеежовского послабления продолжались недолго, но запомнились хорошо. Расположенная в старых, еще царской стройки зданиях, областная тюрьма отличалась от внутренней тюрьмы НКВД несколько большей патриархальностью нравов. Летом 1939-го, стоя у железных ворот, можно было даже заглядывать в дырочку, пробитую гвоздем. Через ту дырочку Елена дважды видела отца во время арестантской прогулки. В два часа заключенным привозили обед в котлах. Знакомый арестант-перс, неся котел с баландой, кричал громко: «Дорогу! Дорогу!», а проходя мимо Елены, шептал: «Он здоров, здоров». Однажды перс шепнул: «Его здесь нет». Елена Валентиновна бросилась в комендатуру. Оказалось, что отец опять объявил голодовку и помещен в больницу.

В другой раз, прождав возле тюремных ворот целый день, дочь получила от отца записку: «Через сутки буду дома». Ни через сутки, ни через неделю домой он не пришел. Очередная переданная больничным санитаром записка сообщила: «Меня обманули, не выпускают, возобновил голодовку». Голодал он в тот раз восемнадцать дней.

Конвейеры и прочие тюремные «игры» так ни к чему и не привели. Следователи своего не добились. Войно протоколов не подписывал. Выслали его в Сибирь административно. Незадолго до отправки на этап невестка Мария Кузьминична вымолила у прокурора десятиминутное свидание со свекром. Со времен толстовского «Воскресения» комната для свидания с заключенными обогатилась двойной решеткой. Между двумя разделяющими арестанта и его родных решетками возник коридорчик, специально предназначенный для того, чтобы по нему ходил солдат с винтовкой.

Свекор вышел желтый, отечный. Очевидно, ему было трудно стоять на отекших ногах, и он ухватился рукой за прутья. Сказал, слабо улыбаясь: «Я получил твою посылку. Много всего. Но ничего, нас в камере тоже много». Глядя на измученное лицо старика, Мария Кузьминична заплакала. «Да перестань ты плакать,— сказал он ласково,— я уже привык к этой собачьей жизни». Потом попросил рассказать, что делается в мире. Давно не видел газет. Голос у него остался все тот же: низкий, сильный. Слова его легко перелетали через пустое пространство между железными переплетами. А ей приходилось кричать: «Только что окончилась война с финнами». Оказалось, про войну он ничего не знал. Кричать в присутствии постороннего через решетки было неприятно. Да и непонятно, о чем можно и о чем нельзя было говорить в таком месте. От волнения Марии Кузьминичне стало жарко, она распахнула шубу. Свекор увидел на черном свитере красный знак «Ворошиловский стрелок». «Что это у тебя?» Сквозь слезы стала объяснять, что вот научилась стрелять. Это вышло почему-то так смешно и неуместно, что даже солдат фыркнул. От того свидания осталось в памяти не столько даже лицо, сколько руки свекра: большие белые руки хирурга на железной решетке.

От Красноярска Енисейский тракт берет прямо на север. Районный центр Большая Мурта (сейчас семь тысяч жителей, перед войной — вдвое меньше) — на сто десятом километре. Районная больница открывается сразу: крепкий, земской постройки бревенчатый дом на пригорке среди елей и берез. Окна на тракт. И вывеска большая — так в глаза и бросается.

Из Красноярска мы домчались сюда за час двадцать. А сколько времени тянулись сюда те же подводы с административно-высланными, что оказались под больничными окнами мартовской полуночью 1940 года? Надо полагать, выехали они из ворот Красноярской пересыльной тюрьмы еще затемно. И конвой и люди, наверно, порядком промерзли, пока впереди слабым светом замигали крайние в Большой Мурте постройки — больничные. Тогдашний главный врач здешний вспоминает:

«Поздним вечером в начале марта 1940 года я долго засиделся в комнате, готовясь к предстоящей на следующий день операции. В двенадцатом часу ночи ко мне постучал фельдшер Иван Павлович Бельмач. Он вошел и, растерянно извиняясь, объяснил, что ко мне хочет сейчас прийти какой-то профессор... Фамилию профессора Иван Павлович произнести не смог. Вошел высокого роста старик с белой окладистой бородой и представился: «Я профессор Войно-Ясенецкий». Эта фамилия мне была известна только по книжке, которая вышла в свет несколько лет тому назад,— «Очерки гнойной хирургии». Больше ничего об этом профессоре я не знал.... Он мне сказал, что приехал только что сейчас из Красноярска на подводах в составе очень большой группы бывших заключенных, жертв 1937 года, которые посланы в Большемуртинский район на свободное поселение... Он как хирург решил прежде всего обратиться в районную больницу и просил меня обеспечить ему только белье и питание, и обещал мне помогать в хирургической работе. Я был несколько ошеломлен и обрадован такой помощью и такой встречей».

Автору этих строк было в 1940 году двадцать шесть лет. За полгода до встречи с Войно окончил он медицинский институт, был вместе с женой врачом послан в Б. Мурту и на хирургическом поприще делал первые свои шаги. Тридцать лет спустя он так вспоминал ту мартовскую встречу:

«Мы не спали до четырех часов утра. Вначале он меня расспрашивал о литературе последних лет, о достижениях советской хирургии... Затем он стал расспрашивать меня, какую хирургическую работу я веду, к какой операции готовлюсь, и, когда я рассказал о том, что на завтра у меня назначена операция по поводу рака нижней губы с иссечением регионарных лимфоузлов на шее, он тут же очень хорошо представил мне на рисунках анатомию подчелюстной области. Я заметил, что он прекрасно рисует, и его схемы выглядели как схемы из классических атласов по нормальной анатомии».

Так, едва сойдя с арестантской телеги, опрометью кинулся старый земский доктор в милые его сердцу хирургические премудрости. И для хозяина дома на енисейском тракте эта мартовская ночь была знаменательной. Думаю, что начинающий врач быстро сообразил, какие огромные выгоды может принести ему неожиданная встреча. До тех пор в трудных случаях приходилось ему искать консультаций у красноярских коллег по телефону. А тут вдруг такая удача: собственный профессор-консультант...

Следующий день, однако, чуть не расстроил всю идиллию. «...Заведующая райздравом,— вспоминает Барский,— была очень энергичная женщина, но безо всякого медицинского образования и почти совершенно безграмотная, умевшая только подписывать свою фамилию. Вероятно, тогда такие случаи были не редки. Когда я рассказал о том, что вот у меня имеется такой профессор... она замахала на меня руками и сказала, что нет, нельзя допустить, чтобы он работал в районной больнице».

Барский, по его словам, не отступился, пошел сначала к председателю райисполкома — неудачно, потом к секретарю райкома партии. Тот привлек для консультации начальника районного отдела НКВД. Наконец общими усилиями муртинские государственные мужи пришли к мысли, что под наблюдением товарища Барского ссыльный профессор работать в районной больнице все-таки смо-

жет. То было поистине великое благодеяние, ибо из двухсот человек, приписанных в район на поселение,— инженеры, преподаватели иностранных языков, фармацевты, библиотекари,— остаться в районном центре разрешили лишь считанным единицам. Муртинская райздравша не раз еще пеняла потом доктору Барскому за его «политическую ошибку» и поминала старые, с первой енисейской ссылки не забытые грехи Войно-Ясенецкого, который «очень не любил советских врачей». Барский обещал своей неграмотной, но энергичной начальнице, что потачки старику давать не станет, и не давал. Он даже не зачислил Войно в больничный штат, а просто «выписывал ему всего двести рублей за счет пустовавших ставок то ли санитарки, то ли прачки».

Александр Васильевич Барский достиг впоследствии степеней известных: стал профессором, заведует ныне кафдрой общей хирургии в Куйбышевском медицинском институте. К воспоминаниям его мы еще вернемся. Но разыскал я его уже после того, как побывал в Большой Мурте. С трудом удалось найти в Красноярске и бывшего первого секретаря Большемуртинского райкома партии П. Мусальникова, ныне пенсионера республиканского значения, и других должностных. Летом же 1970-го в Мурте ни одного начальственного лица сороковых годов не оказалось. Все уехали в большие города, растворились, исчезли, ушли в беспамятство. И некому было бы мне рассказать о событиях прошлого, если бы не больничные санитарки, медсестры, печники, прачки. Эти на повышение не пошли, их не перебрасывали и на укрепление не посылали. Коренные муртинцы, пережили они не один десяток секретарей и председателей, начальников НКВД, а потом и МГБ и остались тем же, чем были,— народом. Впечатлений накопили они не слишком много, но охотно делились всем тем, что запомнили из большемуртинской истории, в которой каждый пустяк им родной, всякая мелочь — живой кусок их жизни.

В тот ветреный, с перебегающими облачными тенями августовский день 1970 года первым моим собеседником на почерневшем больничном крыльце стал печник Иван Яковлевич Автушко. Был он слегка выпивши по случаю воскресенья, физиономию имел давно не бритую, но очень дружелюбную. А главное, проявил он себя человеком памятливым и разговорчивым. 26 июня 1941 года, на четвертый день войны, сделалось у него прободение язвы желудка. Пришел он с этим прободением в больницу за три километра и перед рассветом лег вот на это самое крыльцо. Главного доктора уже забрали в армию, а жену его, оставшуюся за него, Автушко будить постеснялся. Лежал и ждал, когда кто-нибудь выйдет. В восемь пришел из рощи старик с белой бородой, профессор. Он всегда ходил по утрам в ближнюю рощу молиться. Принесет с собой иконку складную, поставит на пенек и молится. Хирург (имени его Автушко не знает и называет его просто: старик, старичок) осмотрел живот и сказал, как филин буркнул: «Из тысячи одного человека такого удается спасти. Ты погиб». Иван Яковлевич спорить не стал: «Погиб, так погиб. Тогда и не надо баловаться, один укол — и чтобы все». Но старик все-таки решил резать. Уже ноги у Автушко похолодели, когда положили его на стол. Сестер на фронт забрали: наркоз некому давать. Операцию делали под этим, ну как его... Одним словом, он, Автушко Иван Яковлевич, все видел: и как его резали, и как внутренности вынимали. А когда до печени дотронулись, то перед глазами елочки повалились.

«Спасибо этому старику, спас он меня,— жалостливо качает хилой головой печник.— Жизнь он мне установил. Я хотел его подкормить маленько. Старик этот здесь голодовал. Кто-нибудь из больных принесет десяток яиц, он сварит их и постит. Да, наверное, не каждый день и ел».

Прошу Автушко показать мне операционный шов. Он задирает синюю в полоску неподпоясанную рубаху и обнажает живот. Шов выглядит странно: в двух местах на поверхность выходят грубые рубцы. Я с недоверием разглядываю эту явно недоброкачественную хирургическую работу, но Иван Яковлевич спешит разъяснить: «Ты на рубцы не смотри. Это бабы все...» Оказывается, месяца через два после операции шел он один пьяный, одолели его в лесу соседские бабы, сели играючи на живот, а швы и лопнули. Иван Яковлевич спускает подол рубахи и снова возвращается к главной своей теме: «Голодный был старик. Почету ему тут не было». Да почему же? «Не знаю, я и сам обижаюсь. Разве бы я не купил ему десяток яиц. Хватился после, а вот теперь жалею...»

Ни в чем не покривил печник Автушко. Все рассказал точно. И про операцию, и про то, как, встав на рассвете, уходил Войно в ближнюю березовую рощу молиться, и про то, что не было ему почета от местного начальства. Бывший здешний военком, детского роста мужичок в гимнастерке с медалями и в крестьянских приспущенных портках, Соболь Иван Петрович, подтверждает: «Жил профессор бедно, даже недоедал. Смотрели на ссыльных в Мурте косо». Соболь — единственное начальственное лицо, сохранившееся в Б. Мурте с 1940 года. Сохранился он, впрочем, не по своей воле: на войне попал к немцам в плен. Потом долго сидел в наших лагерях. Сломалась карьера, изменились взгляды на жизнь. Намекая на собственные беды, говорит: «Теперь-то я понял, как оно несладко быть ссыльным...»

Хирург Борис Иванович Хоиенко работал в Мурте после войны. Он тоже слышал от старых сотрудников, что жить в муртинской больнице профессору пришлось в крохотной комнатушке рядом с кухней. Жил очень скромно. Сотрудники его любили. И повариха Екатерина Тимофеевна норовила принести профессору что-нибудь повкуснее, но он упрашивал ничего не носить: боялся, что влетит ей от главного врача Барского. Бедность не только не томит Войно, но он даже как будто стремится сохранить ее. В письмах к детям просит: «Денег не присылайте... Сластей и съестного не присылайте». По дороге в третью ссылку уголовники полностью опустошили его чемодан, но Лука обращается к сыну Михаилу только за самым насущным: необходимы кусок материи на верхнюю блузу и немного белья.

Про обиды он вообще никогда не пишет. А ведь они были — обиды... Татьяна Ивановна Стародубцева, здешняя, коренная, 1916 года рождения, в больничных санитарках с 1932-го, вспоминает: «Мы-то, сестры и санитарки, его любили. Обида профессора была не от нас». По мнению Татьяны Ивановны, пример неуважения к профессору подавали начальники муртинские. Когда Войно пошел в райком с жалобой, что мальчишки деревенские нарочно гадят в роще там, где он молится, секретарь ему ответил: «Мы свою церковь взорвали еще в 1936-м. И нечего нам тут религию разводить».

Защитить Войно от несправедливости, устроить его быт мог бы, очевидно, главный врач, но Барский, который в своих воспоминаниях не скрывает, что получил от ссыльного профессора, по существу, целый практический курс хирургии, знал, насколько рискованно для партийца проявлять излишние симпатии к ссыльному. Знал и держал необходимую дистанцию. Был в отношениях с профессором, по словам больничного персонала, еще один охлаждающий фактор: едва сошедший со студенческой скамьи врач завидовал известности старшего коллеги. Когда, сидя в избенке Татьяны Ивановны, мы дошли в разговоре до этого места, санитарка почему-то понизила голос и шепотом пояснила: «Александр-то Васильевич, он у нас партейный был. Гордо чувствовал себя. А этот старичок — ссыльный. А к нему, к ссыльному, народ чуть не со всей Сибири. Вот наш-то и позавиствовал ему».

Удивительным образом эта подмеченная простыми людьми ущемленность муртинского доктора просвечивает даже в собственных, профессора Барского, воспоминаниях. Упорно, будто боясь, что ему не поверят, повторяет он несколько раз, что Войно-Ясенецкий, живя в Мурте, всегда безоговорочно слушал его и по всякому поводу обращался к нему за разрешением. Хотя желающих лечиться у профессора было много, Войно, по словам Барского, «консультировал больных, не обижая мой авторитет», Барский первым принимал приезжих. «И только в том случае, если я находил необходимым его консультацию, направлял к нему». И снова: «Войно-Ясенецкий не принимал без моего направления ни одного больного». Сам того не замечая, автор воспоминаний обнажает тайную пружинку не слишком мудреной своей души. Даже через тридцать лет после событий ему не удается скрыть распирающую его гордость: это он, Александр Барский, командовал знаменитым профессором Войно-Ясенецким. И тот слушался.

Но существовал мир, в котором ни партия, ни доктор Барский, ни район-

ные громовержцы не имели никакой власти над ссыльным профессором. В операционной он становился для них недосягаемым. Оперировал, как всегда, широко: на костях, на глазах, в брюшной полости; убирал у детей гланды и аденоиды, выдавливал трахомные бугорки на веках, лечил женские недомогания, разоблачал, по свидетельству военкома Соболя, призывников-симулянтов. Сказывалась старая, как он сам ее называл, «французская», а скорее, наша, русская земская школа. В Мурте мне называли многих людей, радикально излеченных Войно-Ясенецким от трахомы, старческой слепоты, язвы желудка и спондилеза.

В операционной Лука сам становился большим хозяином, до крайности строгим, требующим от врачей, сестер и санитарок абсолютной пунктуальности. Равнодушия к медицинскому долгу ни в каком виде не терпел. Однажды пришлось ему оперировать секретаря райсовета Строганова. Операция как операция: ущемленная пупочная грыжа. И можно не сомневаться: через две недели больной вышел бы на работу и забыл бы о своей грыже. Но вмешались ненавистные Войно-Ясенецкому силы, которые на нет свели все его усилия. Стационаром ведала жена Барского, врач, но особа чрезвычайно легкомысленная. Сам Барский находился в отпуске, а жена его, оставшись за хозяйку, распорядилась снять швы у оперированного раньше времени. Сама же уехала по личным делам в Красноярск. Больной чихнул — шов лопнул. Пока сестры заметили беду, началось омертвение кишечника. Войно оперировал второй раз, но — поздно. Больной умер.

Будь Строганов рядовым гражданином, все обошлось бы тихо-мирно. А тут — депутат. Пошли слухи: ссыльный, ненавидя Советскую власть, нарочно погубил депутата, народного избранника. Слух стал обрастать деталями: во время операции профессор оставил в животе у больного ножницы. Летом 1940 года такие обвинения были равносильны смертному приговору. В лучшем случае, при очень милостивом составе трибунала, Войно получил бы двадцать пять лет лагерей. И, конечно, сгинул бы навек. Стояли жаркие дни. Гроб с телом умершего на веревках опустили в могилу, но не засыпали. Из Красноярска ожидали комиссию судебных медиков. Здесь так и хочется сказать с у д е б н ы х. Эксперты осмотрели тело, долго советовались сначала между собой в больнице, потом в райкоме партии. Никакой вины в действиях хирурга не нашли. Судить следовало Барскую, но райком распорядился — не трогать: молодой кадр. Дело замялось.

Замялось, да не совсем. Оказывается, еще в день смерти больного, повстречав свою начальницу в хирургическом отделении, Войно потребовал, чтобы отныне она забыла сюда дорогу. Если же она покажется в отделении хоть раз, то навсегда перестанет сюда ходить он, профессор Войно-Ясенецкий. Случившаяся при разговоре операционная сестра Елизавета Петровна Рюмкина слышала, что в заключение профессор, глядя Тамаре Петровне в глаза, с какой-то даже гадливостью в голосе произнес: «У вас нет хирургической души».

Барская, естественно, побежала жаловаться в райком. Но жалоба на разгулявшегося «врага народа» была оставлена без последствий. В Мурте знали: ответственные работники красноярского НКВД несколько раз уже приглашали Войно на консультацию в столицу края. Решили: с таким человеком лучше не вязаться. Барская в хирургическое отделение ходить перестала, но у нее, как и у всякого начальства, осталось достаточно возможностей, чтобы досадить зависимому от нее человеку. А досаждать она умела. Первый секретарь большемуртинского райкома партии Петр Мусальников высказался по этому поводу несколько меланхолично, но недвусмысленно: «Обстановку, в которой он (Войно-Ясенецкий.— **М. П.**) работал, можете представить, ведь он был ссыльный... Барская учитывала это и кое-где могла поиграть на его нервах».

И все-таки, сидя в своей хирургической крепости, он не боялся их, краевых и районных царьков. Может быть, даже жалел их, как жалеют неразумных, испорченных детей. О мелких булавочных уколах, о которых хорошо помнят сестры, в письмах к детям нет ни слова. У хирурга другое на уме. Едва прошли нажитые в тюрьме одышка и отеки на ногах, Войно принялся за дело, от которого его отрывали уже в третий раз: за «Очерки гнойной хирургии».

«Писал он очень много,— вспоминает Елизавета Петровна Рюмкина.— В комнате его, кроме кровати, стола, стула и иконки, ничего не было. Зато книг, книг был полный стол, да еще в ящике под кроватью лежали. Я его спросила: «О чем вы пишете?», а он мне: «Это то, что вам надо знать, вы по этой книге учиться станете».

Экстаз творчества, захвативший Войно-Ясенецкого осенью 1933 года после Архангельска и прерванный тюрьмою в 1937-м, летом сорокового завладел им вновь. Письма к детям из Мурты пестрят названиями книг и журналов, которые он просит посылать ему. «Большое огорчение, что Лена не присылает книг и историй болезни. Я не могу писать своих статей»,— жалуется он сыну Михаилу в мае. Вскоре за тем просит подписать его на «Вестник хирургии» и «Клиническую медицину». В январе 1941 года снова: «Одна только просьба к тебе: пришли англо-русский словарь... У меня большое огорчение: пропала присланная из Ташкента французская книга и часть рукописей. Заказываю в Ленинградской публичной библиотеке фотокопии и уже часть получил».

Глубокой осенью сорокового — радостная весть: начальник муртинского НКВД передал ссыльному, что пришло разрешение на выезд в Томск для работы в медицинской библиотеке. С чего вдруг такое благоволение? Лука полагает, что «сработало его давнее, посланное еще из ташкентской тюрьмы письмо к маршалу Ворошилову». Но такого же рода просьбу посылал он позднее и своему коллеге, новосибирскому депутату Верховного Совета В. М. Мышу. Так или иначе в вожделенную библиотеку он попал и там «за два месяца успел перечитать всю новейшую литературу по гнойной хирургии на немецком, французском и английском языках и сделал большие выписки».

Работает он все эти месяцы как одержимый, ни о чем, кроме своей книги, говорить не может. С «Очерками» связывает Лука самые светлые свои надежды на будущее: признание, освобождение из ссылки, возвращение к родным. В январском письме подводит первые итоги: «...Написал часть главы об остеомиелите костей таза и... скоро напишу ее всю. Остается быстро написать главу о гнойном коксите и, надеюсь, в феврале послать в Наркомздрав пять новых глав... Буду просить об отпуске не только в Москву, но и в Ташкент, так как там надо будет посмотреть истории болезней в архиве Института неотложной помощи, многое почитать в немецких и французских хирургических журналах. Хорошо бы приехать в мае».

В Красноярске в один из своих приездов хирург познакомился с любезной семьей зубного врача Клавдии Андреевны Шаминой. Шамины окружили Войно заботой, вниманием. Возникла переписка. В марте сорок первого года из своей деревенской глуши хирург просит Клавдию Андреевну прислать ему роман Мельникова-Печерского «В лесах», или сочинения Лескова, или Достоевского — «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», «Записки из мертвого дома». Объясняет: художественная литература нужна не сама по себе. «Моя целодневная научная работа настолько утомила меня, что я вынужден оставить ее на время и отдохнуть на беллетристике». Войно, по его словам, мог бы обойтись и без романов, если бы его больше загружали в операционной. «Мне нужна регулярная практическая работа на полдня, чтобы не трудиться целый день мозгам, а здесь у меня операции только спорадические». По муртинским масштабам операций в больнице вполне достаточно. Кроме того, есть возможность оперировать в Красноярске. Но самому Войно-Ясенецкому его профессиональная нагрузка кажется недостаточной. В шестьдесят четыре года, когда большинство его коллег на Западе навсегда оставляют операционную, он огорчается из-за того, что какого-то хирургического больного из ближней деревни родственники провезли мимо районной больницы прямо в город.

Начало войны не меняет строго заведенного ритма его жизни. Уже опустела деревня, ушел на фронт доктор Барский, сменилось в связи с военным положением почти все руководство района, в больнице не стало самых насущных лекарств, сестры вынуждены стирать использованные бинты, а профессор Войно-Ясенецкий, будто не замечая этих знаков военной страды, думает только об одном: «Я очень порывался послать заявление о предоставлении мне работы

по лечению раненых,— пишет он сыну в середине 1941 года,— но потом решил подождать с этим до окончания моей книги, которую буду просить издать экстренно, ввиду большой важности ее для военно-полевой хирургии. В Мурте нашелся специалист-график, работавший прежде в Госиздате. Он сделал мне прекрасные эскизы рисунков... Он говорит, что теперь выпуск книг чрезвычайно ускорен и что мою книгу можно издать за месяц, а мне остается два — два с половиной месяца работы над ней...»

В конце письма снова просьба срочно прислать сочинения такие-то и такие-то, а также сфотографировать во французской монографии (и «прислать как можно скорее!») рисунок такой-то.

На сто десятом километре енисейского шоссе рождается шедевр, который автору, увы, некому даже показать. А показать как хочется! И Лука, как ребенок, построивший крепость на прибрежном песке, разражается гимном самому себе: «Я написал уже четыре больших главы, около 75 печатных страниц, одна другой ценнее». «Новые главы и дополнения к старым — великолепны».

...Пожалуй, ни один эпизод из жизни профессора-епископа не вызывал такого интереса у современников, как его возвращение из третьей ссылки. В эпоху, когда миллионы людей без следа исчезали в черных провалах тюрем и лагерей, человек, который не просто вырвался на свободу, но вышел с почетом и прямо из ссыльных возведен на высокий служебный пост, представлялся неким чудом. Участникам и свидетелям необыкновенного происшествия непременно хотелось увидеть в этом «руку Москвы», участие высших сфер, личный приказ Главнокомандующего. Рядовой советский гражданин, который десятилетиями отталкивал от себя мысль о причастности Сталина к массовым арестам и казням (отсюда миллионы писем-прошений на Его имя), в то же время не сомневался, что выпустить пленника на свободу может только добрейший Иосиф Виссарионович. В счастливом жребии освобожденного из ссылки ученого увидели не случайность, не естественное действие закона, но некую сказочно-справедливую развязку, до которой так охочи русские люди. Эта справедливость без борьбы за нее, справедливость «по манию царя» тем милее простому россиянину, что позволяет и дальше жить привычной пассивной надеждой, лелея свое безволие, питая ее верой в благость и мудрость властей предержащих.

В том, что хирург-епископ — личность злокозненная (это усиливало мелодраматическую силу мифа о милостивом его освобождении), никто не сомневался. За годы террора правительство выработало у своих подданных представление о некоей обратной связи между причиной и следствием. Сидел — значит, враг. Хирург-партиец П. П. Царенко, знавший Войно-Ясенецкого еще с двадцатых годов, когда я спросил его, почему он так свято верит в антисоветские настроения Луки, нисколько не смутившись, возвратил мне мой вопрос: «А разве сам факт ареста его не говорит об этом?» Если так рассуждает профессор, то что ожидать от жителей глухого восточносибирского села? Первый секретарь Большемуртинского райкома партии П. Мусальников вспоминает: «Он (Войно-Ясенецкий) был у меня на приеме, когда началась война в 1941 году. Он пришел и заявил следующее: «Правительство правительством (разрядка моя.—**М. П.**), но я русский человек, квалифицированный врач-хирург, могу предложить свои услуги и помощь в лечении раненых солдат и офицеров нашей армии».

Маленького военкома Соболя, убежденного в том, что Войно в прошлом «редактировал антиленинскую газету», простая антипатия Войно-Ясенецкого к советскому правительству не удовлетворяет. По его словам, летом 1941 года, войдя в кабинет первого секретаря райкома и положив на его стол заявление, профессор сказал: «Я ненавидел большевиков, я боролся с Лениным, теперь прошу направить меня в госпиталь для оказания помощи советским бойцам». Соболь знает даже ту конкретную причину, которая заставила епископа прозреть, изменить свое отношение к Советской власти. Оказывается, в райком он пришел с газетой, в которой описывался ужасный случай: как немцы повесили в Белоруссии двух священников. Священников Войно немцам простить не мог.

Легендарно в глазах муртинцев выглядел и отъезд Луки. Однажды на окраине деревни приземлился самолет. Из него вышел Большой Начальник и направился в больницу. Профессор-епископ благословил сестер, санитарок и больных, сел с Начальником в самолет и полетел навстречу мировой славе и почестям. Самолет с главным хирургом красноярских госпиталей действительно прилетел в Б. Мурту. Но все было более прозаично. Через месяц после начала войны Лука сообщил сыну: «По окончании книги («Очерков гнойной хирургии».—**М. П.**) пошлю заявление в Наркомздрав и Бурденко, как главному хирургу армии, о предоставлении мне консультантской работы по лечению раненых...» Очевидно, в августе, так и не закончив работу над «Очерками», он написал в Наркомздрав. Письмо переправили в Главное медико-санитарное управление армии. В сентябре муртинский военкомат получил распоряжение использовать профессора по специальности. Лука надеялся, что его призовут в армию и таким образом освободят от ссылки. Писал: «В шестьдесят четыре года надену впервые военную форму». Но скрипучая машина НКВД — МВД не могла так вот сразу расстаться со своим пленником. Войно получил только разрешение переехать, опять-таки в качестве ссыльного, в краевой центр, чтобы работать там в лечебном учреждении. В каком же? По словам бывшего начальника Енисейского пароходства И. М. Назарова, летом 1941 года несколько ведомств сразу начали «охоту за бородой». Назаров сделал попытку «захватить» Войно-Ясенецкого для больницы водников и даже послал в Мурту главного врача своей больницы. Заинтересовался хорошим хирургом и штаб военного округа. Но наибольшую подвижность в этой «охоте» проявил главный хирург только что организованного в Красноярске МЭП — местного эвакопункта. Под этим скромным названием скрывалось мощное подведомственное краевому отделу здравоохранения учреждение, состоящее из десятков госпиталей и рассчитанное на десяток тысяч коек. МЭП разворачивался спешно, по прямому указанию из Москвы. С Запада, с фронта, уже шли в Сибирь первые санитарные эшелоны. Красноярску предстояло стать последним на Востоке пределом эвакуации раненых. МЭП нуждался в зданиях, белье, продуктах, врачах и в том числе квалифицированном научном руководстве. Войно был нужен эвакопункту позарез, кругом на тысячи километров не было специалиста более необходимого и более квалифицированного. Вот почему, бросив все дела, утром 30 сентября главный хирург МЭП совершил авиабросок на Большую Мурту. Самолет задержался в деревне ровно столько времени, чтобы Войно смог уложить в чемоданчик свои рукописи и пару белья, а начальник районного отдела МВД товарищ Лопатский прочитал присланную его высшим краевым начальником, товарищем Семеновым, бумагу. По этой бумаге ссыльный профессор Войно-Ясенецкий отныне передавался в собственность местного эвакопункта, а точнее госпиталя 1515, расположенного в здании школы номер десять.

Вечером того же дня Лука сообщал из Красноярска: «Завтра же начнем оперировать. Прервалась на время моя работа над последней главой об абсцессе легкого, но я взял с собой материал и надеюсь писать здесь». И десять дней спустя: «Я назначен консультантом всех госпиталей Красноярского края и, по-видимому, буду освобожден от ссылки». Тон письма бодрый, даже гордый. «Меня просили организовать научную работу врачей (их прибыло много, четыре профессора...), буду летать по всем госпиталям, которых много. Устроился отлично...»

День 27 августа 1970 года, проведенный в Большой Мурте, был, очевидно, одним из самых насыщенных впечатлениями дней моей литературной жизни. До самой ночи мы с моим водителем ездили по деревенским закуткам и крутогорам, разыскивая больничных старожилов. Кое-кто умер, некоторые разъехались, но, в общем, свидетелей жизни Войно в Мурте оказалось достаточно. Большая Мурта — село крупное, построенное добротно, крепко. Народ в основном местный, коренной. В журнале приема больных Войно записывал их — «земледельцы». Они и есть земледельцы: лет двести с лишним сеют по берегам реки Подъемной пшеницу, ячмень, овес. Люди тут, насколько я мог понять за краткое наше знакомство, дружелюбные, гостеприимные. Не встретил я и равнодуш-

ных. Всякий старался помочь в моем деле как мог. Остаток вечера провели мы у санитарки, средних лет женщины, Валентины Григорьевны Мониной. К ней в дом набились почти все те, с кем удалось поговорить за день. Закусив и выпив по маленькой за столом у приветливой хозяйки, гости, люди в среднем лет пятидесяти, оживленно перебирали события, как-то связанные с ссыльным профессором. Это совсем не походило на интервью, а, скорей, напоминало встречу друзей, однополчан или односельчан, которых жизнь разметала по дальним дорогам. В такой беседе — каждая малость к месту.

«У меня глаза разболелись, думала — ослепну,— рассказывает Валентина Григорьевна.— Пришла к профессору, спрашиваю: «Это что у меня?» А он: «Тебе не обязательно знать». А вот вылечил глаза, с тех пор не болят».

«А меня на медсестру выучил. Я бестолковая была, но он никогда голос не поднимал,— вспоминает Елизавета Петровна Рюмкина.— Один раз только сказал строго: «Или корову брось, или операционную, а то будет грязь... Я его жалела. Ведь мы с мужем тоже высланные из Забайкалья. Нас в тридцать первом в кулаки записали...»

«Больница наша на тракте,— говорит бывшая санитарка Александра Павловна Левина.— Кого только не возят. Завезли нам один раз женщину лет тридцати восьми, ни руками, ни ногами не владеет. Долго профессор ее лечил. Никто за ней так и не приехал, забыли, видно. Умерла бедняжка. Из немцев Поволжья была».

«Могу о нем сказать только положительное. Сколько он народу вылечил! Сколько бельм с этих глаз поснимал! Думаю, за два года у человек пятнадцати. Один конюх в Листвянке восемнадцать лет не видел света, профессор ему свет открыл» (зоотехник Константин Иванович Стрелец).

Давно уже исписал я всю тетрадь, и на обложке тетрадной места нет, а люди все подходят, и каждому хочется в чем-то прояснить дело, что-то уточнить, а то и просто вспомнить старое, доброе время, когда сами они были молоды и жизнь, как им теперь кажется, была веселее и слаще.

«Голос у него был низкий, басовитый. Позовет меня бывало: «Шура!» Я тут как тут. Стараюсь угодить. Один раз поставили к нему другую санитарку — она ему не понравилась. «Верните мне, говорит, Шуру».

«Один раз профессор посылку получил от дочери: виноград. Принес моим детям и отдал. А они не знают, что это такое. «Мама, что это?» А я и сама винограду сроду не видывала».

Спрашиваю: не сохранилось ли у кого фотографии Луки, и сразу все хором: «Как же, была, но куда-то задевалась». «А у меня мужик спьяну порвал...», «Ребятишки затаскали...» Но когда приходит час нашего отъезда, выученица профессора Войно-Ясенецкого, пожилая, все еще очень красивая и полная достоинства Елизавета Петровна Рюмкина приносит пожелтевший снимок. Она только что вынула его из рамочки, что годами висела в избе среди других рамочек с дорогими лицами. На портрете — седой старик с кружевной бородой и мягко-непреклонным взглядом. Он сидит во дворе, под елями, а вокруг россыпь белых халатов — сестры, фельдшера, санитарки, девушки и молодухи далекого 1940 года...

...Забрасывая огни далеко вперед, мчится по черному енисейскому тракту черная крайкомовская машина, и сокрушенно вздыхает за рулем женщина-шофер: «Такой человек...» Что он ей, этот умерший десять лет назад старик? Почему и ее, не знакомую ни с его верой, ни с его наукой, положительную, строгую, любящую больше всего порядок, задела вдруг чужая судьба?

На память приходят енисейские рыбаки, спустя полвека с нежностью поминавшие «священного Луку», уголовники, которые приветствовали его на тюремном дворе, верующие ташкентцы, мужчины и женщины, готовые погибнуть под колесами поезда, чтобы только не отпустить своего Владыку в сибирскую ссылку. Его действительно любили. Любили люди церкви и больные в госпиталях, медики-сослуживцы. Это чувство захватывало почти каждого, кто попадал в силовое поле его притягательной натуры. А за что любили? И что он сам думал о всеобщем почитании, этот далеко не сентиментальный человек? Какой ко-

декс лежал в основе его отношений с рыбаками и землепашцами, больничными санитарками и солдатами охраны, обитателями уголовных камер и районными чиновниками? Ведь была же у него какая-то ф и л о с о ф и я ж и з н и, та ежедневно, сжеминутно работающая в нас система отбора поступков, слов, эмоций, которая идет из самых затаенных наших глубин?

Философия жизни — постройка сложная. В фундаменте ее — натура, та природная конструкция нашей физиологии, психики, которая дается нам единожды и навсегда. В натуре Войно-Ясенецкого главное — жесткая избирательность его интересов. Его ум подобен лазеру — узкое световое лезвие, пронзающее тьму. В зоне луча — накал страстей и идей доходит до величин астрономических. Но пространство, лежащее по сторонам, едва озарено. Среди выдающихся художников, ученых, политических и религиозных узурпаторов — конструкция довольно распространенная. Сосредоточенность Архимеда на своих кругах, страсть Лютера и Микеланджело, углубленность Паскаля, фанатизм Робеспьера — это она, лазерная система ума и души. Благодаря ей Архимед не отстраняется от меча римского солдата, Лютер не может сойти с места, на котором стоит, а творящий великое искусство Микеланджело не замечает ни текущего времени, ни собственного недомогания. Лазерный строй ума толкает Робеспьера громоздить трупы врагов республики, мешает ему разглядеть свое собственное трагическое завтра.

Личности такого рода всегда склонны вести за собой окружающих, привлекать чужие сердца. Одни зовут философскими трактатами, другие — кистью, третьи — политическим действием. В свой черед прорезалась страсть к учительству и у Войно. Он показал себя отличным университетским педагогом, а затем и церковным проповедником. Христианство окрасило его публичные высказывания в морализующие тона, хирург-педагог оказался моралистом. На этом собственно и завершилось раскрытие качеств, данных Войно-Ясенецкому от природы. Художник породил Хирурга, Хирург — Художника слова, проповедника. А за пределами этих ярко пламенеющих страстей разверзлась тьма. Целый мир чувств, искусств, наук, понятий навсегда оказался за пределами узко устремленного лезвия. Профессор мог иногда брать в руки роман Писемского или Достоевского, листал газеты или (как это было позднее в Крыму) плавал в море, но ни литература, ни спорт, ни интерес к политике не имели постоянной твердой опоры в его душе. В ней властвовал жестокий закон лазера.

Идеи.... Сделаем здесь остановку. Постигнув устройство печки, попытаемся теперь разобраться, какие именно дрова в ее топке дают больше всего жара. Морализаторство на Руси — занятие старинное. В новейшем своем варианте существует оно у нас лет двести. Пошло с Радищева и Новикова, с того времени, как первые интеллигенты российские бесстрашно распознали главную духовную болезнь своего народа, «болезнь нравственного сознания». Распознав болезнь, тотчас начали они изливать на больного бальзам моральной проповеди. В чем же болезнь? Один из самых страстных отечественных моралистов Николай Бердяев видит ее в отрицании русским человеком «личной нравственной ответственности и личной нравственной дисциплины, в слабом развитии чувства долга и чувства чести, в отсутствии сознания нравственной ценности подбора личных качеств». Слово «личный» Бердяев не случайно повторяет трижды. Оно в этом диагнозе главное. И мне трудно не согласиться с Бердяевым, когда он далее диагносцирует: «Русский человек не чувствует неразрывной связи между правами и обязанностями... Он у т о п а е т в б е з о т в е т с т в е н н о м к о л л е к т и в и з м е, в претензии за всех».

Кто только и во имя чего только не морализировал за два столетия на русской почве, кто только не пытался втолковать нашим соотечественникам понятия о пользе жизни нравственной и о личном долге! Славянофилы, народники, западники, христианские вероучители всех мастей. Все побывали тут! Не слишком громко, но вполне явственно звучит и голос профессора-епископа. Я говорю пока не о его церковных проповедях (о них речь пойдет ниже), а о той философии жизни, которую он шестьдесят лет с лишним проповедовал самим своим существованием, каждодневным поведением, а то и словом, невзначай вроде бро-

шеиным. О чем же толковал он? Тут сталкиваемся мы с удивительным парадоксом. Моралист Войно-Ясенецкий открывается нам прежде всего как носитель основных идей графа Льва Николаевича Толстого. Да как же это так?! Ведь мы помним хорошо, что от графа-еретика Войно отрекся еще на студенческой скамье после того, как прочитал статью: «В чем моя вера?». Сочинение графа оттолкнуло молодого человека, как он сам записал позднее, «издевательством над православной верой». С чего бы ему было возвращаться назад? А вот с чего. В конце девятнадцатого и начале двадцатого столетия голос Толстого-моралиста прозвучал для многих сильнее, чем голос Толстого-художника. И не случайно. Хотя толстовцев, полностью разделяющих его доктрину, оказалось в конечном счете только малая горсточка, толстовская проповедь всеобщего и обязательного добра пришлась по душе самым широким кругам русской интеллигенции. Бердяев даже считает (1918 г.), что «почти вся русская интеллигенция признала толстовские моральные ценности самыми высшими, до каких только может подняться человек». Каждый толковал это д о б р о по-своему, но все соглашались с тем, что никто лучше Толстого не сумел выразить русскую «болезнь нравственного сознания», морализм и аморализм русской души.

Явно того не желая, воспринял толстовский морализм и профессор Войно-Ясенецкий. Отвергнув Толстого-еретика, Толстого-отступника от догм православия, Войно тем не менее весь свой век прожил во власти философских представлений отлученного графа. Что это за представления?

После того как Лев Толстой принес в человеческое сознание мир удивительно ярких, неповторимых, индивидуальных образов, после того как подарил он нам князя Андрея, Наташу, Долохова, Николеньку Иртенева, Анну Каренину, Катюшу Маслову и еще целый калейдоскоп незабываемых лиц и характеров, начал он проповедовать философию, в которой личность — ничто. Созидатель целого народа, целой страны образов стал в 80-х годах сторонником безликой массы, певцом толпы, в которой не видно отдельных лиц, но зато есть природный коллективизм, ульевое, роевое, существование. Толстому 80—90-х годов человеческий рой, роевое мышление кажутся самым важным, более того, божественным. Разнообразие и разнокачественность человеческой породы, столь милая ему прежде, сменяется проповедью уравнения всех и всего в бескачественной массе. Этой массе Толстой желает сытной, удовлетворенной, спокойной жизни, без страданий, без пороков. Вот его новый идеал. Раньше великий писатель черпал свое вдохновение во всей толще русского общества, но теперь балы, скачки и гостиные исключены. Там нельзя найти коллективизма, однообразия. Значит, правда не там. Правда в простом народе. Толстой-моралист начинает обоготворять человека низов, человека физического труда, человека массы. Только такой человек, по его мнению, готов исполнить закон добра, только в нем восторжествует в конце концов абсолютная нравственность. А коли так, то образованный интеллигентный класс о б я з а н все силы свои, все знания и талант отдавать именно им, низам. Этой безликой, но зато божественной массе. О долге неоплатном перед «младшими братьями» — это тоже исконно русское, от первых моралистов идущая расхожая идея. Но для Войно она — Идея. С большой буквы. Все это он впитал и усвоил как свое собственное, родное.

Войно всю жизнь соблюдал завет Толстого: он всегда на людях, с людьми. Не слишком различая лица человеческие, светит он всем — должностным и не должностным. Отдать мерзнущему в тюрьме воришке теплый полушубок или идти в ночной час на вызов к больному — для него не жест. Он делает это так же естественно, как читает утреннюю молитву.

Так же просто, как одаривает он всех своими медицинскими знаниями, несет он людям свою строгую проповедь честности, трудолюбия, ответственности. Он без пристрастия строг с ослушниками и без различия дружелюбен к тем, кто, по его мнению, живет так, как надо, то есть не выбивается из законов улья, не нарушает правил роевой жизни. Ему привычны, ему даже милы эти люди, их быт, нравы, послушание, преданность и любовь к нему.

А как им не любить его? Сверхобъективность ученого-епископа, его безличную доброту они воспринимают как личную к себе милость, как высшую справедливость. Русские люди более всего ценят вот такое благоволение сверху вниз. Не дай Бог, если высоко стоящие на иерархической лестнице (должностной или качественной) предложат нижестоящему отношения «на равных» — из таких попыток обычно, кроме наглой фамильярности и хамства, ничего не получается. Уважают у нас только голову, высоко вознесенную. Войно (несмотря на частые его оговорки в «Мемуарах» и письмах) всем существом своим чувствует себя пастырем, учителем, человеком н а д.

Чтобы морализовать, ему годится любой предлог. Он проповедует, узнав, что санитарка застудила своего грудного ребенка и тот умер. Проповедует, отчитывая нерадивого врача. Может произнести проповедь перед партийным районным чиновником, обещая избавить его от невыносимых язвенных болей с тем, однако, что пациент изменит свою жизнь, поверит в Бога. Иной раз пастырь может и прогневаться. Мужиков из соседней с Муртой деревни послали ломать церковь. На этой работе один из них засорил глаз и пришел в больницу за помощью. «Что? Церковь ломал? — громыхнул Лука.— Иди, я лечить тебя не стану. Тебя Бог наказал!..» Чем не проповедь? Коротко и вразумительно.

Главная тенденция в проповедях Луки — сохранять, сплачивать человеческий рой. О том, ч т о и м е н н о сплачивает человеческое общество, Лука имеет свое собственное мнение, резко отличное от толстовского. Граф-еретик все надежды возлагает на семью, на общину, то есть на объединения неполитические. Он клянет государственную машину в целом и, в частности, армию, суды, административный аппарат. Для Луки же государство и все от него идущее — первая самая важная народная скрепа. Охранитель по преимуществу, охранитель всего того, что, по его мнению, скрепляет народ, он покровительствует законному браку, семье, служебной добросовестности, исполнению государственных законов. Сам беззаконно арестованный, без суда сосланный, оторванный от близких, от любимой науки, он даже в мыслях не входит в конфронтацию с режимом. Как будто и не было конвейера, двух лет на тюремных нарах, кровоподтеков от следовательского сапога, как будто не было бессмысленно изувеченной научной карьеры — Лука снова и снова готов помогать властям в том, что направлено, и по его разумению, на о б щ е е д е л о.

Муртинский военком Соболь умиленно вспоминает, что по просьбе военкомата профессор обследовал несколько «подозрительных» допризывников и разоблачил симулянтов. Один деревенский парень, чтобы не идти на военную службу, втер себе в глаза какую-то ядовитую траву, другой, распарив в бане ногу, загнал под кожу керосин. Войно не поинтересовался, какие именно личные обстоятельства толкнули молодых людей совершить незаконный поступок. Была ли причиной любовь, которую мучительно потерять, или страх перед длительным расставанием с родными. Нет, л и ч н ы е причины не заинтересовали Луку. Ибо как моралист определенного склада считал он охрану отечества одной из наиболее естественных роевых функций общества. Уклоняться от службы — аморально, независимо от личных обстоятельств будущего солдата и того, какова сама по себе армия.

Историю с мальчишками, которые после экспертизы профессора Войно-Ясенецкого пошли под суд, рассказывали мне и другие муртинцы. И в голосе их я не уловил ни малейшего порицания врача. Нет, поступок Войно не выходил, по их понятиям, за пределы должного. Если бы парнишки были похитрее да провели бы медика, тогда другое дело. Молодцы. Но коли попались — поделом. Тут виноватых нет. Не попадайся... Взгляды моралиста и тех, кому он проповедует свою мораль, как видим, разнятся. Но обе стороны во многом и сходятся: и пастырь, и его стадо вовсе не страдают от жестокости власти, от безвыходного положения, в котором оказывается личность, не желающая по какой-то причине служить «правительственным видам». И маленькое, районного масштаба самодержавие, и самодержавие большое, всероссийское в общем-то по душе и профессору Войно-Ясенецкому, и муртинским (и только ли муртинским) мужикам. Причины разные, а практический вывод один: «свой» Сталин лучше

«чужого» британского парламентаризма. А буде одна из сторон лучше знала бы историю, то, несомненно, предпочла бы строгую Спарту демократическим Афинам.

Власти всегда и везде объясняют, что тяготы, которые возлагают они на плечи народа, есть мера совершенно необходимая для спасения отечества, для блага самих граждан. В странах с режимом демократическим, где есть различные партии и разных направлений газеты, нетрудно установить, действительно ли это так и согласен ли народ такие тяготы переносить. У народа российского проверить свое правительство возможности нет. Остается верить. И привыкли верить. Говорили нам в свое время, что истреблять «врагов народа» надо ради внутренней безопасности страны, а костоломная индустриализация и столь же костоломная коллективизация необходимы ради экономической независимости и безопасности внешней. Верили. Верили и мужички (городские и деревенские), верил и Войно. Ибо, как и миллионы других, обожествлял идею гнезда, дома, родины, верил в неизменный приоритет прав государственных над правами личности. «Ведь это нам же на пользу...» Так что не было у моралиста Войно-Ясенецкого серьезного морального разлада со своим народом. Он любил народ, народ любил его.

Есть среди рассказов о том, как в начале войны Лука покидал Большую Мурту, один в этой связи особенно многозначительный. Передал мне его человек, в Красноярске чрезвычайно известный, бывший начальник Енисейского пароходства Иван Михайлович Назаров. Хозяин главной транспортной артерии края, вмещающего в себя почти пять Франций, депутат Верховного Совета СССР, член бюро крайкома КПСС, он был не глуп, напорист, хамоват, одним словом, соединял все доблести сталинского партайгеноссе. Летом 1970 года, когда мы встретились, этот рослый красивый мужик, изрядно поизносившийся от большого количества выпитой водки и иных жизненных радостей, пребывал уже на пенсии. Лежа под пледом в шикарной своей красноярской квартире (на стенах ковры и фотографии речных лайнеров), он рассказывал.

Когда уже началась война, на городской телеграф пришла телеграмма из Мурты. Адресована она была Председателю Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Ивановичу Калинину. Телеграмму в Москву не передали, а в соответствии с существующими распоряжениями направили в крайком. Содержание ее Назаров запомнил дословно: «Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, отбываю ссылку по такой-то статье в поселке Большая Мурта Красноярского края. Являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука».

Диктуя мне телеграмму, Назаров привстал, голос его зазвенел на высокой ноте, в глазах блеснули слезы. Подбежала дочь с мензуркой. Рассказ пришлось остановить. Остановимся и мы, ибо главные слова уже произнесены. Вот эти, взятые разрядкой: «...готов вернуться в ссылку».

Допустим, что Назаров сообщает очередную легенду. Не легенда, однако, а факт, что, став хирургом-консультантом всех госпиталей края, совмещая хирургическую работу с архиерейской, профессор-епископ еще два года оставался на положении ссыльного. По свидетельству профессора Максимовича, дважды в неделю обязан он был отмечаться в милиции. И что же — оскорбляло, унижало это положение архиепископа Красноярского? Жаловался он, писал в Москву о совершаемом над ним беззаконии? Ничуть. Думаю, что он и вовсе не задумывался об этом. Шла война, а во время войны, когда отечество в опасности, каждый гражданин должен позабыть о личных невзгодах. Это он вычитал не из газет. На том стоял сам, такова была его собственная философия жизни. Ни в письмах, ни в разговорах с близкими ни разу не обмолвился Лука о том, что его, спасителя сотен жизней, держат как преступника, что, выезжая на научные конференции в другой город, он должен писать рапорты и просить чекистов, чтобы разрешили, отпустили... Только в «Мемуарах», да и то вскользь упомянул он, что кончилось его ссыльное положение осенью 1943 года.

...Хлебнув валериановой настойки и полежав минуты две с закрытыми глазами, Иван Михайлович досказал взволновавшую его историю. Ту телеграмму в крайкоме долго обсуждали: посылать — не посылать. Видел ее Назаров и на столе первого секретаря товарища Голубева. При обсуждении вопроса присутствовали работники НКВД. Они говорили, что Лука — ученый с мировым именем, что книги его издавались даже в Лондоне. В конце концов решено было телеграмму Войно-Ясенецкого Калинину все-таки отправить. Ответ из Москвы пришел незамедлительно. Профессора приказано было перевести в Красноярск. Миф? Возможно...

Глава седьмая

ВРЕМЯ СОБЛАЗНОВ

(1941 — 1946)

«Из persona odiosa я очень быстрыми темпами становлюсь persona grata».

Лука ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ. Из письма к Н. М. Третьяковой. 8. 7. 1942 г.

«Сказал также Иисус ученикам Своим: невозможно не придти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят...».

Евангелие от Луки (17.1).

Первая военная зима прошла безрадостно. Правда, Войно-Ясенецкому вернули право заниматься любимым делом, но положение главного хирурга-консультанта красноярских госпиталей не избавляло от ссылки. А ссыльный — в глазах начальства, и военного, и гражданского,—всегда человек сомнительный, ненадежный, почти враг. Лука писал позднее старшему сыну: «В первое время моей работы в Красноярске отношение ко мне было подозрительное...» Особенно любила напоминать ссыльному хирургу о его гражданской неполноценности заведующая краевым областным отделом здравоохранения Екатерина Астафьева. Дама эта, более памятная красноярцам под именем Екатерины Великой, даже пришибленных провинциальных врачей поражала своей бесцеремонностью и откровенным хамством. Ее скорый, но неправедный суд, как правило, завершался приказом: «Отстранить!», «Объявить выговор!», «Уволить!» Грубые окрики, вмешательство в личную жизнь довели многих медиков до инфаркта. Крайздрав-самодур держала при себе кучку доносчиков, которые делали ее всеведущей. О Войно сведения поступали самые неблагоприятные: верующий, повесил иконы в комнате, дома у себя принимает местных священников. По этому поводу Астафьева несколько раз в присутствии посторонних делала Войно грубые замечания. Он не возражал, но как будто не слыхал ее слов. И вообще держался так, будто и не ссыльный он, а настоящий профессор. Астафьева злилась, искала случая унизить надменного, как ей казалось, подчиненного. Проще всего было огреть его дубиной разносного приказа. Но ни своим служебным поведением, ни уровнем профессиональной квалификации Лука повода для разноса не давал. Давно известно, однако, что в каком бы жалком состоянии ни находился заключенный или ссыльный, всегда есть нечто такое, что можно у него отнять и тем сделать жизнь еще горше.

Астафьева узнала, что Войно страстно желает выхода своих «Очерков гнойной хирургии», и решила не допустить публикации книги. Сделать ей это было нетрудно. Всякий раз, когда в Красноярском крайкоме партии решался вопрос о печатании этого труда, член бюро крайкома Астафьева напоминала своим партийным коллегам, что автор книги — нераскаявшийся церковник и выпустить его труд значило бы допустить серьезную политическую ошибку. Политическая ошибка — жупел, которым в сталинскую эпоху можно было запугать кого угодно.

«Очерки гнойной хирургии», получившие одобрение самых крупных хирургов, так до конца войны в свет и не вышли.

Войно-Ясенецкий не догадывался, кто и почему мешает публикации «Очерков». Его письма военных лет полны нескончаемых надежд. «Мою книгу могут издать в Красноярском военном издательстве. Остановка только за получением приказа от начальника военного издательства в Москве»,— пишет он сыну в апреле 1942-го. В мае новая версия: «Вчера получил сообщение, что моя книга будет печататься в Новосибирске. Бумагу уже достали». В августе оказалось, что бумаги в Новосибирске все-таки нет, но зато «уже почти вполне обеспечено издание книги в Красноярске». Тем не менее в феврале следующего, 1943 года Войно вынужден сообщить близким, что «печатание книги еще не началось». Скорее всего оно не началось бы никогда, не случись в России событий удивительных, которых не могли предвидеть ни партийка Астафьева, ни профессор Войно-Ясенецкий. Но об этом — позже.

Пока же, зимой сорок второго, Лука живет в сырой и холодной комнате, где до войны обитал школьный дворник. Как и всякое советское учреждение, госпиталь 1515 состоял из нескольких «слоев» работников, резко отличавшихся по своему материальному положению. Лучше всех снабжались начальство, затем шли военные врачи, ниже на иерархической лестнице стояли врачи гражданские, еще ниже — медсестры. Гражданской публике приходилось туго. Местные люди, живущие в городе со своими семьями, еще кое-как сводили концы с концами. Лука же в первом военном году оказался на грани нищеты. На госпитальной кухне, где готовилась пища на тысячу двести человек, хирурга-консультанта кормить не полагалось. А так как у Луки нет ни времени, чтобы «отоварить» свои продуктовые карточки, ни денег, чтобы покупать продукты на «черном» рынке, то он хронически голодает. Красноярские старожилы помнят еще, как госпитальные санитарки тайком пробирались в дворницкую, чтобы оставить на столе тарелку каши: без таких даяний знаменитому хирургу, очевидно, не раз пришлось бы ложиться спать голодным.

Войно бедствовал, но натура его отвергала ярлык второсортности. Его не унижали ни придирки вздорной начальницы, ни голод, ни обветшалая одежда. Без обиды и надрыва переносил он свет тридцативаттной лампочки, едва освещавшей убогое жилище. За годы тюрем и ссылок он привык к подобным условиям, а в одном из писем той поры даже писал, что «полюбил страдание, так удивительно очищающее душу». Тем не менее люди наблюдательные замечали: на душе профессора пасмурно. Тогдашний заместитель красноярского крайздрава Ревекка Ананьевна Браницкая, в отличие от своей начальницы с симпатией относившаяся к ссыльному хирургу, утверждает, что стесненным и неуверенным он чувствовал себя до самого лета 1942 года. Однажды зимой Войно чрезвычайно взволнованный явился в крайздравотдел. Ему предложили оперировать крупного работника НКВД, доставленного в госпиталь с разрывом кишечника. «Я уже трижды смотрел раненого,— сказал он.— Шансы на спасение есть. А если неудача? Не станут ли говорить, что ссыльный нарочно погубил командира войск НКВД?» Браницкая принялась успокаивать коллегу, уверять, что ему ничего не грозит, что в госпитале и в крайздраве ему доверяют. Это не было правдой. Да и сама Браницкая не слишком верила своим утешительным словам. Но Войно весть о начальственном доверии воспринял с восторгом. Благодарил. Операцию провел он на самом высоком уровне и, по общему мнению врачей госпиталя, спас раненому жизнь.

Можно с большой степенью достоверности утверждать, что санитарки, медсестры и врачи, которым приходилось изо дня в день работать с Войно-Ясенецким, не разделяли подозрительности высшего начальства. Политическое лицо ссыльного хирурга их не интересовало, зато они могли не раз убедиться в его высоком оперативном мастерстве, в его дружелюбии к персоналу и раненым.

«Мы, молодые хирурги, к началу войны мало что умели делать,— рассказывает врач Валентина Александровна Суходольская.— На Войно-Ясенецкого смотрели мы как на Бога. Он многому научил нас. Остеомиелиты, кроме него, никто оперировать не мог. А гнойных ведь было — тьма! Он учил и на операциях и на своих отличных лекциях. Лекции читал в десятой школе раз в неделю».

Доктор Браницкая добавляет: «В операционной Войно работал спокойно, говорил с персоналом тихо, ровно, корректно. Сестры и ассистенты никогда не нервничали на его операциях. Ткани шил он красивым швом — настоящая белошвейка. И швы его быстро зарастали».

Хирург Валентина Николаевна Зиновьева, ученица Войно-Ясенецкого по госпиталю 1515, считает, что учил он своих помощников не только резать и шить, но еще и тому, что Зиновьева называет «человеческой хирургией». С каждым проходящим через его руки раненым Лука вступал как бы в личные отношения. Помнил каждого в лицо, знал фамилию, держал в памяти все подробности операции и послеоперационного периода. С двойным интересом подходил он к койке уже прооперированного: если самочувствие больного было хорошим и раны быстро заживали, это радовало профессора и в личном, и, так сказать, в общем плане. Значит, примененные в этом случае оперативные приемы и предварительные хирургические расчеты оказались верны. Значит, и в будущем удастся помогать кому-то этими же средствами...

«Если раненый умирал,— подхватывает эту мысль доктор В. А. Суходольская,— то Войно страдал не только от индивидуальной гибели («невинные смерти» — говорил он), но ощущал смерть как общенародную потерю. Беда эта глубоко его волновала».

В Ленинграде во время блокады и потом на фронте я не раз беседовал с госпитальными хирургами. Были среди них и более и менее талантливые. Бывали и посредственности. Но в подавляющем большинстве своем встречал я людей смелых, честных, не боящихся труда и лишений. Труда на их долю приходилось много, очень много. Я знал хирургов, оперировавших сутками. Они не роптали, но ни о каком личном отношении к раненому не желали и слышать. То была роскошь, которую мои старшие коллеги просто не могли себе позволить. Символически звучат в моих ушах крики майора медицинской службы, профессора А. М. Рыжих, которыми подгонял он на фронте своих подчиненных: «Бедра! Бедра!» Раненые с переломом бедренной кости и разрушением бедренного сустава нуждались в быстрой и активной помощи врачей-хирургов. И медики того госпиталя, который инспектировал профессор Рыжих, делали все, чтобы эту помощь пациентам оказать. Но те, кого они спасали, оставались только бедрами. Ибо, по мнению фронтовых медиков, стоя в потоках крови, гноя и боли, врач уже не в силах, да и не должен останавливать свое внимание на индивидуальном человеческом лице. Это нерентабельно с точки зрения расхода драгоценного времени хирурга и еще более непозволительно с точки зрения его душевных ресурсов. Профессор Войно-Ясенецкий не разделял эту точку зрения. В тыловых госпиталях хирурги работали подчас не менее напряженно, чем на фронте. Из писем и сохранившихся архивных материалов видно, что красноярский хирург-консультант проводит в операционной ежедневно по девять-десять часов, совершая до пяти больших операций. Сотня раненых в колено, суставы рук и бедро, жертвы остеомиелита проходят через его руки. Поток! И тем не менее в отношениях с ранеными хирург сохраняет свой принцип. Только самые близкие знали, чего ему это стоит: «...Тяжело переживаю смерть больных после операции. Было три смерти в операционной, и они меня положительно подкосили,— пишет он сыну.— Тебе как теоретику неведомы эти мучения, а я переношу их все тяжелее и тяжелее».

К январю 1943 года все десять тысяч коек в госпиталях МЭП-49 были заняты ранеными, а фронт посылал все новые и новые эшелоны. Красноярск на мобилизационной карте значился самым дальним городом, куда доходила волна медицинской эвакуации. И эта даль давала себя чувствовать и раненым и врачам. К тому времени, когда, преодолев семь тысяч километров, санитарные поезда довозили свой живой груз до берегов Енисея, многие раны успевали нагноиться, костные ранения оборачивались запущенными остеомиелитами. «В шко-

ле номер десять сосредоточены наиболее тяжелые ранбольные с осложненными переломами, с поражениями суставов и периферической нервной системы»,— гласит официальный документ тех лет.

Операции, операции... А едва заканчивается операционный день, для Войно-Ясенецкого начинается день консультаций. Выхватываю из кучи архивных бумаг наудачу только один листок: список консультаций, данных хирургом за три недели 1942 года. Профессор побывал в эти дни в семи госпиталях, осмотрел более восьмидесяти человек. Часто осмотр завершается его пометкой в документе: «Раненого такого-то перевести в школу № 10». Это значит, что разрушение, нанесенное оружием и последующей инфекцией так велико, что только рука мастера может спасти жизнь и здоровье бойца.

В своем стремлении помочь там, где, кажется, уже и помочь невозможно, Войно додумался до того, что принялся «отнимать» у соседних госпиталей больных и раненых с наиболее тяжелыми поражениями. Красноярский врач-рентгенолог В. А. Клюге вспоминает, как хирург-консультант посылал его и других молодых людей госпиталя 1515 на железнодорожный дебаркадер, где разгружали санитарные поезда. Он просил разыскивать раненых с гнойными, осложненными поражениями тазобедренного сустава, тех, кого большинство хирургов считало обреченными. Нечего и говорить, что медики соседних госпиталей были рады, когда посланцы Луки увозили к себе в десятую школу всех этих «безнадежных». Отчеты госпиталя 1515, однако, свидетельствуют, что многие раненые и из этой категории были возвращены к жизни, а кое-кто смог вернуться в строй.

Так он и шел, первый год войны с его угнетающими сводками, страхом за тех, кто на фронте, с убожеством быта, бесконечным изматывающим трудом. Лука не искал для себя облегчения. Думаю, что за недосугом и усталостью он и на постоянную начальственную подозрительность махнул в конце концов рукой. Как говорится: «На каждый роток не накинешь платок». Две беды, однако, переносил мучительно. В Красноярске, в городе с многотысячным населением, не было церкви. То есть церквей было много, но их двадцать пять лет закрывали, взрывали, занимали под склады, а перед войной закрыли последнюю. «Радости богослужения» (слова Владыки Луки) были лишены в городе сотни, а может быть, и тысячи людей, но, вероятно, немногие воспринимали это духовное утеснение так остро, как хирург-консультант МЭП-49. В деревне было все-таки вольготнее: имея свободное время, Лука мог разговаривать с Богом в ближней березовой роще, приладив на пенек икону-складень. В городе и эта последняя возможность отпала: погрузиться в милую его сердцу молитвенную атмосферу было негде и некогда. Рассказывают, правда, что красноярские почитательницы нанесли Луке икон, так что одна стена дворницкой «блестела от окладов и лампадного света».

Но мечталось ему о другом. Время от времени вставал перед глазами громадный храм-корабль, плывущий в кадильном дымке среди отражения бесчисленных свечей. И в том храме — толпа единочувствующих, страстно и единогласно возносящих свою молитву. Образ этот возникал снова и снова, волновал, манил. Но некому было рассказать о нем, ибо ни детям его взрослым, ни окружающим его в операционной медикам образ этот ничего не говорил, а казался ненужным и даже смешным. Лука привык к пустому пространству, отделяющему его от большинства людей, и молчал. Хотел забыться в работе, в операционной. Но и там не находил покоя.

Дела госпитальные шли неладно. Наскоро, кое-как и кое из кого собранный штат госпиталя 1515 испытания войной не выдерживал. Это признавали даже власти. «Госпиталь 1515... в большом прорыве,— докладывали в крайком партийные деятели.— Тяжелое хозяйственное положение этого госпиталя, неудовлетворительное санитарное состояние, невысокое качество лечебной работы в отделениях, несмотря на большие возможности квалифицированного специалиста проф. Войно-Ясенецкого, низкая труддисциплина ставят его в ряд плохих госпиталей...»

Лука не знает об этой секретной переписке «в верхах», но в письме

к старшему сыну жалуется, что работать приходится в невыносимых условиях: штат неумел и груб, врачи не знают основ хирургии. К его протестам целый год никто не прислушивается, хотя речь идет буквально о преступлениях. Ведь нечистоплотные, неумелые и равнодушные медики ставят под угрозу жизнь и здоровье защитников родины — раненых бойцов. «Я дошел до очень большой раздражительности и на днях перенес столь тяжкий приступ гнева, что пришлось принять дозу брома, впрыснуть камфору, возникла судорожная одышка... — пишет он,— в таких условиях еще никогда не работал». Хирургу с почти сорокалетним опытом действительно не приходилось сталкиваться с подобным всеобщим беспорядком ни в госпиталях времен русско-японской, ни во время Первой мировой войны. Как ни бездарна была царская медико-санитарная администрация, но такого количества людей не на своем месте она все-таки не знала. Лука нервничал, случалось, даже выгонял нерадивых помощников из операционной. На него жаловались. Возникали разбирательства, многочисленные «проверочные» комиссии, «докладные записки», «рапорты». Такая нервотрепка в шестьдесят пять лет не проходит даром. Пошатнулось здоровье. Возникла непроходящая сердечная слабость. Из-за нее (несмотря на скудный рацион) тело его отекает, становится тучным, рыхлым. Во время операции хирургу все чаще приходится опускаться на стул — не держат ноги. Лука бодрится, подшучивает над собой, но шутки помогают худо. Взбираясь по госпитальным лестницам, он тяжело сопит — дает себя знать эмфизема. Те, кто встречал Войно в первую военную зиму в Красноярске, вспоминают грузную фигуру в глухо застегнутом черном френче, усталые глаза, опущенные плечи. В письмах к родным, всегда таких оптимистических, начинают проскальзывать грустные нотки. То кажется ему, что жизнь подошла к концу, то возникает непреодолимая тоска по детям, с которыми не виделся он более пяти лет. «Как я уже стар!» — восклицает Войно, отметив очередную годовщину своего священства.

Но постепенно, ближе к позднему восточносибирскому лету что-то в жизни хирурга начинает меняться. Будто теплым ветерком повеяло политическим. Хотя казалось бы — с какой стати? Однажды (не чудо ли?) — в каморку дворника заглянула сама Екатерина Астафьева. Отведя глаза от полыхавших золотом икон, начальница поинтересовалась, как профессор живет, чем питается. Сообщила, что руководителям госпиталя приказано отныне выдавать хирургу-консультанту обед, завтрак и ужин с общей кухни. Вслед за начальницей пришла ее заместительница; осведомилась, имеется ли у профессора достаточно одежды, белья, обуви. В эпоху, когда ботинки и штаны советский человек мог получить лишь по специальному разрешению, ордеру (на рынке пара обуви стоила от 1500 рублей и дороже!), такой вопрос высокого начальства мог прозвучать для иных ушей малиновым звоном. Лука к чуду-визиту отнесся без энтузиазма. Его гардероб находился в плачевном состоянии, но он сказал только, что неплохо было бы приобрести шнурки для ботинок, старые совсем изорвались. Шнурки были изысканы и доставлены немедленно.

Визит высоких лиц не был простым актом «доброй воли». Приказ «проявить заботу» руководительница крайздрава получила из крайкома партии. Почему вдруг там заинтересовались ссыльным хирургом? Потому только, что он хорошо оперировал? Но профессор Войно-Ясенецкий был отличным хирургом и в сентябре 1941-го, и в январе, и в марте 1942-го... Почему же внимание высоких лиц обратилось на него именно с мая? Для Луки, как и для всякого верующего, конструкция мира целесообразна. В целесообразном мире не все и не всегда доступно человеческому пониманию, подобно тому, как не все происходящее на сцене театра понятно впервые приведенному на спектакль пятилетнему ребенку. Но нужно терпеливо смотреть и ждать. В свой черед обнаружит свой смысл и ружье, повешенное на стене, и темные намеки героя в начале спектакля, и далекая музыка. Ибо в театре нашей жизни ничего не происходит просто так.

Не задаваясь излишними вопросами, профессор продолжал обычную жизнь:

оперирует, консультирует больных, придумывает оригинальные операции. А год 1942-й приносит ему между тем все новые и новые дары.

5 июля 1942 года. Красноярск. «Вчера получил четыре букета цветов от больных командиров... Командиры вызвали директора обувной фабрики и заказали мне сделать ботинки по мерке и достать резиновые сапоги для операций. Заказали также две смены белья, два полотенца, носовые платки. С первого июля живу в новой квартире... В августе поеду в Иркутск, на межобластное совещаиие главных хирургов...»

29 августа 1942 года. «...В Иркутске мне устроили настоящий триумф с аплодисментами, не принятыми на съездах. В заключительной речи председатель чрезвычайно превознес мой доклад, книгу и операции... По возвращении из Иркутска меня ждал еще сюрприз: без меня приезжал глава Тувинского правительства со свитой. Было большое заседание в нашем госпитале, который тувинцы взяли под свое шефство, и были все красноярские власти... Превозносили мою работу, и тувинцы подарили мне часы... Мнение о мне в правящих кругах самое лучшее и доверие полное. Слава Богу!»

18 октября 1942 года. «...Прогрессирует моя творческая работа. Совсем по-новому я стал теперь делать резекции коленного сустава, и моя новая техника будет немалым вкладом в хирургию. Моя операция распила пятки при остеомиелите и фронтальный распил огромной костной мозоли нижнего конца бедра приводит в восторг хирургов, испытавших (так! — М. П.) эти операции. Мои лекции врачами чрезвычайно высоко ценятся. Их усердно слушают доценты и профессора... Почет мне большой: когда вхожу в большие собрания служащих или командиров, все встают».

8 ноября 1942 года. «Праздник 25-летия советской власти прошел для меня необыкновенно: четыре дня подряд меня приглашали на торжественные заседания и ужины на трех этажах госпиталя. Их устраивали шефы. Ярко выразилась любовь ко мне больных. Шефы из крайкома подарили мне пять хороших книг, только что изданных, а жена первого секретаря крайкома принесла мне на квартиру прекрасный торт. Заказали для меня валенки, достали записных книжек. На объединенном заседании МЭП, командования и отличников нашего госпиталя мне опять пришлось заседать в президиуме с коммунистами. Словом, нельзя и ожидать лучшего ко мне отношения».

5 декабря 1942 года. «Приобретаю большой опыт (восемьдесят поздних резекций колена, например), изобретаю новые операции. Очень заботятся об улучшении условий моей работы, и уже почти не приходится раздражаться. Привезли из Москвы рукопись моей книги. Профессор Приоров прочитал ее и написал отличный отзыв...»

12 декабря 1942 года. «Профессор Приоров в своем отзыве назвал мою книгу одной из самых замечательных в области гнойной хирургии».

21 декабря 1942 года. «...Мое здоровье неважно: 18.12 я выписался из больницы крайкома, по-видимому, поправившись. Но уже на другой день опять слег в постель вследствие большой слабости сердца... Больные и сотрудники заботятся обо мне. Начальник госпиталя доцент-терапевт говорил, что по выздоровлении я не должен работать больше 4-х часов в сутки...»

14 февраля 1943 года. «Печатанье книги еще не началось, но самым категорическим образом утверждают, что издадут тиражом в пять тысяч, а может быть, и десять тысяч... Отношение ко мне здесь самое лучшее, популярность такая же, как в Ташкенте. Шефы из крайкома узнали, что у меня обветшали рубахи и принялись шить для меня две рубахи, чуть ли не шелковые. Еще одна новая сшита и кальсоны из подаренной материи, так что белья будет достаточно».

Не хватит ли? Перечитывая эти строки, не знаешь, чему больше удивляться: внезапному ли фонтану благодеяний или восторженности, с которой хирург их принимает. Все делает его счастливым: новые кальсоны и отзыв профессора Приорова, букет цветов от раненых и доклад на съезде хирургов, носовые платки и доверие начальства. Полноте, не возраст ли начал сказываться? Нет, профессор Войно-Ясенецкий по-прежнему в твердом уме и ясной памяти. Что же

касается восторженности, то это у него вполне искренное, это от полноты чувств. Что поделаешь: у нас на Руси внимание и расположение высоких лиц, как правило, вызывает у нечиновных и особенно чинами обойденных своеобразный недуг — взрыв верноподданнической радости. Не избежал этой легкой формы помешательства и наш герой. А началось все это вот с чего. В один из тех дней, когда сибирское зимнее солнце принялось вычерчивать все более высокие дуги над енисейским горизонтом, профессора Войно-Ясенецкого пригласили в краевой комитет партии. В этом красноярском Кремле, средоточии всей власти на территории, простирающейся от монгольской границы до берегов Ледовитого океана, разговаривал с ним сам товарищ Голубев. Из той беседы нам известна лишь одна деталь: первый секретарь Красноярского крайкома обещал снестись по телефону с первым секретарем Узбекистана Юсуповым, чтобы договориться о пересылке из Ташкента в Красноярск библиотеки профессора Войно-Ясенецкого. Но радость, которой после этой встречи буквально зафонтанировали письма Луки, показывает, что разговор в «большом доме» касался фактов более важных. Скорее всего хозяин Красноярского края с ведома еще более высоких инстанций приоткрыл перед епископом Лукой то, что было пока государственным секретом. В отношениях между советской властью и православной Церковью предстоят большие перемены. Возможно, Голубев намекнул профессору также, что в недалеком будущем поверх хирургического халата тому предстоит надеть рясу епископа Красноярского. Повторяю, у меня нет достоверных сведений о переговорах в крайкоме. Но, зная характер моего героя, я берусь утверждать, что никакая другая официальная информация не доставила бы ему столько радостей. Голубев, очевидно, связал собеседника обещанием до поры до времени сохранять разговор в секрете. И епископ Лука с гордостью почти целый год затем хранил государеву тайну, которая в том лишь и состояла, что Сталин — губитель Русской Православной Церкви — становится отныне ее первым другом и благодетелем.

К началу 1943 года, однако, альянс государства с церковью стал настолько ясным, что и скрывать стало нечего.

4 января 1943 года Лука, намекая старшему сыну на предстоящие перемены, писал: «Давно обещали открыть у нас одну церковь, но все еще тянут, и опять останусь без богослужения в великий праздник Рождества Христова». А еще через два месяца, очевидно, опять-таки после свидания в крайкоме, получил он право окончательно открыть таимую правду: «Господь послал мне несказанную радость,— писал он сыну 5 марта 1943 года.— После шестнадцати лет мучительной тоски по церкви и молчания отверз Господь снова уста мои. Открылась маленькая церковь в Николаевке, предместье Красноярска, а я назначен Архиепископом Красноярским... Конечно, я буду продолжать работу в госпитале, к этому нет никаких препятствий». И уже полным голосом человека, освобожденного от необходимости молчать о самом главном в своей жизни, Лука продолжает: «Я думаю, что резко изменилось отношение правительства к церкви: всюду открываются и ремонтируются за счет горсовета храмы, назначаются епископы, митрополит Николай Киевский назначен членом комиссии по немецким зверствам, издана тиражом в пятьдесят тысяч экземпляров и притом роскошно книга «Правда о религии в России»».

Наконец-то он может сказать близким о самых заветных переживаниях своих: «Помни, Миша, что мое монашество с его обетами, мой сан, мое служение Богу для меня величайшая святыня и первейший долг. Я подлинно и глубоко отрекся от мира и от врачебной славы, которая, конечно, могла бы быть очень велика, что теперь для меня ничего не стоит. А в служении Богу вся моя радость, вся моя жизнь, ибо глубока моя вера. Однако и врачебной и научной работы я не намерен оставлять». Все прошлые письма к родным помечал он инициалами А. Л. А это, посланное 22 марта 1943 года, впервые размашисто и с явным удовольствием подписал: Архиепископ Лука.

Открытие церкви освободило Луку от многолетней душевной стесненности. Правда, кладбищенская церковь в Николаевке до крайности мала да и от города далека, полтора часа ходу. Но это храм! И Владыка с нежностью распи-

сывает сыну первое богослужение, «о котором мало кто знал, но все-таки пришло человек двести. В алтарь так же трудно было пройти, как на Пасху. Многие стояли на дворе». Открытие церкви исцелило не только его душу, но и тело. «Первое богослужение... сразу же очень улучшило мое нервное состояние, а неврастения была столь тяжелая, что невропатологи назначили мне полный отдых на две недели. Я его не начал и уверен, что обойдусь без него»,— писал он 5 марта. Еще через месяц подтвердил: «Невроз мой со времени открытия церкви прошел совсем, и работоспособность восстановилась».

Потом возникли новые проблемы: в николаевской церкви, по малости ее, архиерейское служение оказалось невозможным. Открыть второй храм власти обещали только через год. Не было пока и церковных облачений. Как и двадцать лет назад, в Ташкенте, Владыка вышел на амвон в чужой рясе и клобуке. «В театре много архиерейских облачений, но нам не дают их, считая, что важнее одевать их актерам и кромсать, перешивая для комедийных действий».

В конце концов облачение нашлось и вторую церковь в Красноярске открыли. Трудней всего было наладить мир в своем собственном доме. Ни дочь, ни сыновья не порадовались новому церковному назначению отца. То, что Лука считал своим торжеством, их пугало. Особенно старшего. Тридцатишестилетний Михаил недавно защитил диссертацию. Всеми силами стремился он забыть, отсечь от себя годы унижений, когда его, сына «врага народа», обсуждали на собраниях, выгоняли из института. Степень кандидата наук подавала надежды на то, что прошлое больше не вернется. И вот — на тебе — отец опять подался в архиереи, снова в письмах рассказы о пастве, о проповедях и литургиях. В Красноярске торжество, а в Сталинабаде того и гляди полетят в тартарары и диссертация, и кафедра, а может быть, и многое другое. Михаил написал о своих опасениях. Все лето и осень 1943 года два Войно-Ясенецких с жаром обсуждали создавшуюся обстановку. Примечательно, что вопреки традиционной схеме смелый отец в этом случае успокаивал своего же не в меру запуганного отпрыска.

«Твои страхи обо мне почти полностью неосновательны. Мое архиерейское служение не считают несовместимым с работой в госпитале и вполне с ним мирятся,— писал Лука.— В госпитале ничуть не пахнет от меня архиерейским духом, а в церкви я только архиерей и лечить верующих не имею никакой возможности. Проповеди мои строго обдуманные и вполне безупречны, нередко даже имеют просоветский характер... Последние мои тюремные страдания глубоко изменили меня. Стал я удивительно терпимым, кротким, тихим, совсем сгладилась моя былая резкость... Я писал тебе, что дан властный приказ не преследовать меня за религиозные убеждения. Не могу писать более подробно, но важность факта ты оценишь и без комментариев».

Заверения о терпимости и кротости звучали бы очень убедительно, если бы в конце того же письма Лука не добавил: «...Даже если бы не изменилось столь существенно положение церкви, если бы не защищала меня моя высокая научная ценность, я не поколебался бы снова вступить на путь активного служения церкви. Ибо вы, мои дети, не нуждаетесь в моей помощи, а к тюрьме и ссылкам я привык и не боюсь их». Надо ли говорить, что такие признания не очень-то успокаивали Михаила Войно-Ясенецкого. Он продолжает пугаться сам и пугать родителя. Особенно опасными представляются ему церковные проповеди Луки. И снова отец вынужден сесть за письмо, чтобы успокоить сына. «Твои страхи по поводу моих проповедей преувеличены. Я пользуюсь репутацией большого патриота и сторонника советской власти. А проповедь — главный долг Епископа».

Михаил не унимается. Ему уже видится новый арест отца и те последствия, которые неизбежно обрушатся затем на семью. Он не желает больше вести бесконечную игру, отравившую его детство и юность. Он пишет, что не верит в Бога, а церковное служение отца считает вредным и даже опасным. Не очень-то удобно мне, постороннему человеку, становиться судьей между сыном и отцом. Но если даже отбросить вопросы элементарного такта, Михаил Валентинович удивляет своей абсолютной политической непрозорливостью. Медик из Сталинабада совершенно не представляет себе подлинного положения вещей в стране. В 1943 году Владыке Луке не только не угрожает опасность, но скорее наоборот: в нем нуждаются более всего как в епископе. Люди такого рода оказались необходимы сталинскому режиму. С ними заигрывают. От них многого ждут. Лука давно постиг политический характер новых перемен. Церковь стала вдруг необходима властям? Ну и слава Богу! Не все ли равно, кто и почему открывает храм? Главное, чтобы они открывались, а не закрывались. Некая даже гордость видится в его письме, когда сообщает он Михаилу: «В Красноярске, в «кругах» говорили обо мне: «Пусть служит, это политически необходимо». Весной и летом 1943 года Михаил Войно-Ясенецкий ничего этого понять не способен. Его «я не верю» — просто жестокость. Жестокость по отношению к отцу — мученику веры. Не разум, не забота о близком человеке, но страх перед репрессиями подсказывает такие слова.

Луку письмо сына сразило. Владыка знал, что дети его атеисты, но особенно больно было убедиться в этом теперь, в пору всеобщего почитания, которым окружили его власти и коллеги. И все же он нашел в себе силы сдержаться. Ответил с достоинством, хотя и не без горечи: «До сих пор я молился усердно об исцелении Вали, а теперь и о тебе. Но поперек молитвы стоят три твои страшных слова. Всем сердцем прошу тебя: читай Евангелие и молись Богу... О, если бы ты знал, как туп и ограничен атеизм, как живо и реально общение с Богом любящих Его...» [31]

Кажется, это был их последний разговор о вере. До самой смерти своей хранил отец ие обиду, но боль о том, что он, пастырь множества душ, так и не сыскал пути к заблудшим душам собственных детей. Не помог им, не спас.

...Итак, все повторилось. Через двадцать два года профессор Войно-Ясенецкий, перед тем за свою веру трижды арестованный и сосланный, снова свободно произносит проповеди в церкви и лекции в госпитале. На дверях его квартиры появилась табличка, извещающая публику, что по церковным делам профессор принимает во вторник и пятницу с 6 до 8 вечера. В то время как современники, кто с изумлением, кто с ухмылкой, взирали на это «чудо», сам Лука совершенно невозмутим. В новом, а по существу возвращенном ему старом положении он никакого чуда или противоречия не усматривает. Механизм «целесообразной истории» продолжает молоть зерно. В свой черед каждый по заслугам своим побывает и под жерновом, и на жернове. В день, когда исполнилось двадцать лет его рукоположению в епископы (31 мая 1943 года), Войно напомнил своему сыну давнюю поездку из Ташкента в Пенджикент: «Это было начало того тернистого пути, который мне надлежало пройти... Но зато был и путь славы у Бога. Верю, что кончились страдания...» Итак, прежде надлежало пострадать, а теперь предстоит принять честь и славу. Все в свой черед. При таком взгляде на мировой порядок удивлению, действительно, нет места.

В том же письме Лука с явным удовольствием перечисляет награды и поощрения, полученные за последний месяц. И тут у него в одном ряду идут похвалы за произнесенные в церкви проповеди, благодарность и грамота от Военного совета и приказ Командующего войсками, в котором профессор упомянут среди лучших врачей округа. Этот список мог показаться самохвальством, если бы не искренняя вера Владыки в то, что приказ Командующего войсками, равно как и грамота Военного совета, есть прямой знак божественного благоволения. «Прославляющего Мя прославлю»,— сказал Спаситель. Двадцать лет, не избегая опасности, отвергая страх, прославлял Лука Бога Распятого. И вот Бог посылает ему Свое благоволение. Зачем же молчать об этом?

В Новосибирске на конференции хирургов военных госпиталей Сибирского военного округа (24—29 марта 1943 года) Лука вновь обласкан. На этот раз своими коллегами. Доклад на очень важную для хирургов тему о лечении огнестрельного остеомиелита принят слушателями восторженно. Под свежими впечатлениями от аплодисментов и рукопожатий Лука пишет сыну: «Слушали с «наслаждением», с глубоким вниманием, требовали продолжения... Называли доклад не только глубоким, но даже мудрым... Со всех сторон подходили представлять-

ся». Действительно подходили, а на другой день во время показательной операции в госпитале, где Лука демонстрировал свой классический распил пятки при остеомиелите, солидные хирурги, начальники отделений, лезли на стулья, чтобы разглядеть ювелирную технику этого чудотворца Войно-Ясенецкого. Да и на живого епископа хотелось им взглянуть поближе: такое не всякий день увидишь.

А у профессора в Новосибирске один день полнее другого. «Я получил здесь архиерейское облачение и все принадлежности служителя, которых не имел в Красноярске, и притом при содействии матерого большевика, одного из заправил съезда». С облачением получилась целая история. Из-за него Лука переполошил своих товарищей, так как едва не опоздал на поезд.

Облачение архиерейское, как известно, шьется из парчи. Но какая парча во время войны, да еще в Сибири, когда и ситчик стал великой роскошью? В Новосибирске, однако, зайдя попрощаться в кабинет облздрава, Лука увидел на полке кусок вожделенной ткани. Как она туда попала и для чего служила — Бог весть. Известно только, что, увидав материю, Войно страшно заволновался, забыл об отъезде, об ожидавших его на вокзале и начал просить продать ему отрез. Предлагал любую цену, пусть даже это будет стоить две месячных зарплаты. Присутствовавшая при этом доктор Браницкая вспоминает, что, получив парчу, Лука, как ребенок игрушку, прижал материю к груди и расцвел счастливой улыбкой. Такой улыбки она ни разу у него за два года знакомства не видала.

Удачи, сплошные удачи! Поразительное, наверное, это ощущение — чувствовать себя избранником Всевышнего. Какая сила в тебя вливается, какая уверенность в каждом поступке! Читаю письма Владыки и любуюсь им. Страна воюет. Миллионы идут в бой с воплем: «За Сталина!» Другие миллионы умирают от голода и непосильного труда в шахтах Воркуты и Магадана, и опять же с проклятым именем его на устах. У одних тиран вызывает страх, у других — восторг, у третьих — ненависть. А Архиепископ Лука, как будто и нет ему до этого никакого дела, пишет сыну: «Второго мая я послал Сталину письмо о своей книге с приложением отзыва о ней Приорова и предисловия Мануйлова. В этом предисловии профессор Мануйлов положительно до небес вознес мою книгу и ярко подчеркнул ее значение для хирургии войны. Нет сомнения, что Сталин велит издать книгу». «Нет сомнения» — не великолепно ли?!

И действительно, через полтора месяца (по военным временам срок весьма короткий) пришло письмо из Москвы: дирекция Медгиза просила глубокоуважаемого профессора поскорее прислать рукопись «Очерков гнойной хирургии». И монографию о суставах тоже. Обе книги будут изданы безотлагательно. А на пороге нового, 1944 года уже сам министр здравоохранения РСФСР Третьяков специальной телеграммой извещает красноярского профессора: «...Ваша книга включена Медгизом в план первого квартала (1944 года), устанавливаем контроль за ее передвижением. Рукопись будет направлена в Комитет по Сталинским премиям». Как же после всех этих событий усомниться в том, что ты — подлинный избранник Бога?

...Биограф всегда настороже: честны ли его собеседники — свидетели исторических событий? Не путают ли? Подлинные ли факты, сообщаемые в письмах и документах? Жизнеописание — постоянный риск, плаванье среди рифов и мелей несовершенной и недобросовестной человеческой памяти. Но и тогда, когда свидетели искренни, а в архивных бумагах не ожидаешь подвоха, автор жизнеописания все-таки не чувствует себя спокойным. Одно время меня особенно угнетал феномен, который я для себя назвал «разновидением»: наблюдая одно и то же явление — лицо или предмет, два человека сохраняют о нем совершенно различные воспоминания. То и дело приходится рассматривать два противоречивых видения одного эпизода, но случается, что их оказывается перед тобой и пять и шесть. Вот типичный пример.

В 1943 году хирург С. Голуб на совещании военных медиков в Новосибирске слышал доклад Войно-Ясенецкого. Впоследствии он описал докладчика в следующих выражениях: «Его внешность не могла не приковать к себе внимания: одухотворенное лицо, скромная одежда, спокойные жесты — все это ассоциировалось с представлением о народных демократах...» Доклад состоялся 25 марта, а на сутки раньше молодой офицер медицинской службы, сотрудник Санотдела Сибирского округа П. Приходько получил от своего начальника приказ встретить Войно-Ясенецкого на вокзале и доставить в гостиницу. Через два десятка лет в памяти профессора Петра Трофимовича Приходько отпечаталась следующая картина:

«В назначенное время я встретил гостя на вокзале. Это был очень высокий (ок. 180 см) пожилой человек, сурового и надменного вида, с седыми волосами и окладистой полуседой бородой. В черном длиннополом пальто, застегнутом на все пуговицы, он выглядел усталым и как бы отрешенным от мира. Через стекла очков на меня глянули холодным блеском прищуренные глаза. Не ответив на мое приветствие, он пошел со мной к выходу из вокзала, где нас ожидала легковая машина. И весь путь до госпиталя номер 1503 в центре г. Новосибирска, где ему была отведена комната на период работы конференции, он не сказал ни слова».

Согласимся, что человек, которого видел военврач Приходько, мало походит на «народного демократа», увиденного доктором Голубом. А между тем нет оснований не верить ни тому, ни другому свидетелю. Они записали свои воспоминания бескорыстно, по доброй воле, желая сохранить для потомства факты, показавшиеся им исторически важными. Как же совместить несовместимое?

Когда писатели-биографы обсуждают проблемы своего жанра, то нередко приходится слышать жалобы на «текучесть» человеческой личности, «текучесть», которая мешает составить устойчивую концепцию героя. Иными словами, литераторов огорчает, раздражает даже, что герои не адекватны сами себе, т. е. не всегда соответствуют тому образу, в котором их знает большинство современников. Это так и не так. С одной стороны, общеизвестно, что даже крупные личности на каждом шагу противоречат себе, отклоняются от принципов, которые декларируют, отвергают идеалы, к которым вроде бы стремятся. Но изменяют ли они при этом самим себе? Означает ли «текучесть» выход личности за какие-то характеристические пределы? Не будет ли естественнее предположить, что личность значительно более разнообразна и многосоставна, чем мы привыкли это себе представлять? Мы знаем Луку сурового и надменного, но ведь вместе с тем (это мы тоже знаем) он прост, нетребователен, скромен и великодушен. Нам ведом профессор, не склонный в обществе учеников проронить лишнее слово, но есть и Владыка Лука, готовый проповедовать даже с опасностью для своей свободы и жизни. Надо ли удивляться, если в памяти окружающих возникают столь несхожие между собой отпечатки его образа?

Большинство людей, которых я просил рассказать о жизни Войно-Ясенецкого в Красноярске, все-таки высказывались о нем как о человеке «жесткой конструкции». Вспоминают какую-то верующую старуху, которой он без обиняков сказал, что болезнь ее неизлечима; говорили о военном враче, которому опять-таки, глядя прямо в глаза, Лука предрек, что хирурга из него не выйдет и учиться не стоит. И еще много другого в том же роде. Думаю, что так оно и было — и со старухой, и с малоспособным врачом. Но, коль скоро разговор зашел о «текучести» человеческих характеров, хочу я опубликовать одно письмо, которое прислала мне врач-окулист из города Николаева Галина Ивановна Шамина. Оказывается, в ту пору, когда ссыльный врач Войно-Ясенецкий поголадывал и ходил в обносках, и потом, когда принимал многочисленные подношения властей, писал письмо Сталину и получал телеграммы от наркома здравоохранения, была у него еще одна совсем иная и мало кому ведомая жизнь. О жизни этой и пишет доктор Шамина.

В 1939 году ее родители жили в Красноярске. Гале было тогда четырнадцать лет. Случилось, что товарищ Галиного детства Вася Боруткин натер в походе пятку, в ранку попала инфекция, возникла гангрена. Омертвление поднималось по ноге все выше и выше. Не помогало никакое лечение. Мальчик был так истощен, что у хирургов не оставалось надежды на успешную операцию. И тогда родители Васи бросились в местное управление НКВД и там добились разрешения привезти из деревни Большая Мурта профессора Войно-Ясенецкого.

Лука приехал. В ожидании, когда больного приготовят к операции, остановился в маленьком домике Боруткиных. Тут Галя его впервые и увидела.

«Постучав в дверь комнаты, я услышала приятный бархатный голос: «Войдите», а войдя, увидела очень большого, высокого и полного старца с большой седой бородой. На нем были черные брюки, черный свободный сюртук, глухо застегнутый, на голове черная же матерчатая шапочка. Я в первый момент растерялась, но стоило ему ласково на меня посмотреть и пригласить войти в комнату, как растерянность моя исчезла и я почувствовала, как будто этого человека я знаю давным-давно. Я стала со слезами просить его спасти Васю. Он погладил меня по голове и сказал своим низким голосом: «Ты добрая девочка, мы будем друзьями. Я все сделаю, чтобы спасти Васю, но только ногу его я уже спасти не могу — поздно! Смириться же с утратой ноги поможешь ему ты». Через час Валентин Феликсович начал операцию. Вася остался жить, а с Валентином Феликсовичем мы действительно стали друзьями. Когда он уехал к себе в деревню, мы долго переписывались».

Затем Галина Ивановна рассказывает о начале войны. Ее мать-врача призвали на военную службу и отправили на Дальний Восток, отца в 1942 году тоже мобилизовали, и он ушел на фронт.

«Я — шестнадцатилетняя девочка — осталась вдвоем со старенькой больной бабушкой. Очень трудно было нам. Отец мой был солдатом и ничем помочь не мог, мама присылала по аттестату шестьсот рублей, но что стоили эти деньги, если килограмм масла стоил тысячу двести — тысячу пятьсот рублей. Но вот в Красноярск перевели Валентина Феликсовича. Он зашел к нам, посмотрел, как мы живем, и сказал, вернее, спросил меня: «У тебя нет дедушки, а ты хотела бы его иметь?» «Конечно»,— сказала я. «Ну вот, я и буду твоим названным дедушкой, ты меня теперь и называй дедушкой, а не по имени-отчеству. Приходи ко мне один раз в неделю, в пятницу, к пяти часам. Но помни — я очень занят, время мое рассчитано по минутам — старайся не опаздывать, твое время до шести часов». Я строго придерживалась отведенного мне регламента, не опаздывала и ни на минуту не задерживалась после шести. Я рассказывала ему об успехах в школе, о друзьях; он—о раненых, которых оперировал, о великом деле врача. Время пролетало незаметно, и я вновь с нетерпением ожидала встречи. Однажды я пригласила его в кино. Он улыбнулся своей доброй улыбкой (по виду своему солидному он производил впечатление сурового человека, а вот улыбка у него была добрая, располагающая) и сказал: «Нет, Галочка, мирские увеселения не для меня, ведь я монах».

В. Ф. при мне не молился и о религии со мной не говорил. Но я знаю, что он читал проповеди в церкви и имел большое духовное звание. Был он вегетарианец, питался с госпитальной кухни. Повара старались положить ему в кашу побольше масла, но он все масло сливал и, когда приходила я, отдавал его нам с бабушкой, а в следующий раз просил отнести Васе. Мне тоже хотелось ему сделать что-нибудь приятное, нужное, и об этом я ему сказала. Тогда он попросил меня пришить ему пуговицу к сюртуку и обметать обтрепавшиеся петли, предварительно показав мне, как это сделать. Добрым и честным человеком был дедушка Валентин Феликсович».

Свои немудреные воспоминания доктор Г. И. Шамина записала во время ночного дежурства в больнице незадолго до нового 1970 года. В конверт вложила она приписку, в которой настоятельно просила литератора «создать правдивый портрет Валентина Феликсовича». В ее памяти Войно остался человеком без изъяна. И таким же — в белых ризах — хотела она его видеть на страницах жизнеописания. Но текуч человек. И как раз стремление создать п р а в д и в ы й портрет заставляет нас, не утаивая ничего, рассказать о грехопадении Владыки Луки, о великом соблазне, от которого он не удержался, и хотя, как и все соблазны, соблазн этот был общим и поддались ему многие, но так уж устроено в мире, что грешим мы сообща, а к ответу призывают нас поодиночке.

Но сначала — о происхождении самого соблазна.

В 1935 году американец, церковный деятель А. П. Андерсон выпустил

в Англии книгу «Будущее русской церкви». Среди прочего автор привел рассказ американца, недавно вернувшегося из Советского Союза. Американцу-христианину пришлось проехать в машине не одну сотню миль, прежде чем он обнаружил действующий храм. На литургии присутствовала лишь маленькая горстка верующих. Пять кусочков черного хлеба, четыре зеленых яблока и одно яйцо — вот все приношения, с которыми прихожане пришли в этот день в храм. Американец спросил — что глава прихода станет делать, когда съест хлеб, яблоки и яйцо, и услышал ответ: «Пойду по домам и буду просить пропитания». Американец спросил также священника, что тот думает о будущем религии в России. Не колеблясь ни минуты, священник ответил: «У религии в России нет будущего».

Приведенные слова сельского батюшки совершенно точно передают взгляды большинства верующих и неверующих того времени. Война государства против Церкви, начатая в январе 1918 года, подходила к концу. Русская Православная Церковь, тысячу лет наставлявшая и объединявшая российский народ, лежала в руинах. Из сорока тысяч православных храмов (в одной только Москве перед революцией насчитывалось четыреста шестьдесят церквей) к 1941 году осталось около ста. Пять из них сохранилось в Ленинграде, по одному в Новосибирске и Ташкенте, два в Киеве. Ни одного храма не было в таких больших городах, как Ростов-на-Дону, Баку, Омск. Сравнительно большое число церквей уцелело лишь в Грузии, Армении и Средней Азии. Французская журналистка Ева Кюри, оказавшаяся в Москве в первую военную зиму, считает, что в столице действовало в то время 18—20 церквей. В действительности их оставалось меньше пятнадцати. Ева Кюри побывала затем в Куйбышеве. После богослужения в единственной куйбышевской церкви она записала: «Тут нет ни одного молодого лица. Похоже, что исчезло, потерялось целое поколение и остались только пожилые, чтобы молиться за отсутствующих, исчезнувших... Молодое поколение в России рассталось с христианством, чтобы обратиться в новую веру, в которой нет места вере».

Другие иностранцы, посетившие СССР в первом военном году, замечали, что в немногочисленных русских церквах совсем нет молодых священников. Местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий, давая в 1941 году интервью журналисту Уоллесу Кероллу (Сергий был единственным церковником, которому разрешали в те времена разговаривать с иностранцами), «объяснил» отсутствие молодых сил в Церкви тем, что юноши н е ж е л а ю т принимать священство. Это была правда, но правда, требовавшая уточнения. Стать в Советском Союзе в 30-е годы священником означало превратиться в зверя для охоты. Непосильными налогами, угрозами, арестами и расстрелами за два десятилетия ОГПУ — НКВД удалось разметать почти весь церковный причт России — десятки тысяч священников, сотни архиереев. Митрополит Мануил Куйбышевский свел в четыре толстых тома краткие биографии русских православных иерархов за 70 лет. Четырехтомник этот иначе как мартирологом не назовешь. Подавляющую часть биографии составитель вынужден завершить стандартной фразой: «С такого-то года епархией не управлял. Когда скончался и где похоронен — неизвестно». Неизвестна не только судьба многих тысяч епископов, священников, дьяконов, никому не ведома даже примерная цифра людей Церкви, уничтоженных с 1918-го по 1941 год.

Иногда аресты епископов и священников сопровождались широковещательными сообщениями об их подрывной деятельности, о кошмарных преступлениях, которые они готовили по указке гестапо или троцкистов. Но мало кому посчастливилось так, как Горьковскому митрополиту Феофану Тулякову и двум его епископам, про которых газеты писали, что они готовили убийство советских работников, поджог домов и взрыв Горьковского автомобильного завода. Большая часть клириков просто исчезала со сцены, исчезала без суда, следствия и обвинения.

Особенно тяжелые потери понесла церковь в конце 30-х годов. По словам А. Э. Краснова-Левитина, в Ленинградской области в 1935 году насчитывалось не менее 1500 лиц духовного звания, но уже через два года в церквах области

осталось лишь пятнадцать обновленческих и семнадцать православных священников и дьяконов. Даже много повидавшая советская пресса не пыталась утверждать в 1937 году, что все 1468 арестованных в Ленинграде и его окрестностях клириков — шпионы и диверсанты. Безо всяких приговоров («без статьи», как тогда говорили) эти священники были отправлены умирать в северные и восточные лагеря, а их приходы автоматически закрылись. Тихо, без лишнего шума...

Но одновременно с несмолкаемым грохотом и визгом крутились колеса государственной антирелигиозной машины. Подобно современным ЭВМ механизм этот оперировал только с цифрами крупными и сверхкрупными. Союз воинствующих безбожников планировал «безбожную пятилетку» с тем, чтобы в 1930 году состав Союза увеличился с полумиллиона членов до четырех миллионов, в 1931-м — до семи миллионов, в 1933-м — до семнадцати миллионов человек. Следующая пятилетка должна была превратить в активных безбожников уже двадцать два миллиона советских граждан. Такие же масштабы проектировались и в деятельности издательской. Глава антирелигиозного ведомства Емельян Ярославский утверждал, что за десять лет с 1922-го по 1932 год в стране было выпущено сорок миллионов экземпляров антирелигиозных книг и брошюр. Что же до литературы непериодической, то за три года, с 1927-го по 1930-й, ее выпустили в количестве сорок три миллиона шестьсот тысяч экземпляров, что составило, по подсчету дотошных антирелигиозников, восемьсот миллионов страниц печатного текста! Хотели больше, да бумаги не хватило...

О чем же они, эти миллионы страниц? Да все об одном и том же: религия всегда помогала привилегированным классам угнетать рабочих и крестьян, сотрудница королей и императоров, церковь участвовала в эксплуатации народа, в политике клерикалы, как правило реакционеры, враги социализма, в науке они ретрограды и не останавливались в былые времена перед тем, чтобы уничтожать своих противников-ученых. А потому — никакой жалости к попам-реакционерам, долой церковные праздники, долой церкви. Организовывайте «безбожные бригады» на заводах, засевайте «безбожные гектары» в колхозах, ибо «антирелигиозность имеет промышленное значение».

Так они и работали бок о бок: ОГПУ — НКВД и ведомство Емельяна Ярославского. Одно тихо, другое шумно. Одно под корень изводило профессию служителей церкви, второе оправдывало, обосновывало аресты и убийства «попов», натравливало народ на клир, запугивало тех, кто намеревался сохранить свои взгляды, свою веру. И уж совсем вроде удалось этому дуэту искоренить церковь, а с ней и остатки народной веры, когда грянула *настоящая* война. И все переменилось.

Прежде, однако, чем рассказывать о чуде воскрешения Русской Православной Церкви, вспомним, как вела она себя в роковые для нее 30-е годы.

Хотя слово «Церковь» пишем мы по традиции с большой буквы, полагая за ним цельный, одухотворенный единой идеей и целью организм, но в предвоенные годы *такой* церкви в Советской России не существовало. Жил в Москве Местоблюститель давно уже пустовавшего патриаршего престола митрополит Сергий, старый человек, имевший от царского правительства орден св. Александра Невского. Преуспевающий чиновник дореволюционного Св. Синода, он в новое время прославился своими верноподданническими выступлениями, лживыми интервью, которые давал иностранным корреспондентам о положении в русской церкви. Принадлежали митрополиту Сергию, в частности, достопамятные слова: «Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой — наши радости и успехи, а неудачи — наши неудачи. Всякий удар, направленный в Союз... сознается нами как удар, направленный на нас».

Сейчас, спустя тридцать — сорок лет после описываемых событий, находится достаточно людей, готовых оправдывать митрополита Сергия. Современные церковные историки рисуют его хитрым дипломатом, стремившимся спасти хоть что-нибудь там, где спасти уже нельзя было ничего. Снова вытаскивается знамя «икономии», под которым Сергий и его Синод сохранили якобы «церковные основы». Сохраняли ли? В разгар массовых арестов, когда в Соловки на верную смерть гнали эшелоны священников, Местоблюститель устраивает в Москве пышное торжество, на котором возлагает на себя новый сан «Блаженнейшего Митрополита Московского и Коломенского». В Кафедральном соборе столицы два десятка дрожащих от страха архиереев читают «Блаженнейшему» приветственные адреса, именуя его «бессмертным и мудрым кормчим». Кому понадобился этот фарс? Смертникам Соловецких лагерей? Верующим, лишенным храма? Двадцать епископов, сорок четыре священника и пятнадцать дьяконов и сам блаженнейший митрополит Сергий разыграли 19 апреля 1934 года пьесу, которая нужна была единственно только советским властям. Западная пресса подхватила подробности торжественного богослужения в Елоховском соборе, и через сутки европейскому обывателю втолковывали: «Ну вот, а вы говорите, что в СССР преследуют христиан. Почитайте...»

Так в 30-е годы выступила верхушка церкви. А под ней в толще России жили, служили и каждый день как-то решали свои профессиональные и житейские проблемы оставшиеся на свободе священники, дьяконы, дьячки, псаломщики. В обстановке притеснения и террора они не имели ни малейшей надежды на то, что защитит их местный епископ, а тем более Московский митрополит. Что было делать этим несчастным, десятилетия пребывавшим вне закона и справедливости? В моем распоряжении нет ни воспоминаний, ни архивных документов. Но даже читая антирелигиозную прессу 30-х годов, можно многое узнать о трагическом быте низового российского духовенства. Многие расстриглись. Были периоды, когда отказы от сана становились массовыми. Но большинство деревенских священников, обремененных семьей, не знающих, куда податься, оставались в своих приходах. Им надо было как-то жить, как-то спасаться в безумном половодье политической демагогии. И батюшки, каждый на свой лад, принялись доказывать Советской власти свою лояльность и преданность.

А. С. Пушкин в 1836 году в письме П. Чаадаеву шутя заметил, что русское духовенство «отстало» и «не принадлежит к хорошему обществу» *. Это плебейство (все подлинно достойное сгнило на соловецком погосте) и полезло в заявлениях и заверениях перепуганных насмерть батюшек. Один приходский священник заявлял в проповедях, что раскулачивание — «дело, получившее благословение Божье». Другой призывал паству посвятить Пасхальный праздник не молитвам, а подготовке к севу. Газета «Безбожник» сообщала о служителях, которые принялись изучать марксизм. Один из таких новоявленных «марксистов» из Центральной Черноземной области писал: «По существу в земной жизни христианство не противоречит ни коммунизму, ни советскому строю. Первые христианские общины были чисто коммунистическими — одна душа, одна собственность для всех». Другой философ в рясе, объявив себя последователем Маркса и Ленина, пошел еще дальше. «Церковь вместе с советским строем проходит все переходные стадии борьбы рабочего класса, и вместе они начнут коллективизацию всей страны на основе кооперации и индустриализации».

Так выходили (или пытались выйти) из создавшегося положения те, кто похитрее. А кто попроще и вовсе теряли голову. Некий священник в разгар коллективизации повесил на дверях храма объявление о том, что к исповеди и причастию будут допущены отныне только колхозники, единоличникам он отпускать грехи не станет. Появились священники — распространители государственных займов, собиратели налогов, оформители изб-читален. Некий священнослужитель организовал в церкви концерты духовной музыки, а на вырученные деньги покупал облигации госзайма. Нашелся и такой, который согласился в деревенском драмкружке исполнять роль в антирелигиозной пьесе. В поисках алиби, наконец, один деятель церкви выпустил своеобразные визитные карточки, на которых от руки начертал: «Советский народный красный священник, член комнезама, член-организатор Живой Церкви на Черниговщине Василий Владимирович Ярчуков». Комментируя эту визитку, журнал «Чудак» писал в 1929 году,

* А. С. Пушкин. Собр. соч., М., 1962, т. 10, стр. 309.

что, несмотря на все его заслуги, священнику Ярчукову не миновать лишенского списка, то есть лишения прав и преследования.

Что было делать малым сим, если их высший пастырь Блаженнейший Митрополит Сергий на вопрос иностранного корреспондента относительно его программы отвечал: «Моя программа — программа Святого Духа. Я действую по нужде каждого дня».

Живя по нужде каждого дня, Русская Православная Церковь дошла к 1941 году до своего, как казалось, полного крушения. Но так только казалось. Судьба тысячелетнего гиганта решалась на этот раз не в стенах Кафедрального собора в Елохове и не в последних, открытых ветрам каждодневности деревенских храмах. Решалась она, как это ни покажется странным, в катакомбах. Катакомбная, или подпольная, Церковь возникла у нас в конце 20-х годов. То один, то другой священник исчезали из своих приходов, поселялись в тайном месте и начинали опасную жизнь изгнанников. В скособоченных домишках на городских окраинах возникали тайные молельни. Там служили литургии, исповедовали, причащали, крестили, венчали и даже рукополагали новых священников. Тайком, передавая друг другу условный стук в дверь, стекались туда верующие из дальних городов и областей. Туда шли за утешением, беседой, за «радостью богослужения». Туда несли детей, вели стариков. Сколько таких очагов тайной веры существовало в стране, никто не знает. История катакомбной церкви не написана и едва ли когда-нибудь узнаем мы всю правду о мучениках-христианах XX века, сохранивших свои убеждения в обстановке тотальной слежки, всеобщего доносительства и террора. Кое-что, однако, до нас дошло. Известно, например, что только в одной Московской области на нелегальном положении находилось более десяти священников. Это скромное по численности, но непримиримое воинство вдохновлял епископ Афанасий (Сахаров). Епископ, сам большую часть жизни проведший в ссылках и лагерях, строго-настрого запретил своей пастве общение с конформистской церковью Сергия. С советскими властями — тоже.

Из тех, кто обрек себя на опасность подполья, наибольший наш интерес и симпатию вызывает архимандрит Серафим (Батюков). Сергей Михайлович Батюков (1880 г. рождения) имел техническое образование и работал на одном из московских заводов. Одновременно, еще до революции, слушал он лекции в Духовной академии, изучал богословскую литературу. Решение стать священником-монахом принял он, как и Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, в самое трудное для Церкви время. Монахом стал в 1922-м. Некоторое время служил в церкви Св. Мучеников Кира и Иоанна на Солянке. Аресты и иные преследования не изменили его взглядов. С линией митрополита Сергия он тоже не смирился. С небольшой, чудом сохранившейся фотографии смотрит на нас аскетичное, полное внутренней силы и достоинства лицо. Снимок сделан, очевидно, незадолго до 1928 года, когда архимандрит перешел на нелегальное положение. Из той же «солянской» церкви ушел впоследствии в подполье иеромонах Иеракс (в миру Иван Матвеевич Бочаров).

После недолгих скитаний о. Серафим поселился в Сергиевом посаде (ныне город Загорск) у двух сестер-монахинь. Москвичка В. Я. Василевская, научный сотрудник, специалист по педагогике, ставшая в тридцатые годы духовной дочерью о. Серафима, сохранила интересные воспоминания о встречах с ним. В пасхальную ночь близкие люди привезли ее в Загорск.

«Домик, где жил батюшка (о. Серафим), выглядел заброшенным и необитаемым. Внутри же он был полон людей, собравшихся встретить светлый праздник вместе с батюшкой, как прежде встречали его в храме. Батюшка был занят устройством алтаря и иконостаса. Маленькая комната должна была превратиться в храм, где совершается пасхальная заутреня... Я не знала никого из присутствующих, кроме хозяев дома... Батюшка позвал меня к себе в комнату: «Чувствуйте себя, как среди самых близких людей»,— сказал он... и я почувствовала вскоре, что все эти люди, приехавшие сюда в эту пасхальную ночь, действительно являются близкими мне людьми, с которыми связывают меня самые глубокие, еще не совсем понятные мне нити... Прежде чем начать богослужение, батюшка послал кого-то из присутствующих убедиться в том, что пение не слышно на улице. Началась пасхальная заутреня, и маленький домик превратился в светлый храм, в котором всех соединяло одно, ни с чем не сравнимое чувство — радость Воскресения! Крестный ход совершался внутри дома, в сенях и в коридоре».

«Здесь катакомбы,— в первый приезд сказал В. Я. Василевской о. Серафим.— Я здесь не потому, что желаю кому-нибудь делать зло или хочу с кем-то бороться. Я здесь только для того, чтобы сохранить чистоту православия». В. Я. Василевская несколько лет приезжала из Москвы в Загорск, чтобы повидаться, посоветоваться с о. Серафимом. «Помимо своих духовных занятий,— пишет она,— старческого руководства, пастырских богословских литературных трудов, батюшка в своем уединении принимал активное участие в жизни церкви, встречался со многими своими единомышленниками среди церковных деятелей, вел постоянную переписку. Он следил за текущими событиями, переживал все со всеми... Казалось почти несущественным, что каждый незнакомый стук в дверь, каждый случайно зашедший человек, будь то почтальон или кто-нибудь другой, могли нарушить покой маленького домика, так что хозяин его должен был скрыться. Подобные инициденты бывали довольно часто, но страха не было».

Приглядываясь к деятельности загорского затворника, его духовная дочь так поняла систему отношений своего наставника с внешним миром: «Он не был изгнан — но он ушел сам, он не выжидал, а творил, он трудился не только для той узкой группы людей, которые могли видеться с ним в этих условиях, но для Церкви, для будущего». Остается добавить, что после почти пятнадцатилетнего существования катакомбной Церкви секрет ее был раскрыт. Осенью 1943 года работники НКВД арестовали и выслали почти всю группу подмосковных священников. Отец Серафим этого уже не видел. Он умер в начале Великого поста 1942 года и был похоронен в подвале того же дома, в котором бесстрашно более десятка лет держал свою духовную оборону. Окончательно катакомбная эпопея завершилась три года спустя — в 1945-м, после смерти Патриарха Сергия. Епископ Афанасий признал законной власть вновь избранного Патриарха Алексия и прислал своим духовным детям из сибирской ссылки письменное разрешение воссоединиться с патриаршей православной Церковью.

Могут сказать, что катакомбная Церковь не сыграла сколько-нибудь значительной роли в истории русского православия; что пример десятков (и даже сотен) последователей ее не увлек верующей массы и, следовательно, прошел впустую. Так ли? Боюсь, что мы плохо представляем себе эффект каждого акта общественной порядочности. Лозунг ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ едва ли станет когда-нибудь массовым. Он способен захватить лишь избранных. О действительном влиянии «церковных катакомб» мне больше говорит тот факт, что один из детей, тайно крещенных в середине 30-х годов о. Серафимом, стал впоследствии выдающимся деятелем Церкви. Доныне он хранит в своем скромном приходе утерянные традиции доброты, благочестия и нетерпимости к компромиссам. И только ли он один?..

Но вернемся к событиям военного времени.

Объявление войны — роковой час для нации, когда наиболее явственно обнажается личность ее вождя. День, когда японцы напали на американскую военно-морскую базу в Пирл-Харбор (7 декабря 1941 года), президент США Рузвельт провел в напряженной работе: он писал Послание, в котором просил конгресс объявить Японии войну. Настроенный изоляционистски и несколько даже благодушно, конгресс мог и не согласиться с мнением президента. От Рузвельта требовался документ огромной эмоциональной силы и доказательности. И он его составил. Через сутки Соединенные Штаты вступили в войну. Военно-морской министр Великобритании сэр Уинстон Черчилль встретил объявление войны (1 сентября 1939 года) во всеоружии своего страстного и острокритического характера. В этот день он написал премьер-министру Невилю Чемберлену одно из своих наиболее едких писем с оценкой вновь назначенного военного кабинета: «Не слишком ли мы старая команда? — спрашивал Черчилль.— Я подсчитал,

что общий возраст всей шестерки... составляет 386 лет, или в среднем более 64 лет. Им недостает года, чтобы выйти на пенсию по старости» [32].

О том, как встретил известие о начале войны маршал Сталин, мы ничего почти не знаем. В эпоху разоблачения «культа личности» Майский и другие близкие к Кремлю историки сообщили, что в первые пять-шесть дней боев Сталина никто не видел. Он заперся у себя на даче, к нему не допускали. Говорят, он впал в состояние страха и прострации, так что понадобилась целая неделя, пока вождь народов смог вернуться к исполнению своих государственных обязанностей. Не станем гадать, о чем именно думал он в своей даче-крепости, окруженной сотнями до зубов вооруженных охранников. Но когда на десятый день войны, клацая зубами о край стакана с водой (звук этот, усиленный динамиками, слышала вся страна), вождь обратился к народу, то вместо твердого и решительного обращения, произнес нечто почти церковное: «Дорогие соотечественники! Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои...» Откуда в устах Главнокомандующего самой большой армией мира эти священнические интонации?

Об отношении Сталина к религии существует много рассказов. Наиболее интересны два из них. Рассказывают, что незадолго до войны Сталин пригласил к себе бывшего своего учителя по Тифлисской семинарии. Старик явился в Кремль в галстуке и белой сорочке. «Нехорошо,— сказал Сталин,— монах, а в галстуке». Старик начал оправдываться: он побоялся прогневить вождя народов церковной одеждой. Попыхивая трубкой, Сталин резюмировал: «Значит, меня боишься, а ЕГО не боишься?» В этом иезуитском вопросе — весь жизненный опыт Сосо Джугашвили, политического циника, выросшего на семинарских харчах.

Другую сторону психологии вождя открывает размышление ныне здравствующего московского писателя, многолетнего узника сталинских лагерей. «Отношение Сталина к Церкви напоминает отношение уголовника к зэку-профессору. Профессор, такой же оборванный и голодный, как все, сидит на нарах и канючит горбушку. Уголовник помыкает им, презирает его. Но в глубине души старый бандит таит все-таки почтительное опасение: «что если эта ученая падаль действительно знает что-то такое, о чем я и понятия не имею?»

Личность человеческая складывается рано. Семинарист Джугашвили без труда стал атеистом. Эпоха была такая. Позднее ему как политику не потребовалось много ума, чтобы понять, насколько опасна для большевиков вторая религия. Еще позднее, став единовластным правителем, он принялся убивать «попов» так же, как он убивал ученых или, к примеру, эсперантистов. В этом, по его разумению, состояла государственная мудрость. Но атеисту и прожженному политикану, ему так и не удалось до конца вытравить из своей души почтительный страх перед Церковью, перед Богом. В роковой момент он вылез, этот страшок, и заставил старого циника разговаривать языком тифлисского семинариста. Тут-то мы и услыхали: «Дорогие соотечественники! Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои...»

У него и потом она нередко вырывалась, эта церковная тональность. Когда в августе 1942 года Черчилль, добравшись до Москвы, растолковал советскому вождю планы союзников по высадке десанта в Африке (так называемая операция «Торч»), Сталин в азарте воскликнул: «Да поможет Бог успеху этого предприятия!» Передавая этот эпизод, американский дипломат Р. Шервуд добавил: «Мне говорили, что для Сталина, который одно время учился в духовной семинарии, вовсе не было необычным взывать к помощи божества».

Так или иначе, сыграли ли главную роль подспудные чувства вождя, сработал ли жесткий политический расчет или просто нужда его приперла,— но война 1941 года стала временем, когда «великий марксист» пригрел и облагодетельствовал Русскую Православную Церковь. Она ответила ему столь же нежными чувствами. Сближение маршала с митрополитом Сергием произошло, однако, не враз.

Роль активного начала в этих отношениях взяла на себя Церковь, хотя гонениями и была сведена почти к нулю. Надо отдать справедливость митрополиту Сергию: начало войны его не испугало. В отличие от Сталина, он уж 22 июня знал, что надо делать в создавшейся обстановке. Изощренным чутьем своим ощутил: приходит время Церкви. Уже в послании, написанном в первый день германского нашествия, Патриарший Местоблюститель заявил: «Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа... Не оставит она народ свой и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг». И тут же, чтобы не вызвать подозрений Хозяина, Блаженнейший строго определил тот узкий, но важный участок, на котором только и намерена действовать Церковь.

Теперь, много лет спустя, видно, что участок, облюбованный Сергием, был не так-то уж и узок. В то время как топорная, работающая в два цвета советская пропаганда твердила о стальном единстве народа, о гранитной стене, о которую разобьется гитлеровское нашествие, Сергий, лучше понимающий человеческую природу, писал: «Нам, пастырям Церкви, в такое время... недостойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, малодушного не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о воле Божией». Иными словами, Церковь брала на себя заботу о душевном состоянии каждого советского человека, во всей сложности его бед и переживаний военного времени. Какой ведущий кровопролитную войну вождь мог бы отказаться от такого союзника? Но Сталин промолчал. Психологически он еще не был готов к союзу с митрополитом.

Почти год длилось положение, подобное тому, которое большевики сформулировали в 1918 году в Бресте: «Ни войны, ни мира». Церковников больше не арестовывали, но и никакого благоволения власти им не оказывали. Приученный к терпению митрополит Сергий продолжал тем временем свою линию, доказывая вождю свою преданность и полезность. В октябре, когда немцы подступили к самой столице, он снова обратился к «православной и боголюбивой пастве московской» с призывом к победе и угрозами к тем, кто изменит Отечеству и православию. Эти два понятия как-то так хитро переплелись в послании Блаженнейшего, что получилось, как будто Советский Союз только тем и был занят все годы, что холил и лелеял православную веру своих граждан.

В третьем послании, помеченном 11 ноября, Сергий подбросил Сталину еще одну не менее привлекательную идею: «Прогрессивное человечество объявило Гитлеру священную войну за христианскую цивилизацию, за свободу совести и веры». Правды в этом утверждении не было, но Сергий знал: великому мифотворцу Сталину такая легенда придется по душе. И не ошибся. В свой черед — в начале 1943 года — наша пропаганда и этот тезис подхватила. Но в 1941-м Кремль все еще делал вид, что никакой Церкви в стране нет и Патриаршего Местоблюстителя — тоже.

И все-таки в косной массе государственного аппарата что-то едва приметно дернулось, деннулось! В сентябре — октябре перестали выходить все антирелигиозные издания. Так же неприметно, безо всякого объяснения, сгинул вдруг Союз воинствующих безбожников вместе со своим многомиллионным активом. В течение лета 1941 года несколько раз промелькнули на страницах советских газет опять-таки не совсем обычные заметки, относящиеся к зарубежной церкви. Почему-то вдруг настоятель Кентерберийский Хьюлет Джонсон прислал письмо писателю Александру Фадееву с пожеланием успехов Красной Армии в ее борьбе с немцами. Странное такое письмо, где даже цитата из Пушкина была, а о Боге, о Церкви — ни слова. Как будто не епископ писал Фадееву, а Фадеев епископу. Потом духовенство одного из англиканских приходов выразило советскому полпреду в Лондоне что-то любезное и беззубое. И опять можно было бы сказать, что дело тут вовсе не в Церкви, а в попытках Сталина наладить отношения с британскими военными союзниками. Но раньше такого не бывало.

Незадолго до нового, 1942 года о проблеме религии Сталину все-таки задуматься пришлось. О проблеме этой почти одновременно и довольно бесцеремонно напомнили ему друзья и враги — американцы и немцы.

В 1939 году, заключив с Гитлером Договор о дружбе и взаимной помощи,

Сталин развязал фюреру руки на Западе. Два года спокойно взирал он на то, как фашисты захватывали Бельгию и Голландию, как гибла в Дюнкерке английская армия, как гитлеровцы входили в Париж. Но осенью 1941-го, оставшись один на один с германской военной мощью, Сталин заметался в поисках военных союзников. Русская армия отступала. Требовалось время, чтобы перестроить промышленность на военные рельсы. Жизненно важно было получить военную помощь от Соединенных Штатов и Англии. Особенно от Штатов. Президент Рузвельт готов был эту помощь оказать, но в Америке многие еще помнили предательство Сталина по отношению к европейским демократиям, его массовый политический террор внутри страны и удушение Церкви. Президент США получил сотни писем от католических и православных приходов Америки, которые предостерегали его от помощи безбожной России. Столь же энергично выражали свой протест изоляционисты. Когда в августе 1941 года США и Англия подписали первый союзнический документ, так называемую Атлантическую хартию, американские изоляционисты резко критиковали ее за то, что документ этот предусматривал защиту только трех свобод — и не принимал в расчет четвертой: свободы религии. Сторонники изоляционизма заявили, что Рузвельт и Черчилль капитулируют перед безбожной страной большевиков.

Рузвельт не скрыл от Сталина своих трудностей. В демократической стране власти не могут притворяться глухими, если большая группа населения выражает неудовольствие государственной политикой. Прибывший в Москву в конце сентября 1941 года личный представитель президента А. Гарриман сказал Сталину, что американская общественность обеспокоена судьбой Церкви в СССР. Сталин сделал вид, что вопросу этому серьезного значения не придает, но замечание Гарримана его насторожило. Не такие были у России тогда дела, чтобы плевать на общественное мнение Соединенных Штатов.

Американцы — люди дотошные. Не довольствуясь слухами, они решили дознаться о положении Церкви в России из первоисточников. Корреспондент агентства «Ассошиэйтед Пресс» Гилмор Эдди Лейнер в разгар войны добрался до Саратова и 24 декабря 1942 года получил интервью у архиепископа Саратовского Андрея. «Произошли ли перемены в положении Церкви с начала войны?» — осведомился корреспондент. «Никаких перемен не произошло,— ответил архиепископ,— так как Церковь и до войны и после начала войны не была ограничена в своих действиях».

Корреспондент: «Полагаете ли Вы, что после победы над врагом отношения между Церковью и государством останутся такими же, как и теперь, или изменятся, станут лучше или хуже?»

Архиепископ: «Отношения Церкви и Советской власти и после победы останутся такими же — ведь и само духовенство говорит, что Советская власть никогда не преследовала его за религиозные убеждения, и оно не выступает против Советской власти, а потому никаких изменений не может быть».

Корреспондент передал своим соотечественникам полученную в СССР «информацию», но похоже, что в США интервью его мало кому показалось убедительным. Во всяком случае, Рузвельту пришлось серьезно поработать, прежде чем общественность его страны примирилась с новым политическим и военным союзником Штатов, не желающим разрешить своим гражданам элементарных религиозных свобод.

Вопрос этот снова всплыл в последних числах декабря 1941 года, когда президент составлял проект декларации «Объединившихся держав» (будущих Объединенных Наций). В Америке и Англии документу этому придавали большое значение. Каждый пункт обсуждался со всех сторон. Ближайший помощник Рузвельта Гарри Гопкинс написал президенту утром 27 декабря: «...Вы должны приложить все усилия, чтобы добиться включения в этот документ пункта о свободе религии. Я считаю, что Вам необходимо побеседовать по этому вопросу с Литвиновым в полдень» [83].

Беседу Рузвельта с Литвиновым за обедом в Белом доме Р. Шервуд описывает следующим образом: «Рузвельт доказывал ему (Литвинову) важность включения в декларацию упоминания о свободе религии. Следует помнить, что неупоминание этого в Атлантической хартии вызвало серьезную критику этого документа... Литвинов считал, что его правительство, которому он уже передал по телеграфу декларацию, отрицательно отнесется к предложенному изменению. Он заявил, что Кремль может согласиться лишь с фразой «свобода совести», но Рузвельт заверил его, что это одно и то же, и просил сообщить об этом Кремлю. Он объяснил, что ему хотелось бы видеть в декларации слово «религия», потому что оно значилось в его часто провозглашавшихся четырех свободах. Он указал, что «традиционный джефферсоновский принцип свободы религии имеет столь широко демократический характер, что включает право не придерживаться вовсе никакой религии...» Р. Шервуд закончил описание беседы в Белом доме следующими словами: «Я не знаю, каким образом Литвинову удалось сообщить об этом Сталину и Политбюро, но факт остается фактом, что слова «свобода религии» появились в окончательном тексте декларации».

Думаю, что Литвинову не пришлось уговаривать Сталина. Ведь уже в начале октября 1941 года Соединенные Штаты предоставили Советскому Союзу беспроцентный заем на сумму один миллиард долларов для закупки вооружения и сырья. А впереди предстояло получить по «ленд-лизу» еще десять миллиардов. Прагматик и циник из Кремля знал: в этом мире за все надо платить. В конце концов Берлин стоил обедни.

Но если американцы лишь деликатно намекали маршалу Сталину о непорядках в его доме, то немцы откровенно готовились обратить Церковь против Советов. У себя дома фюрер разорял католические храмы, арестовывал и даже расстреливал священников, но на захваченных землях России он по тактическим соображениям приказал религиозные чувства верующих не оскорблять. Сами гитлеровцы храмов не открывали, но когда в управы с такой просьбой обращались верующие, разрешения давались немедленно. В Харькове при областной управе оккупанты создали даже Комиссию по делам религии, в общем, довольно благосклонную к русскому православному духовенству; в Пскове действовала православная миссия, которая открывала церкви, печатала богослужебные книги, организовывала религиозное обучение детей. При всем том фашисты оставались фашистами: они арестовывали, пытали и убивали каждого, кого подозревали в сотрудничестве с партизанами или в шпионаже. Случалось, что жертвами их становились священники. Известны случаи, когда местные коменданты приказывали священникам возносить молитвы во славу фюрера и германского оружия. Но в целом «для пользы дела» гитлеровские власти на оккупированных территориях к Церкви благоволили.

На Украине в захваченных немцами областях число вновь открытых храмов исчислялось сотнями. Нашлись готовые служить священники, а вскоре обнаружились и архиереи. Епископ Поликарп Сикорский в западных районах Украины объявил себя главой Украинской автокефальной (не подчиняющейся Московской патриархии) Церкви. Группа прибалтийских архиереев во главе с митрополитом Литовским Сергием Воскресенским, ближайшим помощником Сергия старшего, в 1940 году приехавшим из Москвы, послала приветственную телеграмму Гитлеру. Епископы заявляли, что Сергий — заложник Советской власти, вынужденный служить ей только под угрозой.

Возникла серьезная опасность, что Гитлер сделает мученичество Русской Православной Церкви своим политическим козырем. То была сильная карта, особенно для общественного мнения нейтральных стран и для США. Почему немцы не довели свой план до конца, сказать трудно. Может быть, им вскружили голову их военные успехи, а может быть, в последний момент их смутила идеологическая сторона вопроса. Ведь в Уставе Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), как и Уставе ВКП(б), борьба с религией объявлялась обязательным делом партийца.

Так с двух сторо" — из Европы и Америки — напирала на Сталина проблема российского православия. Напирала тогда, когда сам он совсем еще не готов был потакать церковникам и благодетельствовать верующим. Наиболее рискованной представлялась ситуация, возникшая на оккупированных землях. Когда в октябре 1941 года немцы подошли к окраинам Москвы и возникла реальная

опасность падения столицы, в верхах НКВД сообразили, что глава православных митрополит Сергий может оказаться для гитлеровцев ценнейшим трофеем. По логике ЧК — ОГПУ — НКВД — КГБ в таких случаях предполагаемый «вражеский трофей» надо либо уничтожить, либо вывезти. Расстрелять было проще, но тогда могли поднять вой западные союзники. Решили вывозить. В НКВД срочно изготовили официальную бумагу — распоряжение Московского городского Совета депутатов трудящихся № 3/331 от 7 октября 1941 года,— в которой митрополиту Сергию и его Патриархии предписывалось покинуть Москву и направиться на жительство в город Чкалов (Оренбург).

Церковный писатель А. Э. Краснов-Левитин рассказывает, как на его глазах 14 октября осуществилась эта операция. Вагон, предназначенный для церковников, стоял на запасных путях Казанского вокзала. В середине дня к вагону подъехала легковая машина, в которой в сопровождении крупного чина НКВД находились глава так называемой Обновленческой Церкви Александр Введенский и его заместитель митрополит Виталий. Когда обновленцы забрались в вагон, то обнаружили, что там уже сидит несколько человек: руководство баптистской общины, а также одноглазый старик, старообрядческий архиепископ Московский и всея Руси Иринарх.

«Едва уселись на места там,— вспоминает А. Краснов,— в дверях суматоха — вынесли чьи-то вещи, почтительно открылись двери — в вагон вошел среднего роста старичок с седой окладистой бородой, в золотом пенсне, с подергивающимся нервным тиком лицом, одетый в рясу и монашескую скуфейку. «Какая встреча!» — бросился к нему Введенский. Улыбаясь, старичок, дружески с ним облобызался... Последний раз Введенский видел старичка в скуфейке девятнадцать лет назад, осенью 1922 года. А. И. Введенский был тогда молодым преуспевающим протоиереем — заместителем председателя ВЦУ, а старичок — членом ВЦУ, и на осенней сессии ВЦУ в 1922 году они сидели рядом. Теперь Введенский, уже немолодой и не преуспевающий, был Первоиерархом Обновленческой Церкви, вошедший же носил титул «Патриарший Местоблюститель Блаженнейший Сергий Митрополит Московский и Коломенский». Генерал МГБ улыбался снисходительно и иронически, братья-баптисты и старообрядческий архиерей, скромно потупившись, искоса наблюдали за лобызанием «друзей». Так началось это, не имеющее прецедента в истории Русской Церкви путешествие иерархов в глубь России» [34].

Путешествие, о котором Краснов рассказывает много интересных подробностей, завершилось не совсем так, как его планировали. В дороге Сергий разболелся. Сотрудники НКВД, не уверенные в том, что довезут своего подопечного живьем, снеслись с Москвой и получили разрешение изменить маршрут. Вагон повернул на Ульяновск. До города на Волге этот своеобразный ковчег добрался на шестые сутки. После чего, разделив между собой ульяновские храмы и сферы влияния, иерархи принялись устраиваться на новом месте. Устраиваться им пришлось прочно: «Ульяновский Авиньон» просуществовал два года, до осени 1943-го.

Митрополит Сергий не только публично отмежевался от митрополитов-перебежчиков, но устроил нечто вроде заочного суда над ними и опубликовал подписанное группой епископов обвинительное Определение. Специальными посланиями обращался он затем к христианам оккупированных областей и отдельно к православным Украины. Написал москвичам о героическом прошлом столицы и предрек Москве еще более героическое будущее. К годовщине войны Патриарший Местоблюститель объявил о сборе трех миллионов рублей и множества теплых вещей в подарок фронту. Всего за первый год пребывания в Ульяновске Сергий опубликовал десять Посланий и два Определения.

Сталин по-прежнему безмолвствовал. Без участия духовенства прошел Первый Всеславянский митинг в Москве (август 1941 г.) и Второй (март 1942 г.). Высшая власть ни на поздравления, ни на приветствия Церкви не отвечала. Гневалась? Да нет. Просто проверяла. Шло испытание на степень преданности. Искренно ли многократно прибитая собака лижет руку своему хозяину или хитрит и, того гляди, укусит? Проверкой, как всегда, занимались сотрудники НКВД. Там Сергию давали задания, там выставляли баллы за исполнение. Блаженнейший стал включать в свои Послания факты, непосредственно подброшенные агентами разведки. «В Великом Новгороде, в храме Св. Софии,— возглашал он 14 октября 1941 года,— на днях служил лютеранский пастор». Откуда бы вдруг такая свежая информация в разгар войны, когда немцы стоят в Химках? В другое Послание вкраплен чисто пропагандистский поворот мысли: «Что-нибудь одно — или свободное и мирное существование народов с их верой в Христа... или Гитлер с его фашизмом, мраком и насилием...» — заявляет Сергий, давая понять всем, кому это надлежит, что христианнейший Советский Союз и есть альтернатива фашизму.

А для тех, кому в таких тонкостях разбираться не под силу, Патриархия опять же в содружестве с вездесущим НКВД соорудила за считанные месяцы целую книгу: «Правда о религии в России». Том в 36 печатных листов со множеством иллюстраций, буквиц и рисунков был изготовлен в рекордный срок. Начатый не позже февраля, он был подписан к печати уже в июле 1942 года. Но главное «чудо» книги состояло не в темпах выпуска, не в цветных заставках, не в отличной бумаге и добротном переплете, а в ее содержании. Предназначалась «Правда» не для советского человека, хорошо знавшего положение вещей в стране, а для иностранцев, в первую очередь для общественности Америки и Англии. Задача состояла в том, чтобы успокоить союзников, сделать их более покладистыми и тороватыми на военные поставки в СССР. Для этого в книге приводились фотографии переполненных храмов, портреты епископов, священников, активных мирян. А рядом злодейства Гитлера против христиан, разбомбленные храмы, расстрелянные православные. В предисловии, процитировав известного царского митрополита Филарета («Церковь молится за государственную власть не в надежде на выгоду, а во исполнение своего долга, указанного волею Божией»), Сергий поясняет: «Такова и есть позиция нашей Патриаршей Русской Церкви в отличие от всяких отщепенцев и отщепенствующих за границей и дома». И далее в том же духе.

«...С полной объективностью надо заявить, что Конституция, гарантирующая полную свободу отправления религиозного культа, решительно ни в чем не стесняет религиозной жизни верующих и жизни Церкви вообще...» Правда, приходится признать: «За годы после Октябрьской революции в России бывали неоднократные процессы религиозников». Но, оказывается, судили этих церковных деятелей исключительно за то, что они, прикрываясь рясой и церковным знаменем, вели антисоветскую работу. «Это были политические процессы, отнюдь не имевшие ничего общего с чисто церковной жизнью религиозных организаций и чисто церковной работой отдельных священнослужителей... Нет, Церковь не может жаловаться на власть» [35].

Слова «самого» подхватывают люди поменьше, тональность, однако, сохраняется та же: «Наша Церковь свободна» (протоиерей Сергий Воздвиженский), «Мы свободно исповедуем свою веру в Господа Иисуса Христа» (протоиерей Владимир Тростин). И картинки в книге под стать тексту: церковь в селе Дьяково изображена как действующая, а ее закрыли задолго до войны. В другом месте показана открытой так же давно закрытая церковь в Торжке. В третьем месте читателю показывают развалины храма в Чашникове под Москвой, а храм в Чашникове никто не взрывал, он и поныне стоит невредим. И даже служба там идет. Много других «забавностей» можно обнаружить в этой книге. Чего стоит, например, «осведомленность» протоиерея Сергия Даева, который подробнейшим образом излагает читателю события церковной жизни Бельгии, Голландии, Франции, Норвегии и даже самой Германии. И все это весной 1942 года, сидя в Ульяновске!

Мне не удалось дознаться, какое именно впечатление произвела «Правда о религии в России» на православное духовенство во время войны. Большинство священников, надо полагать, никогда не держали эту книгу в руках: тираж ее пошел за границу. Из тех же, кто читал, многие, вероятно, склонны были повторить слова епископа Луки Войно-Ясенецкого: «Вот за эту правду я и пошел в ссылку».

Первый после Октябрьской революции знак официального государственного благоволения к Православной Церкви был явлен на Пасху 1942 года. Город лежал в абсолютном и обязательном затемнении. Военные патрули следили, чтобы после девяти вечера никто из гражданских лиц на улицах не появлялся. И вдруг на рассвете 5 апреля по радио — слушайте, слушайте! — распоряжение коменданта Москвы: разрешается беспрепятственное движение по городу на всю пасхальную ночь «согласно традиции». Толпы народа повалили к заутрене, кто и не ходил никогда — пошел. Еще бы, такой случай!

В том же апреле еще одна «нечаянная радость». Нарком иностранных дел СССР Молотов опубликовал ноту «О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных советских районах...». И снова впервые (теперь это слово будет встречаться в нашем рассказе часто), впервые в советском официальном документе прозвучали слова: «Гитлеровские оккупанты не щадят религиозных чувств верующей части советского населения». Давно ли Емельян Ярославский с радостью сообщал широкой публике, что вот, мол, целые города появились в Советском Союзе, где ни одной церкви, ни одного священника нет; что «по крайней мере: половина населения полностью или частично порвала с религией». Глава безбожников призывал быстрее открыть глаза оставшейся «темной массе». А тут вдруг — беспокойство о религиозных чувствах этой самой массы. Не странно ли?

Но странности только начинались. Закон об отделении Церкви от государства никто, правда, не отменял, но законы у нас, как известно, сами по себе, а распоряжения сами по себе. Распоряжения же из Кремля следовали такие, будто никакого закона не было. В ноябре Указом Президиума Верховного Совета СССР образована была Чрезвычайная Государственная Комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. И в Комиссии той рядом со Ждановым и Шверником, рядом с писателем А. Толстым и академиками Тарле, Лысенко и Бурденко нашлось место Николаю — митрополиту Киевскому и Галицкому, правой руке Блаженнейшего Сергия по церковно-государственным контактам. Назначили его туда неспроста. Ибо среди прочего надлежало Комиссии учесть ущерб, который причинен Советскому государству от «разрушения музеев, библиотек, театров и других культурных учреждений, а также зданий, оборудования и утвари религиозных культов». И утварь, и оборудование церковное, и здания храмовые — все то, что советские власти двадцать пять лет разрушали, взрывали, губили как могли, теперь превратились в государственную ценность, за которую предстояло взыскать... С кого же? Да с германских фашистов. Вот к этому-то делу государственному и был приспособлен митрополит отделенной от государства Русской Православной Церкви Николай Ярошевич.

Отношения Сталина и Сергия между тем приближались к своему апогею. В 43-м году уже не понукания американцев и не опасения перед немецкой пропагандой заставляют вождя поддерживать сердечные отношения с Патриархией. Официальная пропаганда взяла на вооружение не только «тени великих предков», о которых митрополит Сергий писал в своем первом Послании, но, что важнее, два принципиальных церковных тезиса: об извечной ненависти немцев к славянским народам и об особой мессианской роли Москвы, о Руси — источнике единственного верного пути жизни. С помощью мессианства интернационального пытался изменить мир Владимир Ленин. Но Иосиф Сталин вернул русскому мессианству его первоначальный национальный характер. Ту мыслишку в начале шестнадцатого века подбросил московским царям монах Псковского монастыря Филофей. Царю Василию III пришлась она по душе. Вслед за Филофеем сформулировал он для всех своих продолжателей основную идею русской самодержавной власти: «Два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти». Триста лет спустя, слегка заплесневелый, но все еще привлекательный плод, взращенный псковским монахом и московским монархом, понравился и Сталину. В конце войны, ощутив себя без пяти минут самодержцем всея Руси, вождь проникся мессианским духом. Это еще более расположило его к Церкви. Царь без Церкви — какой же это царь? Так оно и тянулось одно за

другим: Самодержавие за Православием, а Православие за русской (и только русской) Народностью. Церкви в этой триаде почетнейшее место было уготовано: оправдывать и благословлять далеко идущие международные и внутригосударственные претензии монарха.

О том же, как Церковь будет жить в безрелигиозном государстве, как станет «стыковаться» с другими, прежде сосуществовавшими ведомствами, вождь не слишком заботился, детали его не интересовали. Когда чиновник ЦК Поликарпов, назначенный секретарем Союза писателей, пожаловался однажды, что писатели склочничают, ненавидят, подсиживают друг друга, Сталин, как всегда немногословный, сказал ему: «Иди, Поликарпов, руководи, у меня для тебя других писателей нет». Каждый отдельный писатель, ученый вождя действительно не интересовал. Но для его целей, для его престижа нужен был Союз писателей, необходима была Академия наук. Точно так же и в Церкви не было для Сталина прихожан, священников, толп, стекающихся на молитву. Но была Патриархия, учреждение, ведающее престижем власти. И все. А что касается устроения, так там, где есть ВЦСПС, не представляющий интересов рабочих, где есть Союз писателей, не имеющий никакого отношения к творчеству, где существует пресса, равнодушная к новостям,— найдется местечко и для Церкви, не причастной к вере.

Требовалась, однако, еще одна, какая-то последняя акция, которая окончательно закрепила бы союз первого большевика страны с Местоблюстителем Патриаршего престола. От Церкви ждали еще одного знака верности, чего-то такого, что вызвало бы международный эффект, шум в газетах и потрясение российских сердец. И Патриархия придумала. 30 декабря 1942 года митрополит Сергий из своего ульяновского далека объявил о начале сбора средств на танковую колонну имени Дмитрия Донского. Деньги на танки предстояло собрать среди пастырей и пасомых. Пять дней спустя в новогодней телеграмме вождю митрополит сообщал:

«Нашим особым посланием приглашаю духовенство, верующих пожертвовать на постройку колонны танков имени Дмитрия Донского. Для начала Патриархия вносит сто тысяч рублей, Елоховский кафедральный собор в Москве — триста тысяч, настоятель собора Колчицкий Николай Федорович — сто тысяч. Просим в Госбанке открыть специальный счет. Да завершится победой над темными силами фашизма общенародный подвиг, Вами возглавляемый».

В том же номере газеты «Правда» Сталин впервые публично обнаружил свое знакомство с главой Церкви. Его ответ гласил:

«Ульяновск
Патриаршему Местоблюстителю Сергию,
Митрополиту Московскому

Прошу передать православному русскому духовенству и верующим мой привет и благодарность Красной Армии за заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Указание об открытии специального счета в Госбанке дано.

Сталин».

«Церковная весна» начала набирать силу. За два неполных месяца духовенство и верующие страны собрали на танковую колонну шесть миллионов рублей. В конце февраля вождь второй раз ответил главе православных благодарственной телеграммой. Вслед за тем правительство открыло доступ к весьма почитаемой иконе Иверской Божьей Матери. Икону перевезли из закрытой Иверской часовни на поклонение в Воскресенскую церковь в Сокольниках. А в мае на Третьем Всеславянском митинге в Москве (фотографии во всех газетах) в президиуме появился профессорского вида блондин в клобуке — все тот же митрополит Киевский и Галицкий Николай. Впервые за четверть века газеты опубликовали речь церковника.

Газеты между тем действительно сообщали много нового и неожиданного. 1 января 1943 года введены погоны. Для офицеров и генералов — золотые. 17 января — новые мундиры для всей армии. 5 сентября — мундиры объявлены для чиновников железнодорожного ведомства, 25-го — для юристов. 9 октября — для дипломатической службы. Люди старшего поколения вспомнили о давно за-

бытом: двенадцать разрядов статских и военных чинов. Не к тому ли идет? Другим пришла на память старая гимназия: на улицах появились школьники в форменных кителях и школьницы в одинаковых коричневых платьях. 1 сентября 1943 года, как известила пресса, началось раздельное обучение мальчиков и девочек. На год раньше был возвращен к жизни некогда прославленный орден Александра Невского. По вечерам — еще одна дань ушедшей эпохе — артиллерийские салюты. К пушечному гулу добавился вскоре другой, тоже изрядно забытый в России звук. 8 сентября малиновый колокольный звон оповестил жителей столицы об избрании Патриарха всея Руси. Распустив паруса, полоща флагами, корабль российский плавно и величественно входил в свое историческое вчера.

На фоне этого непрерывного торжественного шума уже не удивила газетная заметка о том, что товарищ Сталин принял в Кремле трех митрополитов Русской Православной Церкви. Между тем встреча в Кремле 4 сентября 1943 года, несомненно, относится к событиям подлинно историческим. Не так-то часто глава партии, которая предписывает своим членам «вести решительную борьбу... с религиозными предрассудками», встречается с главой Церкви для дружеского разговора.

Митрополита Сергия привезли из Ульяновска в Москву дня за два до встречи. Одновременно из Ленинграда вызвали митрополита Алексия, второе лицо в церковной иерархии. Третьим был Николай, митрополит Киевский, всю войну заменявший Сергия в Москве. К властям наиболее близок из этой тройки был Николай, но похоже, что и он не знал о предстоящем визите к вождю. Им позвонили ночью. Говорят, что Местоблюститель растерялся, начал лепетать по телефону что-то о трудностях передвижения по Москве: «Ведь трамваи уже не ходят...» Трамвай не понадобился. Всех троих доставили на прием кремлевские машины. К полуночи иерархов принял Молотов. Сталин был еще занят — слушал донесения с фронтов. Часа в два ночи (любимые рабочие часы вождя) Сталин, Молотов и митрополиты заняли, наконец, места вокруг богато сервированного стола. Началась беседа. Все, кому приходилось вести переговоры со Сталиным, когда он находился в хорошем настроении, рассказывают о нем как о человеке редкого обаяния. Очевидно, именно этой стороной своей обернулся он к трем иерархам в ночь с 4 на 5 сентября. Сказал, что Советское правительство высоко ценит общественные усилия Церкви в настоящей войне, а также труды каждого из присутствующих по сбору пожертвований на нужды Красной Армии. Радушно разведя ладони, спросил: «Что теперь мы можем сделать для вас? Просите, предлагайте». И, не дожидаясь ответа, сам сделал первое предложение: «У вас плохо с кадрами, нужно готовить новые кадры».

С «кадрами», то есть со священниками, положение было не просто плохое, а катастрофическое. Хотя в июле 1941 года, стремясь расположить к себе британского союзника, советское посольство в Лондоне и заявило, что в церквах СССР служат пятьдесят восемь тысяч четыреста сорок два священнослужителя, но это было абсолютно недостоверно. Число оставшихся на свободе священников не превышало нескольких сотен. Да и то после лагерей и тюрем большая часть из них не желала или не была способна служить в церквах. «Может быть, открыть какие-нибудь курсы для священнослужителей...»,— неуверенно заговорили митрополиты, не зная, куда клонит вождь. Но бывший семинарист уже вошел в роль римского императора Константина. «Какие там курсы! Академии духовные вам необходимы, семинарии нужны. К этому делу надо приучать с малолетства» [36].

Митрополиты оживились. Но вот беда, ведь и епископов нехватка. Их тоже надо готовить, но где? Ведь епископы — монахи. Нельзя ли разрешить при Патриархии домик завести, где будущие епископы смогли бы проходить монашеский искус?.. Сталин: «Зачем же домик, мы для этого монастырь подыщем».

Заговорили об отсутствии богослужебных книг. Митрополит Николай заметил, что не худо бы издавать Календарь, а в качестве приложения к нему печатать богослужебные тексты. И снова, как исконно хлебосольный хозяин, Сталин, широко разведя руками, заявил, что Календарь церковный, конечно, издавать можно, но Календарь — пустяк. Патриархии надо наладить широкую издательскую деятельность, обмениваться изданиями с зарубежными церквами. И прежде всего прямо в ближайшие дни надо выпустить первый номер «Журнала Московской Патриархии». Вождь даже укорил митрополитов за узость планов, за отсутствие настоящего размаха. «Вам надо создать свой Ватикан, чтобы там и Академия, и библиотека, и типография помещались, и все другие учреждения, необходимые такой крупной и значительной Патриархии, какой является Патриархия Московская».

Осмелевши, митрополиты попросили у Сталина еще одной милости: «Нет у нас Патриарха. Надо бы избрать, да не знаем, удобно ли?» «Это ваше внутрицерковное дело»,— успокоил их вождь. «Но как собрать епископов на Поместный Собор? Ведь война идет, пропуска... с железнодорожными билетами трудности...» — «Вячеслав Михайлович, распорядитесь о поездах и самолетах для доставки епископов. Когда Собор?» Избрать Патриарха решили, не откладывая, и журнал выпускать сейчас же. О том, кого выбирать в Патриархи, даже говорить не стали. И так было понятно. В глазах Сталина более подходящей фигуры, чем митрополит Сергий, никого не было.

Была, однако, в той сердечной беседе одна минута, когда угощения кремлевские показались митрополитам горьковатыми, пахнуло на них вдруг сырым холодом лагерных бараков да запахом параши камерной. Это случилось, когда, не переставая любезно улыбаться, Сталин сказал, что, поскольку людям Церкви неудобно по своим делам ходить в правительство, а лицам правительственного аппарата неудобно сноситься непосредственно с Патриархией, следует создать пограничный, так сказать, орган — Совет по делам Русской Православной Церкви. «А во главе Совета поставим товарища Карпова,— сказал вождь и с интересом посмотрел в лица старцев в рясах.— Знаете товарища Карпова?» Да, они его знали, слишком хорошо знали. Георгий Григорьевич Карпов был начальником как раз того отдела НКВД, который арестовывал и расстреливал церковную братию. Это он ссылал священнослужителей без суда и закрывал храмы, не интересуясь мнением прихожан. Это от его руки обезлюдела и захирела Православная Церковь. Теперь этого Малюту опять сажают на шею Патриархии... Митрополиты испуганно молчали. Наконец Сергий нашел в себе силы промолвить: «Богопоставленный вождь, но ведь он, Карпов, из гонителей наших...» «Правильно,— явно довольный произведенным эффектом, ответил Сталин,— партия приказывала товарищу Карпову быть гонителем, он исполнял волю партии. А теперь мы ему поручим стать вашим охранителем. Я знаю Карпова, он исполнительный товарищ. Ну, стало быть, согласны, чтобы Карпов стоял во главе Совета?» Удерживая вздох, митрополиты закивали головами. Но то была лишь одна, маленькая, совсем крохотная заминка. В остальном же встреча оставила у иерархов самые радостные, если не сказать, светлые, воспоминания. Так по крайней мере митрополит Алексий, впоследствии Патриарх, рассказывал близкому своему человеку Анатолию Васильевичу Ведерникову. А Ведерников после смерти Алексия автору этих строк.

Иерархи разъезжались из Кремля взволнованные, восхищенные сердечностью и умом своего великого собеседника. Над Москвой светало. Занималась заря 5 сентября 1943 года. Грузовики развозили кипы пахнущих типографской краской газет. На первой полосе «Правды» и «Известий» было помещено еще с вечера согласованное и набранное сообщение: «Четвертого сентября у Председателя Совета Народных Комиссаров тов. И. В. Сталина состоялся прием, во время которого имела место беседа с Патриаршим Местоблюстителем Митрополитом Сергием, Ленинградским Митрополитом Алексием и Экзархом Украины Киевским и Галицким Митрополитом Николаем.

Во время беседы митрополит Сергий довел до сведения Председателя Совнаркома, что в руководящих кругах православной Церкви имеется намерение в ближайшее время созвать Собор епископов для избрания Патриарха Московского и всея Руси и образования при Патриархе Священного Синода. Глава Правительства тов. И. В. Сталин сочувственно отнесся к этим предложениям и заявил, что со стороны Правительства не будет к этому препятствий...»

Четыре дня спустя (читайте газеты!) советские граждане узнали, что собравшийся в Москве Собор епископов Православной Церкви единодушно избрал митрополита Сергия Старогородского Патриархом всея Руси. Так же единогласно Собор принял обращение к Правительству СССР с благодарностью за внимание к нуждам Православной Церкви. И наконец, без лишних споров тот же Собор избрал Священный Синод из шести человек. Членом Синода был избран и Архиепископ Красноярский Лука.

«Я видел рабскую Россию:
Перед святыней алтаря,
Гремя цепьми, склоняя выю,
Она молилась за царя».

Кондратий РЫЛЕЕВ. 1824 г.

То восторженное состояние духа, с которым три главы русского православия покинули Кремль, как круги по воде от брошенного в воду камня, передавалось по России все дальше и дальше, возбуждая надежду верующих и клириков. В переполненных церквах и около церквей говорили о победе митрополита Сергия, о торжестве православия над духом неверия. Лука оказался среди самых восторженных. Из письма, написанного в Москве во время выборов и интронизации Патриарха, видно, что он совершенно захвачен происходящим.

«Две мои статьи переданы Всеславянским комитетом по радио в «Нью-Йорк Таймс». Во время заседания Собора для выбора Патриарха и вчера во время торжественного богослужения нас без конца фотографировали, были члены дипломатического корпуса. Я состою членом Синода, и сегодня было первое заседание... В Чрезвычайной государственной комиссии зашел разговор обо мне, и акад. Тарле сказал, что московские хирурги считают меня крупнейшим хирургом СССР. На Соборе я тоже был на первом месте после двух митрополитов».

Луке хочется, чтобы дети поняли его чувства, ему не терпится услышать, что они тоже рады переменам в Церкви и его, Луки, новому положению. Средний сын, Алексей, живущий в Москве, очевидно, воздал отцу должный почет. Но старший, Михаил, отмалчивался. Луку это раздражало: «Ты ни слова не пишешь мне по поводу телеграммы Всеславянского Комитета. Может быть, не получил моего письма об этом?.. Я написал еще одну блестящую статью (которая привела в восторг Алешу) на тему «Бог благословляет справедливую войну против германских фашистов». Она тоже передана в «Нью-Йорк Таймс». Пришел ко мне интервьюер от Союза антифашистских ученых, подробно записал мою биографию и сказал, что она будет напечатана в заграничных газетах».

Телеграмма, о которой с таким энтузиазмом толкует Лука, пришла в Красноярск еще в августе. Всеславянский комитет, одна из многочисленных действовавших в СССР пропагандистских, псевдообщественных организаций, просил профессора-епископа рассказать заграничному читателю о своей научной и церковной деятельности. Таких апологетических статей московские пропагандисты отправляли за рубеж великое множество. Написанные известными писателями, артистами, статейки эти должны были, по идее, размягчать души европейцев и американцев, помогать Сталину добиваться своих целей на Западе. Для пропагандистов 1943 года профессор-архиерей — фигура до крайности ценная... Содержанием статья его тоже вполне удовлетворяла заказчиков. Рассказав о своей работе хирурга, о научных докладах и о недавно завершенной книге, ссыльный профессор (от ссылки его освободили лишь месяц спустя, перед самым выездом на Собор епископов) произнес подлинный панегирик Советской власти. Была там и «буря Великой Революции, все перевернувшая в стране нашей — и былую социальную неправду заменившая великими принципами всеобщего равенства и коммунизма», и Церковь, которая нынешними страданиями искупает «исторический грех своего участия в подавлении политической свободы народа и личные грехи отдельных представителей духовенства».

Передав в этих довольно туманных выражениях историю церковно-государственного конфликта в СССР, Лука в столь же благостных словах попытался представить Западу современное положение церковных дел.

«В многолетней революционной борьбе, в великом всенародном порыве к строительству государственной, общественной и экономической жизни, на новых беспримерных в истории основаниях, неизбежно должна была ослабеть религиозность народов СССР. И это случилось. В напряженном строительстве царства земного померк свет Царства Небесного во многих душах. Но это, конечно, не всегда и не для всех. Не может погаснуть свет Христов, не может прекратить свое существование Церковь христианская... С такими мыслями и задачами я принял относительно недавно назначение на Красноярскую кафедру. Самое важное мы имеем: полную свободу проповеди Евангелия, чистой Христовой истины, совершения таинств и богослужений».

Что касается перспектив, то Архиепископ Красноярский и тут полон оптимизма. «В Великой Революции, в социализме и коммунизме народы СССР познали новые принципы нравственности, основанной на долге перед родиной и государством, на товариществе в работе и жизни, во взаимном уважении... Безмерно велико совершенное революцией уничтожение экономических основ зла общественного и зла индивидуального. Но столь же велика задача искоренения источников зла в сердце человеческом, которую исполняет Церковь Христова по завету Своего Учителя и Главы. Проповедь любви и братства должна стать великим дополнением проповеди долга и товарищества».

Я цитирую статью Владыки по машинописной копии, сохранившейся в его архиве. Внешние редакторы ее не терзали. А внутренние? Нет, искренность моего героя вне сомнения. Он так и думал. Так понимал происходящее. Сибирские ссылки? Ташкентский «конвейер»? Но Лука считает личные обиды и страдания других священников и архиереев незначащей деталью по сравнению с тем, что совершилось, по сравнению с тем, что Церковь снова в зените. Блаженны умеющие забывать то, что уже нельзя исправить!

Я вынужден напомнить: в своих надеждах Лука был не одинок. Стремление улучшать, облагораживать советскую действительность — давний и весьма распространенный соблазн русской образованной публики. Один из «проектов» улучшения в том как раз и состоял, чтобы дополнить социализм христианством, чтобы с помощью узаконенной веры как-то облагородить коллективизацию, индустриализацию, массовые чистки и даже самое истребление Церкви. Наиболее пикантное в этих попытках состояло в том, что творцы проектов со своими предложениями обращались прямо в ЦК, в Правительство СССР, к Сталину! Рука не поднимается укорить этих героев и мучеников 20-х и 30-х годов в наивности, а тем более в глупости. Все задним умом крепки. Тот, кто хотел увидеть социалистическую Россию вместе с тем христианской, слишком дорого заплатил за свою мечту. И, может быть, дороже других талантливый и образованный Андрей Ухтомский [37]. «Коммунист, но не безбожник, христианин с продуманным и выстраданным мировоззрением» (по его собственным словам), архиепископ Андрей побывал и в Бутырках, и в Ярославском политическом изоляторе. И тем не менее в мае 1933 года, находясь в третьей по счету ссылке в Алма-Ате, он обратился к Председателю Совнаркома СССР Молотову со следующим письмом:

«Гражданин Молотов... Советская власть сделает великое и полезное для себя дело, если позволит организоваться честным христианским Советам, то есть Советам христианских общин. Поверьте, что эти христианские общины, тесно организованные, даже в колхозах были бы полезнее того сброда людей, которые ныне и явно и тайно и днем и ночью только вредят делу... Ныне... на родине научного социализма (в Германии.— М. П.) по распоряжению начальства жгут сочинения Маркса и Энгельса. Я серьезно прочитал многие сочинения Маркса и Энгельса, и Каутского, и Ленина, и Плеханова. И многому у них научился. Поэтому могу сказать, что в ответ на дикую немецкую выходку русские социалисты должны ответить нравственным оправданием социализма. Это нравственное оправдание социализма может дать Собор честных христиан... Вы как Председатель Совнаркома имеете полную возможность поставить этот вопрос о Соборе на почву практического осуществления... Коммунизм имеет крупный недостаток — отсутствие нравственного оправдания, он силен только грехами плутокра-

тии, которыми искусно пользуется. И этот крупный недостаток должен быть восполнен. Вы сделаете огромный подвиг, если сделаете это».

Архиепископ Андрей (Ухтомский) погиб, так и не добившись христианизации сталинского государства. Идея его оказалась более живучей. Десять лет спустя после письма епископа Андрея Молотову Лука Войно-Ясенецкий снова прекраснодушно надеется дополнить Советскую власть идеями братства и любви. Скорей всего Лука не знал о письме Андрея. Но, если бы и знал, это едва ли изменило бы его позицию. Соблазны не только живучи, но и въедливы. Не знал Епископ Красноярский и другого: в 1943 году пора соблазнов для него только начиналась...

Зато вчерашний митрополит Сергий хорошо знал, ради чего он облачен в одежды Патриарха. В первый же день своего полновластия он предложил семнадцати избравшим его епископам подписать еще один документ: церковное проклятие тем русским людям, которые «встречают немцев как желанных гостей, устраиваются к ним на службу и иногда доходят до прямого предательства...». Епископы охотно приложили руку к новому документу. Газета «Известия» известила о нем подзаголовком «Осуждение изменников вере и отечеству». Теперь уже ни у кого нет сомнения: православная вера и советское отечество окончательно слились воедино. «Всякий виновный в измене общецерковному делу и перешедший на сторону фашизма, как противник Креста Господня, да числится отлученным» [38].

Современники оценили этот документ как верх патриотизма, как свидетельство того, что Церковь не оставила народ российский в дни великой войны.

Но так уж устроено в этом мире: даже в самых хитро составленных исторических документах время высвечивает, проявляет подлинную сущность. Предкам ничего или почти ничего не удается скрыть от потомков о своих предательствах и злодеяниях. Подшивки старых газет, официальные указы, приказы и постановления неизменно превращаются с годами в обвинительные акты против породившей их эпохи.

Всего два года с небольшим пройдет после торжественного Собора епископов, и подозрение в предательстве, в сношениях с фашистами падет на целые народы, на миллионы людей, оставшихся на захваченной врагом территории. Не разбираясь в личных обстоятельствах, но зато прислушиваясь к любому навету, власти станут хватать, судить бессудным судом «троек» и высылать невинных людей целыми эшелонами. Два десятилетия будут потом оставаться все эти миллионы на положении граждан второго сорта. Пометка «из оккупированных» закроет им путь к образованию, к продвижению по службе. А для иных пометка эта обернется годами тюрьмы, лагерей. Сталинский аппарат насилия будет действовать при этом, меньше всего, конечно, памятуя церковное проклятие «изменникам», которое провозгласили семнадцать епископов. Но теперь мы знаем: епископы тоже приложили руку к массовым репрессиям. И среди них Лука Красноярский.

Не по исторической случайности, не по недоразумению, но вполне закономерно это произошло. Ибо, смешав дела церковные с государственными (кто по расчету, а кто по наивности и политическому недоумию), превратили себя епископы в чиновников государевых. А уж дальше пошло-поехало само собой. Чиновник — он себе не хозяин, он и с добрыми-то намерениями что ни день зло творит. А если у него при этом еще и личный интерес есть, то и вообще — берегись округа. Сталин приказал Патриархии пугнуть своих подданных, пребывающих на занятой немцами территории,— епископы пугнули. И не подумали даже, во что сей «испуг» обойдется народу. Ибо чиновник есть чиновник — в мундире, рясе ли — безразлично, и единственное назначение его — не рассуждать и выполнять.

А Лука? Ведь он-то не искал личных выгод? Не искал. Его и поймали на другом. Двадцать лет кряду силен был профессор-епископ единым принципом: «Что хорошо для Церкви, то хорошо и для меня». Во имя этой идеи — хоть на смерть. И вот она взошла из-за горизонта, как солнце утреннее,— его Церковь, взошла и ослепила. Не увидел, а ведь умом не обделен был, что от

идеала-то его только название осталось. Имя, а не суть. А между тем как раз с высшего торжества Церкви, с Собора, с избрания Патриарха начиная, стала расти и шириться научная и архиерейская слава Луки. В душе Войно эти два обстоятельства сплелись так тесно, что бесповоротно уверовал он: началась эпоха справедливости, власть, возлюбившая Церковь, и его награждает за подлинные его научные заслуги и праведную жизнь. А коли так, то всеми силами надо послужить этой власти, стране, Сталину.

То была аберрация, политические жесты вождя вызвали у Луки Войно-Ясенецкого некое искривление зеркала жизни. Из-за этого порока не мог он разобраться в простой механике сталинского режима: вождь никому не воздавал по труду и таланту, гении и бездарности равно получали от него плату только за личную преданность, только за пользу, приносимую его личной власти. Талантливый хирург Войно-Ясенецкий интересовал Сталина не больше прошлогоднего снега, но профессор-епископ — фигура, которую легко можно приспособить для политических целей («Что вы там говорите о несвободе религии в СССР?»)— это уже товар, такого надо приласкать.

Хочу оговориться: безраздельное слияние самых затаенных внутренних идеалов с идеалами государственными произошло в душе Войно не враз, не в один день. В 1941 году в Красноярске, зайдя в комнату хирурга-консультанта, доктор В. А. Клюге заметил на стене, рядом с изображением Божьей Матери, небольшой портрет Ленина. Это странное соседство заставило Клюге задать Луке резонный вопрос:

— Вы считаете Ленина гениальным?

— Да,— ответил Лука.

— Но ведь Ленин отрицал религию. Как вы совмещаете эти факты?

— Они, большевики, даже он, не способны были понять смысл религии. Так дальтоник не различает цвета. Их следует пожалеть за это.

Продолжая разговор, Лука указал на книгу, лежащую на столе: Емельян Ярославский. «Коммунизм и религия».

— Вот, изучаю противника. Впрочем, что его изучать,— не знает он Писания. Ничего не знает.— И вдруг горячо, как о самом сокровенном: — Как они не понимают, что религия, как ни одно другое учение, поднимает человека в нравственном отношении? Чем заменить ее? Нечем! Пока, кроме разрушения нравственного облика человека, мы ничего вокруг себя не видим...

Вскоре, однако, портрет дальтоника Ленина со стены исчез. Зато сотрудница госпиталя 1515 К. Н. Попова (Спиридович) увидела в комнате хирурга-консультанта два портрета Сталина. Один маленький — на столе, второй, побольше,— в углу. Между эпизодом, который описывает доктор Клюге, и фактом, засвидетельствованным Спиридович, прошло два года. Отчего же изменились за это время вкусы архиепископа Луки? Осенью 1942 года митрополит Сергий прислал ему первое за многие годы письмо, и началась их длившаяся почти год переписка. Мне не удалось познакомиться с этими письмами: в Патриархии выдать их отказались. Но несколько слов самого Войно-Ясенецкого дают представление о том, кто кого и чему в тех письмах поучал.

«В 1942 году имел я с ним (Сергием) большую переписку по основным вопросам современной жизни, и его письма часто удивляли меня глубиной и верностью понимания сущности христианства, знанием Священного Писания и истории Церкви. Некоторые из них даже можно назвать небольшими богословскими трактатами. Не во всем он соглашался со мной, и часто я должен был признать его большую правоту».

Нетрудно догадаться, что поборник компромиссов убеждал в своих письмах «непокорного» Луку в том, что надо смириться, надо наладить отношения с властью на любых условиях. Митрополиту, который в 1942 году в своей почетной ульяновской ссылке еще не знал, чем кончится его торг со Сталиным, такие люди, как Войно-Ясенецкий, были необходимы. И надо полагать, он вложил всю свою эрудицию, применил все присущее ему дипломатическое мастерство, чтобы обаять Луку, поразить его воображение примерами благодетельной «икономии» в прошлые времена. «Воспитание по почте» не прошло бесследно. Войно про-

никся глубоким почтением к Сергию, признал его «большую правоту», а позднее ради пользы и процветания Православной Церкви стал вернейшим сподвижником Патриарха и верноподданным сталинской империи.

Окончание ссылки, новое, возникшее после Собора общественное положение позволили Епископу Красноярскому начать хлопоты о переводе из Сибири. Южанин, он давно уже тосковал по теплу, солнцу, фруктам. Но в Среднюю Азию возвращаться не хотел. Теперь Ташкент представлялся ему хирургической и церковной глушью. Но прежде чем вырваться на Запад, пришлось выдержать «сражение» с красноярцами. Должностные лица ни за что не хотели расставаться с Лукой: он стал своеобразной местной достопримечательностью. Осенью 1943 года ему стараются угодить и гражданские и военные власти. В списке лучших врачей края фамилия Войно-Ясенецкого стоит на первом месте. О еще большем расположении местного начальства свидетельствует «Список научных работников, получающих дополнительное снабжение через горторготдел». Двадцатым в списке осчастливленных стоит Лука. Впрочем, не станем иронизировать: блага горторготдела, а по существу, закрытого распределителя, могли получать во время войны только лица, действительно приближенные к власти. Прикрепление к горторгу означало в те времена значительно больше, чем орден или ученое звание. Благоволили к хирургу не только краевые тузы, но и рядовые пациенты. С полным правом Лука мог писать в своих мемуарах: «Когда я обходил палаты по утрам, меня радостно приветствовали раненые. Некоторые из них, безуспешно оперированные в других госпиталях по поводу ранения больших суставов, излеченные мною, неизменно салютовали мне высоко поднятыми прямыми ногами». И все-таки он решил перебираться поближе к столице.

Заявления поданы. Лука ждет. «Нарком Третьяков исключительно хорошо отнесся ко мне. Очень вероятно, что скоро переведут меня в Москву или в Горький»,— сообщает он сыну. И через несколько дней снова: «Проф. Приоров говорил, что вполне возможно открытие для меня в Горьком филиала ВИЭМ». Проблема перевода несколько месяцев согласовывается между Патриархией и Наркомздравом. Наконец обе стороны договорились: «Намерены перевести Вас в Тамбов,— протелеграфировал нарком Третьяков,— широкое поле деятельности в госпиталях и крупной больнице». Одновременно Патриарх Сергий специальным Указом назначает Луку Архиепископом Тамбовским и Мичуринским.

Переезд состоялся в феврале 1944 года. «Город недурной, почти полностью сохранивший вид старого губернского города,— писал Лука сыну.— Встретили меня здесь очень хорошо, мои операции производят большую сенсацию. По просьбе Президиума (очевидно, Президиума Хирургического общества.— М. П.) я сделал доклад об остеомиелите на окружной конференции Орловского военного округа. Выступал и заседал на президиуме в рясе, с крестом и панагией».

Но если дела медицинские в Тамбове сразу пошли хорошо, то церковные сначала не ладились. В Тамбовской епархии, где до революции числилось сто десять приходов, осталось теперь две церкви. Тамбовский храм, долгие годы содержавший под своей кровлей рабочее общежитие, доведен был до последней степени запустения. Обитатели его, стихийные атеисты, раскололи иконы, сломали и выбросили иконостас, начертали на стенах углем и мелом выражения, какие не сыщешь ни в одном учебнике риторики. Тамбовские священники и дьяконы также давно сменили профессию, подавшись на мирские должности. Лука без жалоб принял наследие атеистов, начал ремонтировать храм, собирать причт, вести службы, совмещая церковный труд с госпитальными обязанностями. Двуединая жизнь, еще более напряженная, чем в Красноярске, остро пульсирует в его тамбовских письмах. Ведь на попечении Тамбовского Архиепископа теперь находится 150 госпиталей, от пятисот до тысячи коек в каждом. Консультирует он также хирургические отделения большой городской больницы. На пороге семидесятилетия этот безотказный труженик готов работать хоть сутки подряд. «Приводим церковь в благолепный вид... Работа в госпиталях идет отлично, зреет монография о лечении хронических огнестрельных эмпием плевры. Читаю лекции врачам о гнойных артритах... Свободных дней почти нет. По субботам два часа

принимаю в поликлинике. Дома не принимаю, ибо это уже совсем непосильно для меня. Но больные, особенно деревенские, приезжающие издалека, этого не понимают и называют меня безжалостным архиереем. Это очень тяжело для меня. Придется в исключительных случаях и на дому принимать».

Есть, впрочем, еще одна сторона переживаний, в которой накал чувств архиепископа также усиливается с каждым месяцем. Я говорю о его мирской славе. И если быть искренним до конца, то невозможно даже с уверенностью сказать, что растет быстрее: слава ли Войно-Ясенецкого или высокое его о себе мнение.

Это все тот же соблазн «высшей справедливости», который определяет его отношения со Сталиным. Он упорно повторяет в письмах, что слава его принадлежит Церкви. Лично ему она не нужна, не интересна. И все же кариес тщеславия прогрызает дупло в неизменно аскетической натуре профессора-епископа.

«Монография моя о суставах уже вышла... Издана хорошо, «Очерки» в наборе. В них будет 65 (печатных) листов. В Медгизе решили исключить из книги предисловие Левита и Мануйлова, так как считают, что моя книга не нуждается ни в каком предисловии и никто не вправе его писать».

Кажется, сильнее не скажешь, но в начале 1945 года в письме к родным возникает еще более высокая нота: «Множество поздравлений отовсюду: Патриарх, митрополиты, архиереи (далеко не все, так как не знают моей фамилии), Карпов, Митерев, Третьяков, Академия медицинских наук, Комитет по делам высшей школы, Богословский институт, профессора и проч. и проч. Превозносят чрезвычайно... Моя слава — большое торжество для Церкви, как телеграфировал Патриарх» [39].

Речь идет о Сталинской премии. Разговоры о ней начались еще в 1943 году. Но только в январе 1945 года профессор Кассирский А. И. напечатал в «Медицинском работнике» хвалебную статью о научных трудах В. Ф. Войно-Ясенецкого и публично сообщил о присуждении за них Сталинской премии. Прошел, однако, еще год, прежде чем денежная часть премии и диплом были вручены наконец лауреату-епископу. В связи с этим «Журнал Московской Патриархии» опубликовал в феврале 1946 года три следующих документа:

«Из Тамбовской епархии

Войно-Ясенецкому, Валентину Феликсовичу, профессору, консультанту-хирургу эвакогоспиталей Тамбовского областного отдела здравоохранения за научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений, изложенных в научных трудах «Очерки гнойной хирургии», законченных в 1943 году, и «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов», опубликованном в 1944 году, присуждена Сталинская премия первой степени в размере 200 000 рублей».

«Москва. Генералиссимусу И. В. Сталину

Прошу Вас, высокочтимый Иосиф Виссарионович, принять от меня 130 000 рублей, часть моей премии Вашего славного имени, на помощь сиротам, жертвам фашистских извергов.

Тамбовский Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий,
профессор хирургии».

«Тамбов, тамбовскому архиепископу Луке Войно-Ясенецкому, профессору хирургии

Примите мой привет и благодарность Правительства Союза ССР за вашу заботу о сиротах, жертвах фашистских извергов.

Сталин».

После таких известий шквал признания достиг штормовой силы. «Сегодня подтвердилось мое мнение, что я не малый козырь для нашего Правительства,— пишет Лука сыну.— Приехал специально посланный корреспондент ТАСС, чтобы сделать с меня портреты для заграничной печати. А раньше из Патриархии просили прислать биографию для Журнала Патриархии и для Информбюро. Два здешних художника пишут мои портреты. Только что вернувшийся из Америки Ярославский Архиепископ уже читал там в газетах сообщения обо мне, как

об архиепископе — лауреате Сталинской премии... Завтра приедет из Москвы скульптор лепить мой бюст. В майском номере Журнала Патриархии будет напечатана моя биография. Кассирский называет мою книгу классической и говорит, что она, как книги Приорова и Павлова, будет перечитываться и через пятьдесят лет».

Когда события достигают столь высокого напряжения, то по законам энергетики за высшей точкой неизбежно должен наступить спад. Это равно относится к электрическим сетям, к машинам и к людским судьбам. Не избежал общей участи и Архиепископ Тамбовский. Апрель 1946 года стал кульминацией его общественной карьеры.

Приостановимся и мы. Отложим в сторону архивные дела, газетные публикации и правительственные телеграммы и попробуем прислушаться к тому, что зовется гласом народным: взглянем на жизнь Луки Войно-Ясенецкого глазами тамбовских обывателей, с которыми прожил он бок о бок почти два с половиной года.

Московский поезд приходит в Тамбов утром. Выхожу на привокзальную площадь. Солнце. Лужи. Апрель. В записной книжке у меня несколько нужных адресов, но сразу браться за дела в это великолепное утро не хочется. Тем более что в Тамбове я впервые. Распахнув пальто, без всякого плана отправляюсь шагать по улицам. Передо мной тот самый «губернский» город, который на четверть века раньше описывал в письмах к родным архиепископ Лука.

Спускаюсь к берегу не слишком многоводной Цны. Когда, нагулявшись по набережной, я поднялся чуть повыше и обнаружил над рекой красивую каменную церковь, народу в ограде оказалось много. Букетики распустившейся вербы в руках прихожанок напомнили, что сегодня Вербное воскресенье. Мужчины и женщины только что вышли от утренней службы. Водопад полуденного весеннего света остановил их. Люди, весело щурясь, топтались на месте. Им явно не хотелось покидать залитый солнцем сухой церковный двор. Одни присели на лавочки, другие, продолжая блаженно жмуриться, привалились к нагретой кирпичной стене. Разговор о Луке начался как-то сам собой. Я спросил о нем двух женщин, которые показались мне постарше. Придвинулись и остальные. Желающих вспомнить и послушать о любимом Владыке нашлось много.

Никто не дирижировал импровизированным оркестром человеческих воспоминаний. Каждый рассказывал то, что хотел. Нередко одни воспоминания противоречили другим, и тогда возникали споры. Легенды перемежались с былью, житийное с житейским. Но в каждом эпизоде он оставался собой: кремневый старик, с непомерной гордостью, чья мудрость нередко оборачивалась детской наивностью или столь же непомерной душевной щедростью. Да, это был Лука, тот самый, что писал: «Только теперь в Тамбове я чувствую себя в полной мере архиереем, и все мое поведение изменяется соответственно этому».

«Приехал он к нам в самом начале 1944 года. Но сначала не было у него облачения для службы. Прислали ему облачение перед Великим Постом. Он служил первый раз и обратился к верующим с кратким словом: «После долгого духовного голода мы сможем снова собираться и благодарить Бога... Я назначен к вам пастырем». Потом благословил каждого человека в храме. Теперь этого нигде не увидишь. Не только епископы, но и священники порознь прихожан не благословляют».

«Жил Владыка на Комсомольской улице у Зайцевых. Там и столовался. Хозяева к нему не то чтобы худо, но как-то равнодушно относились: то мыло у него кончится — без мыла сидит, то гребешок сломается; то пищу ему подадут не подходящую для его здоровья. Владыка никогда не жаловался, но мы, ближние, знали...»

«У нас весной и осенью — грязища непролазная. А у Владыки — ни машины, ни лошади. Старенький уже был, идет один по грязи-то — горько смотреть. Случалось, и падал...»

«Я к нему ходила комнату убирать, стирала ему. Недновато жил. В доме одни книги...»

«Ну что, если книги? Они и в богатстве, и в бедности нужны. Библиотеку ему монахиня Любовь оставила. Из князей Ширинских-Шихматовых она была. В Тамбове и ссылке находилась. Владыка с книгой начинал день, с книгой да с молитвой и кончал».

«Одна женщина-вдова стояла возле церкви, когда Владыка шел на службу. «Почему ты, сестра, стоишь такая грустная?» — спрашивает Владыка. А она ему: «У меня пятеро детей маленьких, а домик совсем развалился». «Ну, подожди конца службы, я хочу с тобой поговорить». После службы повел он вдову к себе домой, узнал, какие у нее плохие дела, и дал деньги на постройку дома».

«Ну вот, а вы говорите — бедный. На дом-то он, поди, не десятку дал...»

«Так это он уже после премии Сталинской. Он тогда двести тысяч получил. Сто тридцать — на сирот государству, шестьдесят тысяч детям своим раздал, а десять тысяч бедным. Себе-то ни полушки не оставил. Все людям».

Сначала, как и в Туруханске, и в Большой Мурте, они кажутся мне неразличимыми, эти пожилые мужчины в старомодных картузах, женщины в черных и белых платочках. Но постепенно вместе с характером Тамбовского архиерея начинают проступать для меня и черты его прихожан. Наиболее приметной оказалась та, что вступилась за книги архиепископа,— крупная, сердечно-отечная старуха с низким голосом и властными интонациями. Она же и про деньги сказала — куда сколько пошло. Бывший главный бухгалтер Ольга Владимировна Стрельцова при более близком знакомстве явила личность недюжинную. Начитана, но читает в основном литературу духовную. Мир видится ей в основном в мистических красках. В 1954 году, когда Владыка ослеп в Симферополе, ей являлась предупреждением Божья Матерь. А когда Лука умирал в 1961-м, то на рассвете того дня ей как будто кто-то по телефону об этом сказал, хотя никакого телефона у нее дома нет. При всем том Стрельцова вполне земной человек: она и быт Луки в Тамбове организовала, и книги его — двенадцать ящиков — своими руками увязала в дорогу, когда он уезжал. И даже до нового места службы его проводила в Симферополь. Если судить по голосу и по повадкам Ольги Владимировны, подумаешь: большая барыня. А живет эта «барыня» на грошовую пенсию в нищенском, полуразвалившемся домишке. Одно хорошо — церковь рядом. Без церкви жизни для нее нет.

Своим низким решительным голосом, будто с кем-то споря, рассказывает она, что проповеди Луки привлекали в церковь много врачей, библиотекарей, учителей. Проповеди записывала в храме учительница английского языка, очень преданная Владыке Наталья Михайловна Федорова. Потом другая прихожанка-машинистка перепечатывала проповеди на папиросной бумаге и раздавала верующим. Проповедей тамбовских, числом семьдесят семь, набрался целый том. После отъезда Владыки интеллигенция к церковной службе охладела, но и сейчас кое-кто из врачей и учителей бывает в храме.

Рядом с величественной Стрельцовой протодьякон о. Василий (Василий Иванович Малин) почти незаметен. Но, когда старуха отходит, он становится главной фигурой беседы. Это он о первой церковной службе Луки в Тамбове рассказал. Владыка собственноручно его в 1945 году в дьяконы рукоположил. Теперь о. Василию семьдесят лет. Голова ослепительно седая, но в остальном — ничего стариковского: ладно скроен, несуетлив, ярко-карие глаза смотрят серьезно и дружелюбно. Красив той редкой духовной красотой, которая приводит на память картины Нестерова. Настоящий нестеровский отрок в старости.

В Луке Малину более всего импонируют строгость, требовательность, порядок. Протодьякон рассказывает: был среди прихожан пожилой человек, кассир, Фомин Иван Михайлович. Читал на клиросе часы. Читал плохо, неверно произносил слова, Лука несколько раз его поправлял. Однажды после службы, когда Владыка в пятый или шестой раз объяснял упрямому кассиру, как произносятся некоторые церковнославянские выражения, произошел между ними разлад. Лука темпераментно размахивал богослужебной книгой и, очевидно, задел Фомина. Тот возмутился, сказал, что архиерей ударил его, и демонстративно перестал посещать церковь.

Дойдя в рассказе до этого места, о. Василий виновато улыбнулся, давая понять окружающим, что все дальнейшее есть проявление слабости пастыря,

слабости, к которой следует, однако, отнестись снисходительно. А случилось вот что. Надев крест и панагию, глава Тамбовской епархии через весь город отправился к обиженному прихожанину просить прощения. Фомин не принял архиепископа. Владыка снова пошел к нему и снова не получил прощения. Кассир буквально издевался над своим поверженным противником. «Простил» он Луку лишь за несколько дней до отъезда епископа из Тамбова.

Слушатели восприняли эпизод молча. По лицам видно: тамбовские прихожане сочли, что глава епархии не должен так унижать свое достоинство. Отец Василий тоже закусил губу: понял настроение народа — напрасно он выставил своего архиерея в столь невыгодном свете. А мне, наоборот, эпизод показался очень важным. И не в конфликте дело, конфликт яйца выеденного не стоил. Существенно зато поведение Луки. Нелегко, значит, быть архиереем в полной мере. Владыке с его гордым и независимым характером было не просто тяжело, а, вероятно, мучительно просить прощения у маленького областного казначея. Цену этому казначеишке он, конечно же, знал. И все-таки ходил, просил. Не слабость, а силу проявил при этом Лука Тамбовский. Noblesse oblige — положение настоящего архиерея обязывало смирять себя. И он смирился. На это, как известно, не каждый способен...

В этот солнечный весенний день, менее всего как будто подходящий для религиозно-нравственных раздумий, мне трижды пришлось возвращаться к вопросу о гордости и смирении архиепископа Луки. Несколько человек из тех, что окружали меня на церковном дворе, просили зайти к ним домой. Очень худенькая, в потертом пальтеце, немолодая женщина шепнула: «Не про все хочется говорить при посторонних». И вот я в гостях у Борисовых. Скрипучие лестницы ветхого двухэтажного дома (уж я не знаю, есть ли в Тамбове другие жилища!), щелявые полы, неплотно затворяемые двери. Софья Ивановна — учительница. Ее муж Илья Яковлевич—инженер. Обоим под шестьдесят. Коренные тамбовские жители, хотя по крови она немка, а он русак. Добрые, милые люди. В изящном голубоглазом личике хозяйки девичий облик как-то странно перемешался со старческим. А движения легкие, порывистые — совсем девочка. И душа под стать телу: легка и обитает в основном в духовных эмпиреях литературы и религии. Муж тоже из породы мечтателей, но на иной манер. О таких писал Андрей Платонов. Работает инженер Борисов на котельно-механическом заводе. Изобретатель-рационализатор. Имеет авторские свидетельства. Но среди зубчатых передач и рычагов ему тесно. Тянет к проектам философическим и фантастическим. Уже много лет посылает свои сочинения в Москву. Последние относятся к влиянию любви супругов на качество потомства (послано в Президиум Академии наук СССР и Комитет по науке и технике при Совете Министров СССР). Московские инстанции отвечают неохотно, но Илья Яковлевич незлобив и надеется все-таки послужить Отечеству как мыслитель и изобретатель.

С Лукой свел Борисовых один случай. Софье Ивановне желательно стало покинуть веру отцов-лютеран и перейти в православие. Владыка пригласил ее к себе в дом, душевно побеседовал, подготовил к переходу в православную веру. Как всякий неофит, она превратилась в одного из самых преданных «ближних», а после отъезда Луки долго с ним переписывалась. Преклонение Софьи Ивановны и доныне безгранично. И все-таки однажды она восстала против архиерейского авторитета. В конце 1944 года в одной из проповедей Войно сказал, что немецкие зверства неслучайны, что жестокость присуща немецкому народу в целом; эта национальная черта уже не раз выявлялась у немцев в прошлые столетия и отражает, так сказать, дух германского народа. Потомок честных прибалтийских рестораторов, аптекарей и коммерсантов, Софья Ивановна почувствовала себя уязвленной. Преодолев смущение, она подошла после проповеди к Владыке и заявила ему, что немцы, как и русские, бывают всякие. И никакого жестокого немецкого духа она не знает. Лука молча выслушал укор и молча же покинул храм. А через несколько дней при большом стечении народа сказал прихожанам, что обнаружил в прошлой своей проповеди недопустимую ошибку. Неправильно говорить о жестоком характере всех немцев вообще. Он просит тех,

кого это его замечание обидело, если можно, простить его. Впредь он будет обдумывать свои проповеди более серьезно.

В тот же день случилось мне услыхать и третью историю о смирении Тамбовского архиерея, но не от верующих христиан, а из уст атеистов-евреев. Иезекиль Моисеевич Берлин и жена его Ида Абрамовна Юровицкая — в Тамбове люди известные. Во время войны она была главным хирургом госпиталя на 1500 коек, а он заведовал отделением в больнице. До глубокой старости оба хирурга сохранили не только свежесть ума, но и критическую, я бы даже сказал, аналитическую манеру мышления. В Войно-Ясенецком им, например, нравилось далеко не все. Лука приехал в Тамбов с сильно ослабленным зрением. Случалось, за ним замечали неаккуратность, хирургу непростительную. Те излишние разрезы, которые в прошлом вызывали восхищение, не всегда теперь у него получались. Да и операции у раненных в грудь тоже выходили теперь не лучшим образом. Правда, больные с эмпиемами[40] — вообще крест хирургов, а хирургическое вмешательство с удалением ребер и внутренних рубцов, так называемая декортизация, относится к наиболее сложным операциям, но Лука оказался настолько неудачливым, что ему пришлось вообще прекратить такие операции и даже покинуть торакальный госпиталь.

О провале своего коллеги старые врачи говорят с сожалением. Они охотно признают, что в гнойном отделении областной больницы тот же Войно-Ясенецкий поражал всех своими великолепными и абсолютно оригинальными операциями при остеомиелите. Рассечение тканей проводил он так анатомично, что ассистенту почти не приходилось пользоваться зажимами: Лука никогда не ранил крупных сосудов. Говорил даже, что не хирургу надлежит бояться кровотечения, а кровотечение должно бояться хирурга.

Но, как это ни странно, особенно тронуло сердца моих собеседников событие, к медицине никакого отношения не имеющее. Весной 1944 года, вскоре после приезда Луки в Тамбов, состоялся областной съезд медицинских работников. Войно пригласили в президиум, он сделал полуторачасовой доклад по гнойной хирургии, который очень всем понравился. (Публика изумлялась: «Без бумажки — и так складно»). Съезд проходил в здании областного театра, и доктор Берлин, пользуясь положением организатора съезда, пригласил Войно-Ясенецкого посмотреть вместе с другими врачами пьесу «Кремлевские куранты». Обычно Лука в театр и кино не ходил, но на этот раз поддался уговорам. Может быть, потому, что почувствовал общее к себе доброжелательство и симпатию. У Берлина сохранилась фотография: театральный зал, переполненный военными и гражданскими медиками, а в первом ряду, перед самой сценой, в черной рясе, в черной то ли камилавке, то ли академической шапочке, близоруко щурится Лука. Пьеса ему как будто понравилась.

Про то, что произошло позднее, Иезекиль Моисеевич и Ида Абрамовна узнали от своих русских друзей. Уже на следующий день три молодые прихожанки-медички заявили своему пастырю неудовольствие. Он не должен был в духовном облачении появляться в театре. Такое его поведение разочаровывает верующих. Нельзя клеймить в проповедях чужие соблазны и соблазняться самому. Суждение трех медсестер, юношески бескомпромиссное и в чем-то даже жестокое, Луку поразило. Поразил не факт замечания, а сущность их претензий: если ты монах, то и веди себя как монах. Событие это совпало с большим праздником (Троицей.— М. П.). Лука явился в переполненный людьми храм и заявил собравшимся, что он не считает себя больше достойным оставаться пастырем и отказывается вести праздничную службу. В городе потом передавали его слова: «Вот я стою перед вами без панагии и прошу у вас прощения... Верните мне ваши сердца...» Что произошло потом, мои собеседники не знают. Очевидно, прихожане принялись упрашивать архиерея не придавать случившемуся большого значения. По другой версии, народ в храме повалился перед Владыкой на колени. Известно лишь, что Лука направился в алтарь, надел на себя знаки архиерейского достоинства и служил. Авторитет его среди верующих возрос еще больше.

Я ожидал, что собеседники мои завершат рассказ замечанием о «странностях Тамбовского Владыки». Можно было представить даже, что чуть циничные, как многие хирурги, они станут иронизировать о влиянии театральной драматургии на драматургию церковную (такую шутку отпустил мне на следующий день бывший тамбовский облздрав — доктор А. С. Гаспарян). Но Иезекиль Моисеевич и Ида Абрамовна, атеисты с более чем шестидесятилетним стажем, взглянули на давний эпизод иначе. Что-то привлекательное почудилось им в той ситуации. Признанный глава местного церковного мирка, вознесенный властями хирург-профессор, не только выслушал мнение простых людей, не только принял к сведению их неодобрительное о себе мнение, но и готов был под давлением общественности уйти в отставку.

...Полная официальная подпись архиерея начинается со слова «смиренный». Смиренный Архиепископ Лука... Встречи в Тамбове (я пробыл там три дня) подтверждали как будто: на новом месте в полном соответствии со своим саном и подписью Лука обуздал, смирил свой характер. Прихожане и коллеги-врачи запомнили его как человека доброго, житейски разумного, всегда готового признать свою неправоту или ошибку. Я даже нашел, как мне показалось, верное истолкование этой новой черты его. Лука добился наконец всего, чего хотел: ему позволили совместить архиерейство с хирургией. Его заслуги в обеих ипостасях признаны. Возникла душевная гармония, которая пресекла все и всякие конфликты. Смирение по отношению к Богу и людям — естественная благодарность за оказанное благодеяние. Стройно получалось. Но просуществовала эта стройность недолго. И рухнула вот при каких обстоятельствах.

В Тамбове меня интересовала судьба городского собора. Лука несколько раз упоминал про этот собор в письмах к сыну. В феврале 1944 года тотчас после приезда в Тамбов: «Почти наверное отдадут нам большой двухэтажный собор». В мае: «Отказали в Москве открыть у нас собор, и это большое огорчение для меня». В июне: «Большая радость: Карпов сказал мне, как о решенном деле, что будет открыт собор или другой большой храм в Тамбове». Но очень скоро радость сменилась в нем огорчением: «Карпов твердо обещал мне открыть собор, а здешний уполномоченный говорит, что ему ничего не известно». И наконец 10 августа все того же 1944 года: «Собор будет открыт только по ходатайству верующих, но нет до сих пор инициаторов, все боятся». Эти письма написаны в пору самой нежной дружбы Сталина с Церковью. В месяцы, когда и архиепископ Лука — член Синода — кое-что весил в глазах Совета по делам Православной Церкви. Как же объяснить упорство, с которым власти водили за нос Тамбовского архиерея и его паству? Ответить мог только один человек — тогдашний секретарь епархии Иван Петрович Леоферов, о. Иоанн. Но Леоферов давно покинул Тамбов. Рукоположен в епископы и под именем Владыки Иннокентия занимает кафедру в Калинине (Твери). Вернувшись в Москву, звоню по телефону в Калинин. Владыка разрешает приехать. До бывшей Твери электропоездом теперь всего три часа ходу. Улица Софьи Перовской, 11. Епархия. Полутораэтажный домик без всякой вывески. Хитро запрятанный дверной звонок [41].

Архиепископ Иннокентий — рыхлый старик, в толстых, скрывающих глаза очках — оказался неожиданно владельцем сильного, волевого голоса и хорошей дикции. Под стать голосу и суждения — четкие, без воды и трусливых уверток. Да, Председатель Совета по делам Русской Православной Церкви Карпов хотел открыть собор в Тамбове, но тогдашний председатель облисполкома Козырьков и первый секретарь обкома партии Волков — комсомольцы двадцатых годов — всячески этому сопротивлялись. Козырьков, впрочем, вскоре умер. Владыка Лука диагносцировал у него неоперабельный рак желудка. Но Волков так до конца войны и не допустил, чтобы в городе открыли второй храм. А после войны в Москве об этом больше не заикались. Козырьков Иван Трофимович, кстати сказать, относился к Владыке неплохо, но рассматривал его только как медика, случайно попавшего в «церковный омут». Однажды, еще до болезни, он пригласил Луку к себе в кабинет и, желая выразить ему расположение, спросил:

— Чем вас премировать за вашу замечательную работу в госпитале?

— Откройте городской собор.

— Ну нет, собора вам никогда не видать.

— А другого мне от вас ничего не нужно,— ответил Лука и покинул облисполком.

С новым председателем, который сменил Козырькова, произошла у архиерея стычка еще более резкая. В конце 1945 года дана была команда награждать церковный люд. В середине декабря Лука и его секретарь получили приглашение явиться в облисполком, где по случаю торжества собрались руководители города, уполномоченный по делам Церкви и представители городской медицины. Началось все очень чинно. Председатель облисполкома поблагодарил в своей речи профессора Войно-Ясенецкого за успехи в лечении воинов и обучении медицинского персонала. За врачебную и педагогическую деятельность профессору вручалась медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Леоферову такая же медаль была вручена за патриотические проповеди и за сбор пожертвований на танковую колонну. После вручения медалей председатель добавил также, что хотя труд Войно как консультанта эвакогоспиталя завершен (госпитали эти осенью 1944 года покинули Тамбов и двинулись дальше на запад), но он надеется, что профессор и впредь будет делиться своим большим опытом с медиками города.

Если бы устроители торжества знали содержание ответного слова архиепископа Луки, то, очевидно, вообще отказались бы от церемонии. Раздосадованный ничтожностью награды и тем, что она дана ему лишь как врачу, Лука сказал следующее: «Я учил и готов учить врачей тому, что знаю; я вернул жизнь и здоровье сотням, а может быть, и тысячам раненых и наверняка помог бы еще многим, если бы вы (он подчеркнул это «вы», давая понять слушателям, что придает слову широкий смысл) не схватили меня ни за что ни про что и не таскали бы одиннадцать лет по острогам и ссылкам. Вот сколько времени потеряно и сколько людей не спасено отнюдь не по моей воле». У областного начальства реплика вызвала род шока. Какое-то время в президиуме и в зале царила тягостная тишина. Потом, кое-как придя в себя, председатель залепетал, что прошлое пора-де забыть, а жить надо настоящим и будущим. И тут снова раздался басовитый голос Луки: «Ну, нет уж, извините, не забуду никогда!»

По пути домой Владыка, все более раздражаясь, отдал секретарю злополучную медаль со словами: «Идите назад и скажите им, что такие награды дают уборщицам. Ведущему хирургу госпиталя и архиерею полагается орден». Леоферов утверждает, что ему так и не удалось после того получить аудиенцию у председателя облисполкома. Но похоже, что секретарь епархии не решился передать властям еретические речи своего начальника. Отказываться от награды, дарованной государством,— в 1945 году об этом никто и помыслить не смел [42].

Как видим, преосвященный упрямец вовсе не был столь смиренным, как показалось тамбовской пастве, знавшей его лишь в церкви и в быту. Опять эта «текучесть» человеческой натуры? Первый биограф Луки Войно-Ясенецкого, митрополит Куйбышевский Мануил так и полагает.

«О характере арх. Луки,— писал он,— существовали самые разноречивые отзывы. Говорили о его спокойствии, скромности, доброте и в то же время его высокомерии, неуравновешенности, заносчивости, болезненном самолюбии. Прожив долгую, сложную жизнь, он, очевидно, проявлял себя по-разному. Возможно, что громадный его авторитет в области хирургии, привычка к безусловному повиновению окружающих, особенно во время операции, создали у него нетерпимость к чужим мнениям, даже в тех случаях, когда его авторитет вовсе не являлся непререкаемым... Словом, это был человек с неизбежными у человека недостатками, но в то же время стойкий, гибкий и глубоко верующий».

Митрополит Мануил во многом прав. Его характеристику можно дополнить разве что еще одним наблюдением. Рассказы о спокойном и добром пастыре, так же как суждения о Владыке высокомерном и заносчивом, произносились не только в разное время, но, что еще важнее, исходили, как правило, из разных источников. В Тамбове, а затем в Симферополе Лука сохраняет два совершенно разных подхода к прихожанам и чиновникам. Это принципиальное разграниче-

ние сохранялось и в годы дружбы с верховной властью и после того. Областные и городские чиновники, покушавшиеся на духовную свободу и достоинство Луки, тут же получали сокрушительный отпор. На этой своей «малой земле» он по-прежнему никаких компромиссов не терпел.

В бунтарстве Войно-Ясенецкого есть еще одна черта, идущая уже не столько от характера, сколько от этических взглядов его. За каждой вспышкой преосвященного угадывается верность той туманной материи, что в обиходе зовется справедливостью. Впрочем, для самого Луки справедливость отнюдь не туманна. Для него она смыкается с точно и строго исполняемым законом. Исполнение закона (Божеского и человеческого) и есть, по его понятиям, высшая справедливость, которую надо отстаивать, за которую надлежит бороться, а то и пострадать. Аресты и ссылки верующих и священников возмущали Войно прежде всего тем, что они шли вразрез с законодательством. Нападки на Церковь, попытки навязать ей волю Советской власти нетерпимы для него опять-таки потому, что противоречат букве государственного закона. Этот строгий законник готов бороться даже против Патриархии, если она отрекается от собственных законоположений. Очередной свой протест Архиепископ Тамбовский устремил как раз против беззакония церковного.

15 мая 1944 года умер Патриарх Сергий. Выборы нового Патриарха назначены были на первые числа февраля 1945 года. Впрочем, назвать выборами процедуру, которая готовилась в Патриархии, было бы изрядным преувеличением. Единственным кандидатом на пост Святейшего являлся Митрополит Ленинградский Алексий. В церковной иерархии, признанной Кремлем, стоял он на втором месте, и, следовательно, ему и полагалось занять освободившееся место. Собору оставалось лишь по образцу выборов в Верховный Совет СССР утвердить заранее назначенного советскими властями кандидата. Предсоборное совещание для обсуждения кандидатуры будущего Патриарха превратилось в сплошное славословие в честь Алексия. И вдруг в хорошо смазанном генералом Карповым механизме произошел сбой. Архиепископ Тамбовский напомнил присутствующим о той процедуре, что выработана на первом (после Петра I) Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 1917 году. По старинному заведению на пост Патриарха было выдвинуто тогда три кандидатуры. Имена их, начертанные на отдельных листках бумаги, поместили в шапку, и в присутствии нескольких сот свидетелей слепой монах завершил эту лотерею, вытащив из шапки билет с именем Тихона Беллавина. Напомнив епископам о старых, освященных временем и тем узаконенных традициях, Лука заявил, что предстоящие выборы считает незаконными, незаконническими и поэтому будет голосовать против единственного и потому навязанного Собору кандидата.

Поместный Собор состоялся в Москве с 31 января по 2 февраля 1945 года. Он собрал 41 архиерея и епископа, 126 представителей приходского духовенства и мирян. На Собор прибыли также Патриарх Александрийский, Патриарх Антиохийский, Католикос всея Грузии, представители Патриарха Константинопольского и Патриарха Иерусалимского, представители Румынской Православной Церкви и Синода Церкви Сербской. Единственный, кто не попал на Собор, был Лука Тамбовский. За два дня до торжественной церемонии, во время всенощной, он почувствовал вдруг сильные боли и, прервав службу, ушел домой. Едва успел добраться до квартиры, как неизвестно кем вызванный примчался уполномоченный с двумя врачами. Медики развили бурную деятельность: диагностировали тяжелое отравление, уложили больного в постель и, находясь при нем неотлучно, так и не дали Луке выехать в Москву.

Сам Владыка считал свою болезнь случайной. «27 января я отравился консервами и чуть не умер»,— писал он М. М. Третьяковой. Но архиепископ Иннокентий Леоферов не исключал преднамеренного отравления. Фронда Луки представлялась ведомству Карпова крайне нежелательной. Его следовало любыми средствами не допустить на Собор. И не допустили.

...До чего же коротка человеческая память! В Тамбове в апреле 1971 года, стоя во дворе церкви Покрова, я слышал, между прочим, жалобы верующих на то, что их петиции об открытии храмов чиновники без разговоров кладут под

сукно. «При Сталине они бы не посмели...» — заметил мужчина средних лет, церковный староста. При Сталине Россия прожила тридцать лет, церковная оттепель продолжалась от силы года три-четыре. Очень скоро после войны в газетах исчезли сталинские приветы и поздравления Церкви. Только белый клобук митрополита Николая некоторое время мелькал еще на фотографиях, изображающих всевозможные «форумы в защиту мира». Патриархия еще нужна была генералиссимусу как фигура на международной шахматной доске, но внутригосударственная ее функция исчерпалась. Последний приказ об открытии православных храмов последовал в 1947 году. После того церкви только закрывали.

Первые порывы холодного политического ветра Лука испытал еще в 1946 году. Ему запретили выступать перед научной аудиторией в духовном облачении. Он писал сыну: «Я получил предложение Наркомздрава СССР сделать основной доклад о поздних резекциях крупных суставов на большом съезде (26—30 января), который должен подвести итоги военно-хирургической работе. Я охотно согласился, но написал, что нарком запрещает мне выступать в рясе, а Патриарх без рясы. Написал и Патриарху об этом, он мне ответил письмом, в котором его мнение совпадает с моим: выступать в гражданской одежде и прятать волосы в собрании, в котором все знают, что я архиерей,— значит стыдиться своего священного достоинства. Если собрание считает для себя неприемлемым и даже оскорбительным (как было в Тамбове) присутствие архиерея, то архиерей должен считать ниже своего достоинства выступать в таком собрании... Я говорил об этом с Карповым: он сперва возражал, но понемногу стал уступать и обещал поговорить с Третьяковым. По телефону я говорил с организатором съезда, доктором Дедовым. Он взволновался и говорил, что все и нарком (в том числе) придают большое значение моему докладу и обещали поставить на ноги все начальство. Но через день он сказал, что все начальство целый день было занято этим вопросом, говорили с Третьяковым и Карповым и как будто дело дошло до ЦК партии, но на выступление в рясе не согласились. Я просил передать наркому, что принимаю это как отлучение от общества ученых».

Так оно и шло одно за другим почти в одно и то же время: Сталинская премия, телеграмма вождя, выход и второго издания «Очерков гнойной хирургии» (лето 1946 года), фотография для ТАСС, апологетические статьи в прессе, живописные и скульптурные портреты и вместе с тем «отлучение от общества ученых» и почти насильственный перевод, почти изгнание из Тамбова в мае 1946 года. Взгляд издалека позволяет разобраться в причинах столь странного нагромождения противоречивых вроде бы событий.

Премия была присуждена еще в 1944 году за рукопись «Очерков»[43]. Но несмотря на вмешательство Сталина и заботы наркома здравоохранения, понадобилось три года, прежде чем эта рукопись превратилась в книгу[44]. А к тому времени, когда появилась на свет и книга, сердечный союз власти и Церкви уже склонялся к закату. Пропагандировать заслуги церковников стало неуместным. Правда, на патриотический жест Луки, отдавшего большую часть премии обратно в казну, Сталин ответил телеграммой, но то был формальный ответ, полагавшийся всем жертвователям такого рода. И почти одновременно Патриархия получила от Карпова распоряжение убрать упрямого и слишком шумного архиепископа подальше от Москвы.

...В главе «Конвейер» нам уже приходилось размышлять о чувствах Луки Войно-Ясенецкого к высшей власти. Во время войны чувства эти приобрели еще большую определенность. Как христианин, он принимает власть в полном соответствии с посланием апостола Павла к римлянам: «Всякая душа да будет покорна высшим властям: ибо нет власти не от Бога... И потому надо повиноваться не только из страха, но и по совести» (XIII, I.5). Как гражданин, он видит в государстве важнейшую скрепу народной жизни. Государственные институты, охраняющие внутреннюю и внешнюю безопасность страны, порядок, брак и другие стороны жизни человеческого «рая», представляются ему самоценными, ибо они крепят единство нации, народа.

Лука выстроил для себя четкую иерархию властей, иерархию, которая давала ему твердые основы для отношения с любой инстанцией — от райсовета до

Царя Небесного. Те, кто загонял его за Игарку и держал в заключении, есть власти местные, низшие. С ними можно и упрямиться, и даже ратоборствовать, особенно если они поднимают руку на самые высокие законы — законы Божеские. Что же касается Сталина, Политбюро, Кремля в целом, то это источники высшей мудрости земной. В Кремле знают, что хорошо, а что плохо для России, что делать рядовому гражданину надо, а чего не следует. Потому что власть кремлевская от Бога. Отсюда и моральное обоснование власти. Сталин — податель Закона. А Закон для Луки — высшая моральная категория. Исполняющий Закон творит высшую справедливость, у него нет и быть не может расхождений с интересами государства. Законы Лука чтил.

Итак, Владыка Лука счел для себя обязательным не только возносить молитвы «о властех», но и всеми возможными средствами (за совесть!) служить этой власти, не рассуждая о ее, власти, целях и средствах. Во время войны он лечил, учил, проповедовал во славу Сталина, во славу его победы, его государственного успеха. Но все это казалось ему недостаточным. Он искал возможности еще как-то, более явственно, что ли, заявить о своем единстве с божественной властью вождя. В 1943 году такая возможность представилась. После того, как митрополит Сергий стал Патриархом Сергием, он привлек Луку для участия в «Журнале Московской Патриархии» (ЖМП). Сотрудничество с ЖМП продолжалось десять лет. Среди опубликованных сочинений Войно-Ясенецкого мы найдем и проповеди, и богословские эссе, но в основном Лука — политический публицист. Именно политический, хотя фразеология его и может показаться проповеднической. Темы статей год от года менялись, но неизменным оставалась верность автора требованиям высшей власти. Рисунок его восхвалений и порицаний, восторгов и негодования вышит строго по канве, проложенной очередным номером газеты «Правда».

Весной 1943 года «Правда» продолжала начатую с первых дней войны пропаганду ненависти к немцам. Пропаганда не есть ложь в чистом виде. Миллионы людей действительно жестоко страдали от гибели близких, от грабительских и истребительских акций фашистов. Но пропаганда вместе с тем не средство выяснять истину. Назначение ее — вызывать у читателей газет и слушателей радио определенные эмоции. В данном случае эмоции ненависти, злобы, готовности ответить ужасами на ужасы, кровопролитием на кровопролитие. Едва зародившись, «Журнал Московской Патриархии» присоединился к хору официальной пропаганды (для того и был создан), и в хоре этом мощным соло зазвучал голос архиепископа Луки. В соответствии со вкусами эпохи первое свое публицистическое сочинение назвал он «Кровавый мрак фашизма».

В 1944 году в связи с переходом Красной Армии через государственную границу пропагандистам дана была команда успокоить Европу, преодолеть страх европейцев перед большевизмом. Возник спрос на апологетику, авторам приказано было изо всех сил хвалить социализм, превозносить советский государственный порядок. И вот типичный абзац из очередной статьи архиепископа Луки:

«Велики во всех отношениях достижения советских народов за двадцать шесть лет. Но самое важное — это то, что разрушены все преграды к товарищескому труду, и это товарищеское единение многих миллионов людей и отдельных народов, входящих в состав СССР, впервые достигнутое в истории человечества, имеет огромное нравственное значение; ибо искренное и глубокое товарищество в труде и жизни приближает людей к христианскому идеалу братства и любви».

Год сорок пятый принес пропагандистской машине новые заботы. Интересы вождя устремились в основном за рубеж. Захвачена Болгария, русские войска стоят в Венгрии, Румынии, Польше, занимают половину Германии. Сталин упивается победой, упивается своей мощью. Кто мешает ему двинуть свою армаду дальше? Европа лежит в развалинах, союзники устали, американцы спешат домой. А почему бы и не осуществить извечную русскую мечту о проливах? Полонить Грецию и Турцию? А там и Ближний Восток недалек... Военная подготовка к прыжку сопровождается подготовкой политической. И тут очень к месту пришлась Патриархия. В качестве политического эмиссара на Ближний Восток Сталин командирует самого Патриарха Алексия. Газетам и журналу Патриархии приказано изображать поездку Святейшего как «паломничество по святым местам». Вот так просто на девятнадцатый день после окончания войны собрался Святейший и поехал помолиться ко гробу Господню. Странное, однако, это было паломничество. Пересаживаясь из самолета в машину, из машины в поезд и снова в самолет, Патриарх промчался через Тегеран, Багдад, Дамаск, Бейрут, Иерусалим, Каир, встретился по дороге с тремя Патриархами, королем, двумя президентами и еще с полдюжиной видных политических деятелей — и через месяц вернулся в Москву.

Думаю, что на Западе никто не поверил версии о паломничестве. Да Сталину и неважно было, верят или не верят, лишь бы боялись. Истинная же цель патриаршего рейда состояла в том, чтобы произвести как можно большее впечатление на местных архипастырей, втолковать им, что теперь, после победы СССР над Германией, глава Московской Патриархии по всему политическому раскладу становится первым, самым значительным лицом мирового православия и здесь, на Ближнем Востоке, его голос отныне станет наиболее весомым и определяющим. Появление Патриарха в святых местах было фактом политическим, фактом, который должен был приучить местную публику, церковную и нецерковную, к мысли об «освободительной миссии русского христианского воинства», миссии, которая еще не завершена.

Пока шестидесятилетний Московский Патриарх лобызался с Иерусалимским, а народ на вокзале, по свидетельству ЖМП, кричал «ура» и хором пел умилительные стихи «Прощание с Иерусалимом», Патриархия в Москве получила новое, опять-таки международное задание. Теперь от нее потребовали именем Бога благословить казнь немецких военных преступников, и тех, что уже сидели на скамье подсудимых в Нюрнберге, и тех, которых предстояло поймать в будущем. Задание сформулировал Карпов, но он только передающая инстанция. Идея принадлежала Сталину. По этому вопросу существует немаловажное свидетельство. Еще во время Тегеранской конференции «Большой тройки» Сталин сказал Рузвельту и Черчиллю (это произошло 29 октября 1943 года), что после победы над Германией для дальнейшей безопасности союзников следует ликвидировать германский генеральный штаб. Слово «ликвидировать» вождь тут же уточнил. По его сведениям, вместе с военными специалистами Генеральный штаб вермахта составляет примерно 50 000 человек. «Если этих людей выловить и расстрелять после войны, военная мощь Германии будет уничтожена с корнем». Требование Сталина устроить после победы новую бойню встретило резкий отпор Черчилля. Премьер заявил, что британский парламент ни за что не согласится на массовые казни. Но то, что казалось недопустимым для британских парламентариев, вполне подошло епископам Русской Православной Церкви. Сначала (несколько, правда, расплывчато) они провозгласили правомерность таких убийств в «Обращении Поместного Собора Русской Православной Церкви к христианам всего мира». В дальнейшем «Журнал Московской Патриархии» принялся все более настойчиво муссировать эту тему. «Мы хотим показать, что с точки зрения правильно понятого христианского учения фашисты, безусловно, должны понести заслуженное наказание за свои жестокости, что возмездие для них неотвратимо. Слова Спасителя о любви к личным врагам, о прощении личных обид нельзя распространять на фашизм, его идеологов и последователей. Нам важна не буква, а дух христианского учения...»

Автор статьи протоиерей И. Харьюзов дает «теоретическое», так сказать, обоснование, почему фашистов «нельзя простить». Архиепископ Лука Тамбовский и Мичуринский идет дальше: он считает, что фашистов необходимо убивать. Его статья «Возмездие совершилось» опубликована была уже после того, как приговор суда в Нюрнберге приведен в исполнение. Казалось бы, все ясно: петля на горле злодеев затянулась. О чем еще говорить? Но Сталин глядит вперед, ему не терпится выловить и уничтожить 50 000 военных специалистов вермахта. И вот архиепископ Лука берет на себя обязанность адвоката будущей бойни. Аргументы находит он самые что ни на есть авторитетные:

«Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа» (Ис. 26.10).

Зачем папа Пий XII забыл эти слова великого пророка? Зачем взывал он к прощению злодеев, каких не было в истории человечества?.. Помиловать всех тех, кто готовил и бесстрастно планировал истребление целых народов, помиловать Флика, Штрейхера, Розенберга?.. Помиловать Геринга, исчадие ада... Тяжела и мучительна необходимость кого-нибудь казнить, трудно выносима страшная картина повешения, и мы, конечно, не радуемся ей. Тяжелая скорбь наполняет наши сердца при мысли о том, какие страшные вечные мучения предстоят этим извергам рода человеческого. Но закон правды Божией и совести всего человечества неотвратимо требует их казни...»

С изумлением перечитываешь эти строки. Их написал врач, с болью сердечной переживавший гибель каждого своего пациента, человек, много лет под дулом пистолета отстаивающий независимость своей личности. Зачем ему новые убийства после того, как обе стороны и без того убили десятки миллионов? Ведь не о наказании виновных печется Лука, а единственно о смерти их. К чему это? Да к тому лишь, что крови жаждет высшая власть, а коли ей, божественной, понадобилась кровушка, то, значит, и быть посему. Она, премудрая, лучше знает, что ей надобно и для чего. Убьем этих, а буде распоряжение о последующих, то и других убьем. Иначе никак нельзя, ослушание высшей власти — ослушание власти Божеской. Апостол же велит служить ей не за страх, а за совесть...

Я не утрирую. Но не могу найти никакого другого объяснения для публицистических упражнений архиепископа Луки во время войны.

Не кончились эти упражнения и в дни мира.

Ныне, тридцать лет спустя, не нужно быть слишком проницательным историком, чтобы понять: взрыв в Хиросиме возмутил циника Сталина отнюдь не сам по себе, не ужасом массового убийства, а лишь постольку, поскольку атомная бомба пресекла его, Сталина, захватнические планы. Ох, как обиделся, как рассердился вождь и учитель! Зрелым яблоком падала ему в руки обессиленная планета. Какой неслыханный апофеоз предстоял вождю прогрессивного человечества! И вместе с тем какое блистательное завершение истории мира! Европа, Азия, Африка — в лагерь их всех, в наш социалистический лагерь! И — сорвалось... Как тут не расстроиться?! Ну ладно, подождите, проклятые империалисты! Натравим на вас всех, кого можно и кого нельзя: священников, ученых, политиканов, незрелых юнцов обоего пола. Кого подкупим, кого совратим. Средств не пожалеем... И началась БОРЬБА ЗА МИР... Пышные конгрессы, многолюдные манифестации под защитой западной демократии, рев купленных репродукторов, потоки лжи в купленных газетах. Масштабная получилась мистерия. Не хуже сталинского преобразования природы... В Москве тогда невесело шутили, шепотом, конечно: «Мы развернем такую борьбу за мир, что камня на камне не останется». Не осталось...

Страшноватые годы моей юности: 1946—1953-й. Аресты. Страх. Всем прежде сидевшим в лагерях — второй срок. Многие и по-новой туда же пошли. Брат Виктор, боевой артиллерийский офицер, взятый немцами на поле боя в 1942-м без сознания, тяжело раненным, прямо из фашистского лагеря привезен в Воркуту. Приговор: десять лет на угольных шахтах. В газетах: «Космополиты-антипатриоты...», «Русский приоритет...», «Бдительность, бдительность...», «Зощенко — Ахматова...». В театре — «Русский вопрос», а в жизни вопрос о завтрашнем дне еще одной нации: всех на Таймыр или всех в Магадан? Два миллиона — не так уж и много: Гитлер втрое больше уничтожил...

В те годы я, журналист, даже не слыхал о «Журнале Московской Патриархии». На него ни подписаться было нельзя, ни купить его было невозможно. Да это и не нашего ума дело было — большая политика. Тридцать лет спустя беру подшивки ЖМП за 1946—1947 годы. Листаю. О чем же там тогда писали? Да все о том же. Половина каждого номера — речи в защиту мира, политические выпады против «врагов мира», описание торжественных форумов. В те годы это словечко к нам и вошло. И среди авторов — архиепископ Лука. Впрочем, его только по подписи и узнаешь: стиль сочинений преосвященного нипочем не отличишь от стиля партийной прессы. «Настал исключительно серьезный момент мировой истории. Враги мира готовят новую войну. Зачем она нужна? Можно ли ее предотвратить? Она нужна тем, кто хочет повернуть назад колесо истории. Возможно ли это? Конечно, нет, ибо колесо это неотвратимо катится вперед... Почему же все-таки поджигают? Потому что знают, что колесо истории если нельзя повернуть вспять, то можно на время остановить. Даже на долгое время. И надеются остановить страшной ценой третьей мировой войны, ценой истребления атомными бомбами миллионов мирных людей, их городов, всей их многовековой культуры с ее бесценными сокровищами... Итак, первый мотив — ненасытное желание новых военных прибылей и стремление США к экономической и политической власти над всем миром... Но как ни важны для американцев их планы экономического и политического господства над миром, как ни велика власть доллара,— это не единственный мотив их решимости прибегнуть к атомным бомбам. Еще важнее их страх перед неотвратимо надвигающимся социализмом»[45].

Статья называется «К миру призвал нас Господь». Другая в том же духе — «Защитим мир служением добру» — представляет собой филиппику против «колониальных держав, творящих кровавую неправду в Индонезии, Вьетнаме, Малайе, поддерживающих ужасы Греции, Испании, насилующих волю народов в Южной Корее». Вот так. Индонезия нас волнует. И Греция тоже.

К произведениям, напечатанным в первые послевоенные годы, примыкает также одно неопубликованное, но довольно широко ходившее в списках среди верующих Тамбова, Симферополя и Ташкента. Это — «Слово» Архиепископа Крымского и Симферопольского Луки в день семидесятилетия И. В. Сталина. «Слово» — та же апологетическая политическая статья, только выдержанная в церковно-проповедническом тоне. Пересказывать ее нет смысла. Проще привести для характеристики несколько слов:

«А кто же является столпом и утверждением мира во всем мире? Кто, если не наше правительство с его великим Главой, который всеми силами борется против тех, кто готовит истребление миллионов людей атомными бомбами?..[46] Ныне исполнилось семьдесят лет со дня рождения этого великого человека, которому Бог вручил власть над нашей страной. Сам Бог вручил — ибо читаем у апостола Павла: «Нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению» (Рим. XIII, I). Будем же помнить это, будем чтить власть и будем повиноваться ей беспрекословно... И вознесем Богу благодарственное моление за то, что Он дал нам этот столп мира, этот столп правды социальной. Аминь».

...Говорят, на могильном камне украинского философа Григория Сковороды вырезана эпитафия, им самим составленная: «Мир ловил меня, но не поймал». Архиепископ Лука, увы, не заслужил подобной надписи. Сталинский мир не только поймал и соблазнил преосвященного, но и прочно приковал его к пропагандистской своей колеснице. Прошли годы, прежде чем освободился архиепископ Лука от самых грубых своих политических заблуждений, а от некоторых не избавился до конца жизни.

Чем завершить историю великого соблазна? Разве что вот этим маленьким эпизодом, который несколько лет назад поведал мне архиепископ Иннокентий Калининский (Иоанн Леоферов):

«Он очень правдив был, Лука, до смешного правдив. Полагал, что и вокруг него все так же правдивы. А люди-то, сами знаете... Когда уезжал он из Тамбова на новое место, я в поезде его до Мичуринска провожал. Были мы с ним в купе одни, и Владыка спросил:

— Скажите, какого самого большого порока мне следует избегать?

— Не доверяйте, пожалуйста, клеветникам,— сказал я.— По жалобам лжецов Вы, Ваше Преосвященство, иногда наказывали ни в чем не повинных людей.

— Да? — изумился он. А потом, подумав, добавил: — С этим расстаться никак не смогу. Не могу не доверять людям».

Конкретно разговор Луки и его секретаря касался микроскопических клевет, крошечных тамбовских сплетен. О них бы и не стоило вспоминать. Но может статься, дело не только в них? Как химик по капле воды определяет химический состав океана, так, может быть, и нам признание Луки Войно-Ясенецкого — «Не могу не доверять людям» — поможет понять некоторые поступки его между 1943-м и 1953 годами?

Глава восьмая

КРЫМ — ЗЕМЛЯ КУРОРТНАЯ (1946 — 1961)

«Итак, не бойтесь их: ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано».

Евангелие от Матфея (X. 26).

«Эта жизнь стоит того, чтобы стать когда-нибудь объектом героической биографии. Не героической в старом военном смысле, но в новом смысле морального героизма».

Стефан Цвейг об Альберте Швейцере.

Патриарх всея Руси Алексий, в миру Сергей Владимирович Симанский, умел нравиться людям. Он и в старости сохранил привлекательную внешность: белая, коротко подстриженная холеная бородка, полные, хорошо очерченные губы, многозначительный, несколько грустный взгляд... Белый куколь был ему к лицу, он знал это и охотно облачался в торжественные патриаршие одежды. Его французский, правда, несколько старомоден, но многие находили в этом даже известную изысканность. Что до манер Святейшего, то они выше всех похвал. Даже в глубокой старости куртуазность Алексия действовала на дам завораживающе. И неудивительно: Симанские — природные российские дворяне, обозначенные в шестой части родословной книги Псковской, Московской и С.-Петербургской губерний. Сергей Владимирович начинал жизнь с боннами и гувернерами, отрочество проаел в Московском благородном лицее. Прежде чем поступить в Духовную академию, завершил Императорский университет в Москве. Карьера им задумана была духовная, и шел он к ней планомерно, без лишней спешки. В монахи пострижен был двадцати пяти лет отроду, в 1902 году, в сан Епископа Тихвинского рукоположен в тринадцатом.

Сергей Владимирович всегда соответствовал времени и месту, им занимаемому. В 1904 году, на пороге первой русской революции, с успехом защитил диссертацию на степень кандидата богословия. Сорок лет спустя, после блестящей защиты диссертации, Алексий снова публично выразил свое общественно-политическое кредо. И снова к месту. Заняв после смерти Патриарха Сергия пост руководителя Русской Православной Церкви, он направил Сталину следующее послание: «В этот ответственный для меня момент жизни и служения Церкви я ощущаю потребность выразить Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, и мои личные чувства. В предстоящей мне деятельности я буду неизменно и неуклонно руководиться теми принципами, которыми была отмечена церковная деятельность покойного Патриарха: следование канонам и установлениям церковным, с одной стороны, и неизменная верность Родине и возглавляемому Вами правительству нашему — с другой. Действуя в полном единении с Советом по делам Русской Православной Церкви, я вместе с учрежденным покойным Патриархом Священным Синодом буду гарантирован от ошибок и неверных шагов.

Прошу Вас, глубокочтимый и дорогой Иосиф Виссарионович, принять эти мои заверения с такой же достоверностью, с какой они от меня исходят, и верить чувствам глубокой к Вам любви и благодарности, какими одушевлены все, отныне мною руководимые церковные работники».

Алексий просидел после того на патриаршем престоле без малого тридцать

лет, и ни о каких разногласиях его с высшей властью никто слыхом не слыхивал. Нижестоящих он тоже старался не обижать. Спокойную, чуть рассеянную манеру обращения Святейшего многие принимали даже за доброту. Злым он действительно не был, а был, как сказал апостол, тепел, иными словами, равнодушен. В этом мире ценил Святейший более всего покой и комфорт. Тех, кто этот его покой и комфорт нарушал или мог нарушить,— избегал. Были у него и свои привязанности. Так, с юных лет пристрастился он к шахматам, французским романам и шоколадным конфетам. Конфетные коробки громоздились у него в покоях стопками. Отдельно — полные, отдельно — пустые. В пустые складывалась переписка с епископами. У каждого преосвященного — своя коробка: кому грильяж, кому «Южный орех», а кому и трюфель.

Писем из Тамбова Патриарх не любил. Даже невскрытые, они вызывали беспокойство: от Луки всегда можно было ожидать неприятностей. То он недоволен государственной наградой, то наговорил резкостей областным начальникам, то принялся сочинять какую-то странную книгу, полубогословскую, полунаучную. До смешного доходит: в Великий Пост приезжает из Тамбова в Патриархию еврей-профессор, пользующий Тамбовского архиерея; жаловался: его пациент губит себя, отказываясь не только от рыбной, но даже от молочной пищи. Нельзя ли воздействовать на него... Пришлось по телеграфу распорядиться, чтобы этот аскет не доходил до крайностей... И потом, к чему это: мужицкая прямота, постоянный эпатаж... Хотя Войно и известны с четырнадцатого столетия, но право же, у потомка их ни грана аристократизма. Недаром говорят, что со стороны матери у Луки сплошные мещане.

Впрочем, Святейший строго объективен. Он ни разу не напомнил Тамбовскому архиерею о том из ряда вон выходящем случае, когда со всегдашней своей невыдержанностью преосвященный попытался нарушить торжество выборов Патриарха. Более того, в 1945 году Алексий не обошел Луку наградой: разрешил ношение бриллиантового креста на клобуке. Но теперь — все, он умывает руки. Карпов распорядился перевести Войно-Ясенецкого подальше от Москвы. Совету, как и Патриархии, надоело постоянное беспокойство, исходящее из тамбовской епархии, излишние восторги прихожан и раздражение администрации. На этот раз Патриарх ничего не может поделать. Да и не хочет. Пусть преосвященный едет в Крым. Отличное место: море, солнце, курорты. И пусть не забывает, что есть еще епархии и за Уралом.

В Крым ехать Лука не хотел. Это походило на ссылку. Крым разорен, там после войны настоящий голод. Квартира архиерея лишена элементарных удобств. А главное, поселившись в Симферополе, сразу оказываешься далеко от всего: от детей, от московских библиотек и клиник, от Патриархии и медицинского издательства, в котором вот уже четвертый год «варятся» злополучные «Очерки». Конечно, и тамбовская грязь, и тамбовское захолустье не сахар, но благо бы менять Тамбов на Горький или хотя бы на Владимир, как это обещали ему в 1944-м. Незадолго до нового, 1946 года Лука написал Святейшему, просил, если уж так необходимо покинуть Тамбов, перевести его в Одессу, где живет младший сын. Патриарх отказал, обещал объяснить свои соображения при встрече, в Москве. Но когда Лука приехал в столицу для выяснения, Патриарх и вовсе уклонился от разговора. Лука не обиделся, не рассердился. Сыну написал примирительно: «Ему (Алексию) очень трудно было отказать мне. Он был не властен. Мне стало вполне ясно, что при моем 11-летнем анамнезе мне место только в захолустье».

И все-таки вынужденный переезд пробудил грустные мысли. Сколько еще осталось прожить? Год? Два? Сердце все чаще отказывает: аритмия, декомпенсация. Туманная пленка постепенно задергивает последний зрячий глаз. Что ждет его в Крыму? Как сложатся отношения с новой паствой, с уполномоченным по делам Церкви? В Тамбове его любят. Прихожане тамбовские, узнав об отъезде, взбунтовались: не отдадим своего Владыку. Послали делегата в Москву. «Горе и слезы паствы, горячо любящей меня, взволновали меня,— писал Лука друзьям,— и опять стало хуже с сердцем. Вчера и сегодня, в Фомино воскресенье,

я не служил. Ходатайство паствы и духовенства об оставлении меня в Тамбове тем не менее не уважено Патриархом...»

Святейший принял тамбовскую делегацию со смесью скуки и раздражения. Не стал даже придумывать сколько-нибудь достоверных аргументов в защиту своего решения. Собственно, и решения-то никакого он не принимал: какой смысл переводить тамбовского архиерея в Крым, а крымского в Тамбов? Но есть приказ Карпова, а о таких тайных приказах с мирянами разговаривать не полагается. Вот и бросил им Святейший первое, что пришло в голову: «Напрасно преосвященный хочет остаться в Тамбове, он будет там болеть». А Луке написал с привычной псевдозначительностью: «Я не пророк, но убежден, что воля Божия ехать Вам в Симферополь. Может быть, Бог внушил мне сказать это».

Воле Божией Лука противиться не стал. Поехал.

Крым и впрямь оказался голодным и разоренным. Кусок хлеба — четверть буханки — стоил на рынке пятьдесят рублей. Крупу хозяйки покупали у крестьян пятидесятиграммовыми стопочками. Ее несли в мешочках, как огромную ценность. Жилище архиерейское на Госпитальной улице — хуже, кажется, не бывает. Второй этаж старого, давно не ремонтированного дома; длинный черный коридор, в котором, кроме архиерея, его епархиальной канцелярии, обитает еще несколько посторонних семей. Клоповник неисправимый и неистребимый. Вдобавок на всем этаже нет уборной. И во дворе тоже нет. У единственного водопроводного крана по утрам — очередь. Днем кухонный чад заползает в кабинет архиепископа, бабья болтовня отвлекает, мешает сосредоточиться.

Можно впасть в уныние, изойти желчью, поехать в Москву с жалобой. У Крымского Владыки совсем другая реакция. Его единственный зрячий глаз ищет радостных красок, светлых интерьеров. Незадолго до отъезда из Тамбова к нему зашла местная художница, пожелавшая написать его портрет. Он спросил ее: «У кого учились?» Художница училась у Фаворского. Лука быстро отреагировал: «Я бы у Фаворского учиться не стал. Его стиль мне чужд. Я бы учился у Лансере». Солнечная радость картин «Мира искусств» видится ему в облике весеннего Симферополя. Он «приятно удивлен прелестным видом белых, как снег, каменных домиков, крытых черепицей, окруженных каменными же заборами, вишнями, акациями. Весь город каменный, мощеный, гораздо больше и лучше захолустного Тамбова». Да и в других отношениях ему здесь больше нравится. «Собор гораздо лучше и больше маленькой тамбовской церкви, где я задыхался. На богослужении много интеллигентных мужчин и женщин... Возможно, что купим дом с садом, особняк... Зам. министра Приоров просил меня консультировать в Крыму по остеомиелиту инвалидов войны...»

Особняк так и остался в области мечтаний. О медицинской работе архиерея тоже долго никто не просил. Зато возникли новые непредвиденные заботы. С тех пор как Лука поселился в курортном Крыму и стал получать десять тысяч рублей архиерейского жалованья, у него отыскалась большая родня, множество людей, которым негде и не на что жить. Они просят поддержать их, помочь, прокормить. Лука несколько растерян. «Лена хочет приехать. Нина с детьми положительно умирает от голода в Киеве, Веру выселяют на улицу, работы не имеет». Но у него и в мыслях нет, чтобы отказать просящему. И он зовет к себе из Киева племянницу Нину с двумя детьми, поселяет у себя другую племянницу, Веру, с дочкой и внучкой. Второй этаж дома на Госпитальной постепенно превращается в муравейник: к 1947 году семья Архиепископа Крымского и Симферопольского, обитающая с ним под одной крышей, достигает восьми человек.

Да что там родные! На Госпитальной, в доме № 1, готовы оказать помощь любому, кто этого пожелает. Обед на архиерейской кухне готовится на 15—20 персон. Обед немудреный, состоящий подчас из одной похлебки, но у многих симферопольцев в 1946—1948 годах и такой еды нет. «На обед приходило много голодных детей, одиноких старых женщин, бедняков, лишенных средств к существованию,— вспоминает Вера Прозоровская.— Я каждый день варила большой котел, и его выгребали до дна. Вечером дядя спрашивал: «Сколько сегодня было за столом? Ты всех накормила? Всем хватило?»

Сам он ел только насущное. Завтрак из одного блюда. Если подавали второе — сердился. От мяса отказался давно, в пост не ел и рыбы. Одевался более чем скромно. Симферопольская учительница Юдина, которой Лука дал деньги на покупку дома, вспоминает, что преосвященный всегда ходил в чиненых рясах с прорванными локтями. Всякий раз, как племянница Вера предлагала сшить новую одежду, она слышала в ответ: «Латай, латай, Вера, бедных много». Бедных вокруг действительно было предостаточно. Секретарь епархии вел длинные списки нуждающихся. В конце каждого месяца по этим спискам рассылали тридцать — сорок почтовых переводов. На переводы в Ленинград, Тамбов, Сибирь, Ташкент уходила изрядная доля архиерейского жалованья[47].

Внучка Луки, дочь младшего сына Ольга Валентиновна, дает общую картину симферопольского быта тех лет: «Дедушка никогда не знал, что сколько стоит. Он не понимал, сколько получает. Погруженный в дела религиозные и научные, не знал, кому помогает и надо ли помогать всем этим людям... Он ел каждый день гречневую кашу, носил штопаные подрясники и полагал, что все делается так, как надо». Заявление представителя третьего поколения Войно-Ясенецких не лишено экспрессии, но выглядит не совсем точным. Лука хорошо знал и размеры своих доходов, и груз принятых на себя обязательств. «Я изнываю под тяжестью лежащих на мне денежных повинностей,— пишет он сыну-профессору.— На днях я перевел Вале 240 р. ...Сегодня получил от Лены письмо о безвыходном положении Ани (внучки)... По просьбе ее перевел по телеграфу 1000 рублей. Вике (сестре) должен послать 600 руб. И Любе 200. Нина (племянница) ... ей я дал уже 600 р. А сверх того у меня много бедных, которым раздаю и рассылаю около 2000 р. в месяц. Прошу облегчить мое бремя хотя бы в отношении Нины».

Пресс денежных обязательств давил его до самой смерти. И в семьдесят, и в восемьдесят лет Лука более всего боялся потерять архиерейскую службу. Опасался, что тогда останутся без средств обе племянницы с тремя детьми, сестра Вика, престарелая сестра давно умершей жены Евгения, Софья Сергеевна Велицкая и внучка Анна с правнучкой Ирочкой в Ташкенте. А все эти нахлебники за его спиной вполголоса, чтобы не привлекать внимание «дядечки», грызлись и ругались между собой, опасаясь, как бы в дележе архиерейского пирога другая сторона не преуспела больше. О многолетней пантомиме этой Лука не догадывался. И не только оттого, что свято верил в монолитность своей семьи, в искренность каждого ее члена, но еще и потому, что в Крыму оказался он до крайности занятым, еще более занятым, чем в Тамбове и Красноярске.

«Мой предшественник оставил мне очень тяжелое наследство, и мне приходится устраивать разоренную епархию»,— писал Лука летом 1946 года. О том, что оставленное ему наследство действительно тяжелое, он узнал, как только начал объезжать 58 крымских приходов. Большинство храмов было открыто сравнительно недавно (до войны на весь Крым оставалась одна-единственная церковка). В приходах архиерею жаловались на недостаток облачений, богослужебных книг, ладана, свечей, лампадного масла. Но сам Лука видел главную беду в самих священниках. Воскрешение, или, точнее сказать, пробуждение ото сна Русской Православной Церкви, торжественно провозглашенное и отпразднованное в столице, для провинции обернулось стороной не только праздничной: очень скоро выяснилось, что служить во вновь открытых церквах некому. Поколение семинарских выпускников вымерло или ушло в бега, новых священников никто уже много лет не обучал. А так как спрос на батюшек все возрастал, то на свободном рынке рабочей силы произошло некое движение, и возникли личности, способные, по их словам, заместить священнические должности. Епископ Иоасаф, предшественник Луки по Крымской епархии, подпираемый нуждами сего дня, не слишком разбирался в нравственных и профессиональных качествах этих лиц. Главное для него было заполнить некую брешь, поставить в каждую вновь открываемую церковь священника. Он рукополагал, надеясь на старый русский «авось» — авось ничего...

Так или примерно так создавалось в середине 40-х годов духовенство по

всей России. Священниками становились вчерашние бухгалтеры, неудачливые педагоги, демобилизованные офицеры. Случались в этом потоке искренние идеалисты, добрые пастыри, нашедшие свое истинное место в жизни; но значительно больше оказалось корыстолюбцев, пьяниц, нарушителей седьмой заповеди и просто малокультурных, мелких людишек. В приходах ждала их жизнь сытная и вольготная. Сытная, поскольку средства, собираемые в храмах, Патриархия поначалу учитывала не слишком строго, а разоблачений мздоимцы и пьяницы не боялись — разоблачать их было некому. Сама лишь незадолго перед тем легализованная Церковь более всего боялась обнажать свои внутренние язвы. По логике, которую Патриархия переняла от ведомства антирелигиозной пропаганды, выходило так, что монахи-прелюбодеи и попы-ворюги фактом своего существования доказывают порочность Церкви, сомнительность веры и даже отвергают бытие Бога. Следуя этой логике, епископы в епархии считали своим долгом покрывать поступки среднего духовенства, а Московская Патриархия делала вид, что в церковном доме царит абсолютный порядок. Для уполномоченного же по делам Церкви, где бы он ни служил, поп-распутник, поп-пьяница — чистый подарок. Поп, он и должен быть тайным пьяницей, ему, попу, по старой антирелигиозной схеме просто полагалось быть мздоимцем, бабником и проходимцем. В таком только виде он и устраивал Советскую власть — районную, областную и центральную. С пьяницей и хапугой легко найти общий язык. Его припугнуть нетрудно и стукачом сделать проще простого. Он свой человек, не то что эти гады верующие, с которыми одна морока.

Церковь сталинской эпохи вообще не была рассчитана на искренне верующих иереев. Зачатая в политическом сговоре, она и функции имела только политические. Золотым патриаршим куполом надлежало ей сиять на весь мир во имя мира, дружбы и взаимопонимания народов, с тем, однако, чтобы в приходских недрах своих она постепенно загнивала и отмирала. Всякая иная форма существования была ей запрещена, а при нужде и пресекалась.

И вот в эту нижнюю, приходскую часть Церкви с ее четко оговоренными правилами игры вступил архиепископ Лука, то есть он и прежде, живя в Тамбове, был причастен к епархиальной и приходской жизни. Но там и прихожан, и священников было — раз-два, и обчелся. Там под строгим оком своего архиерея полдюжины тамбовских батюшек и помыслить не могли о скоромном. В Крыму же при сравнительно большом числе храмов, разбросанных на большом пространстве, да еще при узаконенном многолетнем попустительстве бывшего епископа священники сельских приходов привыкли считать себя независимыми царьками. А коли дана русскому человеку воля, то не обойдется он и без своеволия. Так что с первых дней приезда Войно в Крым началась между ним и местным священством бесконечная и жестокая распря, не кончившаяся до самой его смерти.

Вообразите человека, который настойчиво лезет в кинозал, отказываясь покупать билеты, мужчину, который деловито, с шайкой и веником проходит в двери женского отделения бани, субъекта, который хохочет на похоронах и рыдает на свадьбе. Я думаю, что крымским священникам времен Луки Войно-Ясенецкого облик их правящего архиепископа рисовался именно в таких красках.

И действительно, что сказать о должностном лице, которое не желает признавать всем известные правила? Даже такие, нарушение которых грозит его собственному благополучию? Безумец? Гордец? Новый Савонарола? Никаких иных правил и установлений, кроме тех, что предусмотрены Церковными Соборами и записаны в церковных же правилах, Лука признавать не желает. Назначение архиерея он видел в том, чтобы надзирать над духовенством епархии и не допускать ни малейшего отклонения от тех самых правил. Службу свою в Симферополе понимал как дело сугубо личное, ему, Луке, Архиепископу Крымскому, Богом доверенное. Безнравственные священники, провинившиеся дьяконы постоянно слышали от него: «Какой ответ дам перед Богом за всех вас?» Ответ перед Богом был для него не фигуральным выражением, но делом вполне реальным и чреватым серьезными последствиями.

Бывший секретарь канцелярии Крымской епархии о. Виталий Карвовский вспоминает, что негодование преосвященного вызывали не только священники пьющие, но и курящие. Таким назначал он епитимьи — запрещал три месяца служить в храме. Столь же категорически требовал, чтобы священники всегда и повсюду носили присущую их сану одежду и в общественных местах в цивильном не появлялись. «Неверный в малом будет неверным и в большом»,— цитировал он Евангелие и наказывал священников, бреющих бороду и коротко стригущих волосы. Духовные уклонялись от непривычных, хотя и вполне канонических требований архиерея. Бунтовали. Но Лука оставался непреклонным. Его канцелярия рассылала распоряжения, по тону и духу восходившие к никоновским Указам семнадцатого столетия:

«Всем отцам благочинным.

...Прошу довести до сведения настоятелей Церкви Вашего Благочиния, что мною лишены священного сана следующие священнослужители Крымской епархии:

1. Протоиерей Нефедов Иоанн
2. Священник Сандулов Григорий
3. Священник Коротков Василий
4. Священник Криптянин Иоахим
5. Протоиерей Чулкевич Владимир запрещен в священнослужении сроком на один год.

Управляющий Крымской Епархией
Архиепископ Лука».

Гром оргвыводов архиерей перемешивает с попытками увещевать бунтующих. В архиве епархии сохранился следующий документ 1947 года:

«Недавно мне попался истрепанный служебник литургии одного священника, в котором все нижние углы страниц черны от грязи. О, Господи! Значит, этот лишенный страха Божия священник Тело Христово брал грязными руками, с черной грязью под ногтями! Как же это не стыдно священникам не мыться, быть грязно одетыми, стоять перед св. престолом в калошах (о, ужас!). Я должен поставить в пример рядовых мусульман, которые пять раз в день молятся и перед каждой молитвой омывают лицо, руки, ноги, полощут рот и нос. А стоящие перед престолом в калошах должны знать, что каждый входящий в мечеть мусульманин снимает при входе обувь.

...В нашей епархии уже нет стриженых и бритых священников, но как много их в других местах! Как много и стыдящихся носить духовную одежду, по моде одетых и ничем не отличающихся от светских людей! А еще давно, давно великий писатель земли Русской Н. В. Гоголь так писал о духовной одежде: «Хорошо, что даже по самой одежде своей, неподвластной никаким изменениям и прихотям наших глупых мод, они (духовенство) отличались от нас. Одежда их прекрасна и величественна. Это не бессмысленное оставшееся от осьмнадцатого века рококо и не лоскутная, ничего не объясняющая одежда римско-католических священников. Она имеет смысл, она по образу той одежды, которую носил сам Спаситель...»

Год спустя Луке снова приходится обратиться к жанру Послания. И снова епархиальная канцелярия рассылает по благочиниям припечатанный чернильным угловым штампом документ, который впору читать на выпускном акте в школе риторики: «Много ли среди вас священников, которые подобны серьезным врачам? Знаете ли вы, как много труда и внимания уделяют тяжелым больным добрые и опытные врачи? Знаете ли, как долго, часами расспрашивают их и всесторонне исследуют их организм, как много лабораторных и иных исследований проводят над ними, как глубоко обдумывают результаты своих расспросов, исследований и наблюдений, чтобы познать причину и сущность болезни и найти правильные пути к лечению ее? Знаете ли это? Но ведь задача врача — только исцеление телесных болезней, а наша задача неизмеримо более важна. Ведь мы поставлены Богом на великое дело врачевания душ человеческих, на избавление от мучений вечных!..»

Но, обращаясь к лучшим чувствам своих подчиненных, архиепископ Лука не выпускает из рук и административную дубинку. Он обрушивает ее на головы особенно упорствующих, тех, кто нарушает канонические правила богослужения, кадит холодным кадилом, не по правилам совершает таинство крещения, использует суррогаты ладана и т. п. Этих он запрещает в священнослужении, не забывая напомнить им грозные слова пророка Иеремии: «Проклят всяк, творящий дело Господне с небрежением» (48,10).

Особенно ненавистны Луке корыстолюбцы. Сокрушенно перечисляет он в очередном послании факты стяжательства, называет имена тех, кто превращает священнослужение в источник личного обогащения. «Что делать с таким священником? — восклицает он.— Попробую устыдить его, затрону лучшие стороны сердца его; переведу в другой приход со строгим предупреждением, а если не исправится, уволю за штат и подожду — не пошлет ли Господь на его место доброго пастыря». Угроза уволить за штат не остается пустым обещанием. Из очередного распоряжения по епархии узнаем, что ряд мздоимцев действительно уволены.

В надежде вернуть Церкви первозданную чистоту Лука не ограничивается диалогом с духовенством. Обращается он и к верующим. О содержании его проповедей — речь впереди. Но о нравственном облике прихожан говорится и в распоряжениях по епархии. «Объявить всем священникам, что христиане, малодушно объявившие себя в анкетах былого времени неверующими, должны считаться отступниками от Христа (Матф. 10, 33). Их запрещать в причастии на четыре года» [48]. Летом 1947 года Лука четко определяет понятие нравственного долга священнослужителя по отношению к верующим:

«Поблажку грешникам, назначение мягких епитимий (поклоны и прочее) считают необходимыми в снисхождение к слабости людей нашего времени. А это глубоко неверно. Именно строгостью исповеди, страхом Божиим надо воздействовать на духовно распущенных людей. Надо потрясать их сердца. Стыдятся люди, не получившие разрешения? Этот стыд необходим для них и спасителен, и нельзя в угоду им малодушно освобождать их от этого стыда... Священникам, считающим желательным сохранить прежнюю практику применения только легких епитимий, напоминаю, что им надлежит без критики исполнять указания своего Епископа, на которого возложена Богом ответственность за свою паству в епархии и руководство всеми священниками...»

Пока преосвященный громит слабоверных мирян и не слишком порядочных священников, на церковном горизонте встает опасность куда более серьезная. Власти окончательно определили новую послевоенную политику по отношению к Церкви. В ней, как и прежде, предусмотрен двойной механизм, шумный оркестр пропаганды (газеты, радио, речи на съездах) и бесшумная работа КГБ, направленная на закрытие храмов. Двойная механика эта заработала быстро и слаженно. В 1947 году, впервые после войны, «Комсомольская правда» разъяснила своим читателям, что религиозность несовместима с членством в комсомоле. Вслед за тем (и, очевидно, по той же команде) «Учительская газета» осведомила армию учителей, воспитателей и пионервожатых, что надо самым строгим образом искоренять фальшивую теорию о безрелигиозном воспитании школьников; воспитание может быть только антирелигиозным. Тут же и журнал «Большевик» сказал свое веское слово в том смысле, что борьба с религией есть не что иное, как борьба с реакционной буржуазной идеологией. И, наконец, Большая Советская Энциклопедия в новом томе, посвященном СССР, дала официальную справку: «Разрешая свободу культов, Коммунистическая партия Советского Союза никогда не изменяла своего отрицательного отношения к религии вообще».

Эти тезисы растолковывали потом Секретарь ЦК ВЛКСМ Михайлов на Одиннадцатом съезде комсомола (март 1949 г.), московское радио (ноябрь 1949 г.) и радио ленинградское (август 1950 г.), а также многие другие издания и лица. Только руководители Православной Церкви и «Журнал Московской Патриархии» молчали, как бы не про них песенка пелась.

Впрочем, может быть, и не про них. Те, наверху, могли по-прежнему и беспрепятственно «бороться за мир» и препираться с «империалистическим наймитом», Константинопольским Патриархом Афинагором. Публичные же проклятия в газетах и по радио предназначались для простых людей, для тех, кто надеялся совместить свою веру с государственной службой, хождение в церковь с пребыванием в институте, молитву с комсомольским билетом. Им, рядовым, в достаточно угрожающем тоне предложили выбирать. Что есть выборы по-советски — они знали, поэтому не надо быть специалистом по социальной психологии, чтобы угадать, какое решение приняли миллионы вчерашних прихожан.

Одновременно началась атака на православные храмы. Операцию эту поручили провести областным чиновникам КГБ, известным в миру под именем уполномоченных по делам Русской Православной Церкви. В отличие от грозных антирелигиозников 20-х — 30-х годов деятели 40-х должны были закрыть храмы, сохраняя видимость законности, а главное, без лишнего шума (шум помешал бы Патриархии творить ее патриотическую международную миссию). КГБ начал с законодательства. Выработал правила, по которым как ни крути, а храмы надо закрывать. Не все, не сразу, но сразу всего они и не требовали. Для них важнее всего было наладить непрерывность процесса. Один из их законов гласил, между прочим, что церковь подлежит закрытию в том случае, если в ней шесть месяцев нет священника. Священников в Крыму, как и по всей стране, не хватало, и к осени 1949 года симферопольский уполномоченный погасил лампады в храме города Старый Крым, а затем в селах Желябовке и Бешарани. В опасности оказались церкви еще нескольких населенных пунктов Крыма.

Луке пришлось принять тактику военачальника, располагающего маленькой, но мобильной армией: он перебрасывает «отряды волонтеров» с одного фланга на другой, переводит священников в пустующие церкви, направляет «подкрепление» из городов в села. Ошарашенный этой военной хитростью, уполномоченный на время отступил. Зато начали упорствовать сами священники. Судьба общего дела волнует их мало, зато ущемление личных интересов переносят они крайне болезненно. Одному не хочется менять доходную Феодосию на нищую жизнь в деревенской церквушке, другой переброшенный жалуется, что ему скучно без семьи. Лука корит малодушных, клеймит корыстных, вдохновляет мужественных.

«Возможно ли, чтобы военнослужащий отказался от перехода в другую воинскую часть? Смеют ли и состоящие на гражданской службе отказаться от переводов на другую службу, хотя бы эти переводы и назначения больно задевали их личные и семейные интересы? Почему же это невозможно в Церкви? Если суровая воинская дисциплина совершенно необходима в армии, то она еще более необходима Церкви, имеющей задачи еще более важные, чем задача охраны Отечества военной силой, ибо Церковь имеет задачу охраны и спасения душ человеческих».

Лука стремится привлечь в Крым священнослужителей из других областей страны, благо теплый климат всесоюзной здравницы соблазняет многих жителей Урала, Сибири и средней полосы. Но уполномоченный и этот путь ему отрезает; милиция не прописывает приезжих. Со своей стороны, уполномоченный, чтобы ослабить епархию, составляет «дела» то на одного, то на другого священника. Он требует, чтобы архиерей увольнял неугодных. Но тут уже Лука встает на дыбы и до последней возможности отстаивает каждого «своего» священника. Так она и идет годами, эта игра в крестики и нолики. Какое бы дело ни благословил архиепископ, уполномоченный тут же это дело аннулирует. Его «нули» лезут, напирают, сливаются в единый строй, теснят «крестики» Луки. Впрочем, и уполномоченному с таким архиереем, как Войно-Ясенецкий, не сладко. Очевидно, крымское областное управление КГБ не раз оставляло своих уполномоченных без десерта за скверно выполненное задание. А их, задания, не так-то просто было выполнить с этим жестковыйным Лукою!..

Продолжая не слишком оригинальную, но достаточно точную «военную» систему сравнения, я сказал бы, что в Крыму Войно вынужден был вести боевые действия на трех фронтах. Он воевал с безнравственными священниками, атаковал маловерных мирян, развернул сражение с уполномоченным. Но, может быть, самое удивительное, что этот одинокий престарелый воин в какой-то момент от-

крыл и четвертый фронт — против самого Патриарха. На этом «фронте» действия приобрели, я бы сказал, не истребительный (помилуй Бог!), а тактический характер. Внешне обе стороны соблюдали отношения вполне корректные. Патриарх, отдыхая в Крыму, побывал в гостях у Луки в Симферополе и на даче в Алуште. А повстречавшись в Одессе, Святейший ианес Крымскому архиерею визит в гостиницу. Ровесники и как будто единомышленники, два иерарха не раз дружелюбно беседовали в Москве, а однажды вместе сфотографировались. И тем не менее всякий раз, когда Крымский архиепископ считал положение в Церкви ненормальным, он, нисколько не стесняясь, письменно и устно заявлял об этом Патриарху. Унять критическую мысль Луки пытались не раз, но делали это в Москве настолько вяло и безынициативно, что Войно-Ясенецкий только убеждался в своей правоте. Так было и в начале 1948 года, когда Лука обратил внимание Святейшего на тяжелое положение сельских храмов:

«По воскресеньям и даже праздничным дням,— писал Крымский архиерей,— храмы и молитвенные дома почти пустуют. Народ отвык от богослужения и кое-как лишь сохраняется обрядоверие. О венчании браков, об отпевании умерших народ почти забыл. Очень много некрещеных детей. А между тем, по общему мнению священников, никак нельзя говорить о потере веры в народе. Причина отчуждения людей от Церкви, от богослужений и проповедей лежит в том, что верующие лишены возможности посещать богослужения, ибо в воскресные дни и даже в Великие Праздники, в часы богослужений их принуждают исполнять колхозные работы или отвлекают от Церкви приказом привести скот для ветеринарного осмотра, устройством так называемых «воскресников».

Обнажив, хотя и невольно, картину крепостной сталинской деревни, Лука завершает письмо неожиданным пассажем: «Это бедственное положение Церкви может быть изменено только решительными мероприятиями Центрального Правительства». В связи с этим он, архиепископ Лука, просит Святейшего ходатайствовать перед правительством о том, чтобы оно предоставило верующим свободу посещать церкви в праздничные дни. Всего только!

О политической наивности (точнее, о политическом соблазне) Крымского Владыки уже достаточно говорилось. Как ни горько звучит письмо о судьбе сельских храмов и деревенских прихожан, ничего нового во взглядах Луки оно не открывает. Зато резолюция Патриарха Алексия заметно дорисовывает для нас портрет Святейшего.

«Печальное сообщение. Но нам видно, на основании других сообщений с мест, что это — явление местное. И на месте же оно должно быть разрешено в благоприятном смысле, путем сношений Епархиального Архиерея с уполномоченным совета по Крымской Епархии».

...Документы и свидетели подтверждают: для архиепископа Луки вторая половина сороковых годов — время страстного увлечения делами Церкви. Он администрирует, проповедует (проповеди его заполняют уже несколько машинописных томов). Особенно любит он службу в храме. Многочасовые службы истомляют, доводят до полного изнеможения, но Владыка не желает для себя никаких поблажек [49]. Но что же при этом стало с хирургом Войно-Ясенецким, куда девался лауреат Сталинской премии, профессор, автор прославленных книг?

На то, что две ноши нести ему не под силу, Лука начал жаловаться еще в конце войны. «Угасает моя хирургия, и встают большие церковные задачи»,— писал он старшему сыну. И осенью того же года снова: «Хирургия несовместима с архиерейским служением, так как и то и другое требует всего человека, всей энергии, всего времени, и Патриарх пишет, что надо мне оставить хирургию».

В том же году, побывав в Москве на операциях талантливого Сергея Юдина, Лука оставил в книге почетных посетителей клиники многозначительную запись: «Хирург в прошлом — блестящему хирургу настоящего и будущего профессору С. С. Юдину. Свидетельствую свое восхищение Вашей блестящей техникой и неисчерпаемой энергией в строительстве новой хирургии нашей великой Родины».

«Хирург в прошлом...» Верил ли он, что его путь в хирургии уже завершен? Так, во всяком случае, может показаться. Незадолго до отъезда из Тамбова Войно писал Зиновьевой: «Мое сердце плохо, и все исследовавшие его профессора и врачи считают совершенно необходимым для меня оставить активную хирургию». Пугает его и катаракта на единственном зрячем глазу: в перспективе встает опасность слепоты. «Впрочем, может быть, я и не доживу до нее,— восклицает Лука,— ведь мне уже шестьдесят девять...»

В то время, когда писались эти строки, профессору-архиерею предстояло еще более пятнадцати лет жизни, половина из которых — в активной научной и медицинской деятельности. Что же касается невозможности совмещать врачевание души и тела, то разговоры эти тотчас прекратились, когда Лука понял, что в Крыму его хирургия никому не нужна.

«В Симферополе нет запроса на мою медицинскую работу. Я живу здесь полтора месяца, и никто о ней не заикается»,— с обидой пишет Войно Зиновьевой летом 1946-го. Причина равнодушия к Войно-хирургу лежала на поверхности: в конце 1946 года профессор в рясе был такой же политической бестактностью, как и в 1940-м.

Директор Симферопольского медицинского института и его ученый совет почли за лучшее сделать вид, что о приезде профессора Войно-Ясенецкого в город им ничего не известно. Они показали себя даже менее осведомленными, чем их ученики: во всяком случае, студенты-медики вышли встречать Луку с цветами. Студенты были наказаны за «недостойное поведение» (с цветами — попа!), профессора повели себя как истинные пай-мальчики. В состав ученого совета автора «Очерков гнойной хирургии» они так и не ввели.

Лечить больных в госпитале и читать лекции врачам Луке в конце концов разрешили, но из этого почти ничего не вышло. Предубеждение против креста и рясы у местных медиков оказалось сильнее профессиональной любознательности. В начале 1947 года Лука огорченно сообщал сыну:

«Моя медицина свелась к приему на дому двух — четырех больных в день... Мои доклады в Хирургическом обществе и на двух съездах врачей имели огромный успех. В Обществе все вставали, когда я входил. Это, конечно, многим не нравилось. Началась обструкция. Мне ясно дали понять, что докладов в своем архиерейском виде я больше делать не должен. В Алуште мой доклад (по просьбе врачей!) сорвали... Я дал согласие два раза в месяц читать лекции по гнойной хирургии и руководить работой врачей в хирургических амбулаториях. И это сорвали. Тогда я совсем перестал бывать в Хирургическом обществе. На консультации меня не приглашают».

Впрочем, долго унывать он не умел. Как только четко определилась эта вечная альтернатива его жизни — епископ или хирург,— Войно тут же возжелал доказать супостатам, что по-прежнему способен сохранять себя в обеих ипостасях. И не только возжелал, но и практические меры принял. Объявил бесплатный врачебный прием, и сотни хворых со всего Крыма хлынули на второй этаж архиерейского дома на Госпитальной. Тут же начал Лука готовиться к поездке на Всесоюзный съезд хирургов в Москве. Эта поездка была особенно привлекательна оттого, что заместитель наркома здравоохранения Н. Н. Приоров на свой страх и риск разрешил ему выступать в архиерейском облачении. Другому заместителю министра Войно-Ясенецкий направил в 1948 году письмо-жалобу на то, что медицинские журналы не публикуют его, Войно-Ясенецкого, научных статей, а Издательство медицинской литературы отказывается переиздать диссертацию «Регионарная анестезия». Между тем проблема, поднятая в диссертации тридцать лет назад, не устарела; дополненная новыми материалами, такая книга смогла бы принести хирургам несомненную пользу [50].

Выступить перед хирургами в рясе ему не пришлось, помешала болезнь. А согласие медицинского издательства на выпуск переработанной диссертации он все-таки получил. И тут же, на Пасху 1949 года, в самое горячее для епископа время, отправился в Москву. Его жизнь в столице мало походит на жизнь командированного в Патриархию епископа. Луку редко видят в прихожей Святейшего. Другое его занимает. «За две недели, работая в медицинской библио-

теке по шесть часов в день, я с отличным успехом проделал огромную работу: просмотрел и прочитал 450 литературных источников по регионарной анестезии, и все на иностранных языках. Теперь остается прочитать в Симферополе статьи в русских журналах, часть английской книги на 200 страниц... останется написать 75—100 страниц, и будет новая книга...»

Лука в ударе. Куда девались его жалобы на возраст, на нездоровье! Взвалив на себя, сверх церковных служб, проповедей, приема больных и административной работы по епархии, еще и сбор материалов для монографии, он сообщает близким, что в семьдесят два года здоровье его милостью Божией весьма недурно; в роду Войно-Ясенецких существует наследственная долговечность: отец умер на девяностом году, мать — на семьдесят девятом, а их отцы и матери жили и по сто лет. «Правда,— добавляет Лука,— они жили спокойной жизнью, а не такой, как мы».

Очевидно, тогда же, в начале 1949 года, симферопольские военные медики (то ли более мужественные, то ли более независимые, чем гражданские) направили к Войно своего представителя. Военные просили поучить их гнойной хирургии. В роли посла удачно дебютировала Мария Федоровна Аверченко, военный фармацевт в запасе, лыжница, бегун на длинные дистанции и парашютистка-десантница. Мария Федоровна (подтянутая, поджарая фигура амазонки и милое, румяное лицо русской женщины) охотно вспоминает свое знакомство с Лукой. С опаской приближалась она в первый раз к квартире архиерея. В голове бродили школьные рассказы о попах, вбитое с младенчества презрение и подозрение ко всему церковному, религиозному. Но стоило ей увидеть сердечную улыбку старого, мудрого человека, услышать его басовитый голос, как страх и скованность рассеялись без следа. Через много лет в памяти осталось ощущение встречи с человеком, физически очень чистым («Волос от волоса отходил, борода прозрачная даже») и простым, простым до крайности. Поразил ее и кабинет профессора. Какие-то бедные половики, старенькая мебель, много икон и книг. На камине портреты Сталина и Патриарха. Еще запомнился на стене портрет красавицы жены кисти самого Войно. Когда она сказала, что дирекция госпиталя приглашает его в качестве консультанта, Лука не скрыл радости. «С удовольствием, с удовольствием»,— повторил он. О вознаграждении Мария Федоровна говорить не стала, увидела на дверях квартиры дощечку о бесплатном приеме больных и сообразила: разговоры о деньгах здесь неуместны.

К приезду консультанта все отделения госпиталя готовили обычно самых тяжелых больных. Войно заходил в кабинет главного врача, снимал монашеский подрясник и облекался в свой излюбленный халат. В свое время миссис Черчилль прислала для инвалидов войны два вагона медицинских инструментов, медикаментов, лабораторное оборудование. Входили в этот комплект и длиннополые хирургические халаты с пелеринками. Остальным врачам халаты казались некрасивыми да и велики. А рослому Луке английская обнова пришлась как раз по плечу. Выглядел он в ней особенно значительным и солидным.

Несколько раз консультанту пришлось браться и за скальпель. Одного пациента, секретаря Керченского горкома партии, доставили в Симферополь с гнойным процессом в тазовых костях. Случай тяжелый, почти безнадежный. И главный врач госпиталя попросил, чтобы оперировал профессор. Смотреть на эту операцию сбежались все врачи госпиталя и несколько медиков из городских больниц. По словам Марии Федоровны, работа Луки оставила у присутствующих чувство, близкое к праздничному. Еще до первого разреза Войно предсказал все точки, где он надеется обнаружить гной. И действительно, предсказания ученого везде сбывались. Ему удалось хирургическим путем очистить от гноя огромное, анатомически чрезвычайно сложное пространство.

После операции истомленному хирургу поставили кресло в госпитальном саду под яблоней. Но отдыхать не пришлось. В сад ворвалась жена оперированного. Человек деловой, она сразу принялась осведомляться о цене: «Чем я вам обязана, профессор?» Повернув голову в ее сторону, Лука ответил: «Вы обязаны мне досвиданием». Дама намека не поняла, стала горячо толковать о том, что

они с мужем ничего не пожалеют, что у мужа в Керчи огромные возможности... Дальше Лука слушать не стал. Поднялся во весь рост, вознес над не слишком крупной дамой свою величественную фигуру и, прежде чем уйти, еще раз очень четко произнес: «Вы мне обязаны до-сви-да-ни-ем».

Мария Федоровна копается в памяти, ей не хочется упустить ни одной мелочи, относящейся к великому хирургу. Однажды она видела, как пациент из госпиталя, бывший солдат, рвался в операционную, умоляя допустить его к Луке. Солдата задержали. Он волновался, горячился, втолковывал сестрам, что он не просто так лезет, а по делу. Во время войны погибал он в Красноярске от гангрены и уже письмо прощальное домой послал, да профессор Ясенецкий спас ему жизнь. Когда Войно вышел из операционной, солдат бросился к нему: «Вы меня, конечно, не помните, профессор...» «Почему же не помню»,— пробасил Лука и тут же назвал солдата по фамилии и даже сказал, какая у него рана была. Солдат весь засветился от счастья, а Лука, тепло поглядев на него, добавил: «А я, знаете, не очень-то надеялся тогда на успех». Они еще долго стояли в госпитальном коридоре, но Аверченко не слышала их разговоров. Видя, как хорошо этим двоим — спасенному и спасителю,— врачи и сестры отошли в сторону.

По словам Марии Федоровны, Войно-Ясенецкий оперировал и консультировал в их госпитале до 1953 года, когда глаз отказал ему окончательно. Боюсь, что она ошибается. Есть сведения, что от услуг хирурга-архиепископа в госпитале отказались раньше. В июне 1951-го Лука писал Зиновьевой: «Вряд ли Вам интересна моя теперешняя жизнь, ибо я теперь «архиерей, архиерей от головы до ног» («Король Лир»)... От хирургии я отлучен за свой архиерейский сан, и меня не приглашают даже на консультации. От этого погибают тяжелые гнойные больные...» В том же письме рядом с жалобами на падающее зрение есть и другое сообщение. Войно продолжает читать журнал «Советская медицина», «Вестник хирургии» и книги по специальности. Отлучить его от хирургии совсем не так просто...

Кстати, о парафразе из «Короля Лира»: «Архиерей, архиерей от головы до ног». Да, несмотря на взрыв медицинской активности, Лука на рубеже пятидесятых годов чувствует себя прежде всего лицом духовным. И отношения с наукой у него к этому времени меняются. Науку, ее плоды он начинает оценивать прежде всего с религиозной точки зрения. Нам уже приходилось говорить о роковой якобы несовместимости науки и религии, называть имена крупнейших ученых-христиан, которые самим фактом своего существования отвергали и отвергают неизбежность конфликта между научным творчеством и верой. Религия и дочерняя ей мораль, по мнению ряда ученых-мыслителей, есть сферы, где человек обнаруживает для себя высшие ценности духа. Поэтому, по мнению Макса Планка, «наука и религия в истине не противоречат друг другу, но для каждого мыслящего человека нуждаются во взаимном дополнении друг друга».

Того же взгляда держался и профессор Войно-Ясенецкий, но с годами, не изменяя общей концепции, он несколько сместил акцент: в каждом своем и чужом научном труде принялся искать элемент религиозного, христианского смысла. Желание во что бы то ни стало найти внутреннюю связь между медициной и христианством особенно ясно проступает у него в Крыму. Приемы больных, консультации, операции становятся принципиально бесплатными. Врач оказывает помощь больным так же, как он рассылает денежные переводы нуждающимся или кормит за своим столом голодных,— во имя Бога. Об издании медицинских книг, публикации статей в журналах Лука тоже все чаще говорит лишь как о средстве поднять авторитет, нет, не свой и не своей науки, но Церкви. С той же позиции рассматривает он и премию Сталинскую, и свою славу хирурга. Стремление научными знаниями послужить вере, христианству, православию присутствовало в его помыслах и прежде, но после войны такое служение становится основным смыслом его научного поиска. В обстановке возрастающего государственного давления на Церковь этот принцип Луки обретает характер жертвы.

Все чаще задумывается Войно и над философскими целями науки. В его письмах то и дело проскальзывает вопросительная интонация: можно ли только

пользой и количеством информации определять ценность открытий и изобретений? Ему кажется, что эти две категории не раскрывают всех аспектов научного созидания. Примат видимой пользы в какой-то степени искажает роль науки. Даже медицинской. Лука ищет в науке религиозно-нравственный смысл. В частности, его начинает занимать этическое лицо исследователя. Прежде казалось достаточным знать фамилию коллеги и его научные труды. Теперь он с удовлетворением замечает у профессора С. С. Юдина не только талант хирурга, но и обостренный эстетизм, а также тяготение к проблемам философским, метафизическим, религиозным. Лука радуется вновь обнаруженной грани в натуре младшего коллеги. Успех Юдина-хирурга для него освещается теперь верой Юдина-христианина. Дружеские отношения складываются у Луки с академиком В. П. Филатовым. Филатов принял в свой институт Валентина Войно-Ясенецкого, наблюдает за больным глазом Крымского архиерея. Но главная притягательность этой личности видится Луке в ином. После поездки в Одессу он пишет сыну Алексею: «Филатов... очень хороший человек, вполне верующий. Я был у него два раза, и он приезжал ко мне в гостиницу прямо-таки для исповеди». И в другом письме: «С Филатовым долго беседовал о его научной работе и душевных делах. Он вполне религиозный человек».

Для Войно религиозность ученого становится некоей гарантией против безнравственности научного поиска, против бесчеловечности будущих открытий и изобретений. Только в единении с Богом могут быть созданы подлинные ценности. Но для достижения самых высоких научных вершин и религиозности мало. В этом случае, по мнению Луки, исследователю надлежит быть отмеченным «перстом Божиим», его труд должен быть благословенным. О таких «отмеченных благодатью» научных трудах Войно говорит с подъемом, даже со страстью: «Они должны рождаться свободно, легко, без искусственности, должны быть «пропеты» миру, так же как поет свою песню птица... Она поет потому, что не может не петь. Это ее потребность, это дар Божий, как все ее бытие и ее житейская и физиологическая сущность, с каких бы философских и этических позиций вы ни рассматривали причину пения птицы... Вспоминаю свою работу по анестезии. Местное обезболивание, оно захватило меня, и я один, на периферии, безо всякого руководства со стороны клиник, сам «пел свою песню», и она рождалась с необыкновенной легкостью и продуктивностью. Мысли рождались, бежали, опережая друг друга, не создавая хаоса, и я едва успевал применять их на практике. Было необыкновенно легко и радостно».

Эти слова Войно-Ясенецкого записал Николай Александрович Овчинников, в прошлом хирург, а ныне священник Вознесенского собора в Ельце. Запись эта (из которой я взял приведенные выше строки) стоит того, чтобы привести ее полностью.

«Это было 27 февраля 1946 года, в канун годовщины смерти И. П. Павлова,— пишет доктор Овчинников.— Уже вечерело, и улицы Тамбова были оживленны. Я подошел к дому, где тогда жил Владыка, и, позвонив, был несколько обескуражен заявлением его келейника, что сегодня видеть Владыку мне не удастся вследствие его занятости. Отрекомендовав себя и указав на цель своего приезда, я рассчитывал на некоторое снисхождение к себе, но... вернувшись вторично от Владыки, послушник передал мне, что меня примут только завтра, в десять утра.

На следующий день точно в десять я вошел в кабинет-келью. Оказалось, что Владыка вчера совершал на дому заупокойную всенощную в канун смерти академика Ивана Петровича Павлова. Усадив меня против себя, он внимательно всматривался в меня, как бы изучая своими проницательными глазами, особенно после того, как узнал, что я врач и к тому же верующий. Узнав причину моего визита — получить благословение на начатую научную работу, он углубился в план ее и, закончив, снова прочитал вслух ее заглавие: «Гастро-лиенальный синдром в клинике почечно-каменной болезни».

— Судя по плану, работа трудоемкая и кропотливая, особенно в анатомическом разделе ее...— И, подумав немного, добавил: — Вы, конечно, рассчитываете на нее как на диссертацию?

— Безусловно,— ответил я,— работа выходит из рамок журнальной статьи.

— Согласен с вами.— И, как бы думая о чем-то своем и собираясь сказать многое, с некоторой экспрессией начал: — Сейчас многие врачи пишут диссертационные работы, но, к сожалению, в большинстве своем они научно легковесны. Это происходит оттого, что они надуманны и грешат искусственностью, что ведет не только к нагромождению фактов, но и к толкованию их часто в желательном для диссертанта направлении. Последние (бывает и так!) далеко отводят от истины. Вот беда!

Далее, анализируя отдельные этапы моей работы, он откровенно заявил, что не видит в ней большого практического значения, тем более научного.

— Я не оперировал на симпатической нервной системе брюшной полости, но скажите, кому из хирургов и анатомов не известна неврогенная связь почки с другими органами — желудком, селезенкой, сердцем? Все эти органы находятся в тесной не только анатомической, но и гуморальной связи. Это известно давно, и выяснение отдельных деталей вряд ли внесет что нового. Так с научной точки зрения. А если посмотреть с христианской... невольно возникает вопрос: зачем нужна такая диссертация? Для вашей славы? Или, может быть, как дань времени — все, мол, пишут, чем я хуже других? Не ради ли честолюбия? Последнее — страсть, порок души, язва в ней. И вам, верующему врачу, это надо помнить, всегда помнить слова Спасителя: «Ищите прежде Царствия Божьего и правды его, а все остальное приложится вам». Вот все, что легло мне на сердце сказать Вам по интересующему вопросу. В деятельности врача много возвышенного, светлого и спасительного для души...

Этим в основном закончилась наша беседа...» — пишет доктор Овчинников. А заодно (добавлю от себя) и заботы собеседника архиепископа Луки о своей диссертации. После двадцати лет работы в хирургических клиниках Николай Овчинников целиком посвятил себя Церкви.

Итак, наука в единстве с верой и даже во имя ее...

Для Луки Войно-Ясенецкого, во всяком случае, это аксиома. Он на первом издании своих «Очерков» хотел видеть надпись «Епископ Лука». Второе же издание книги полностью расценивает как победу дела, благословенного Богом. Выходу «Очерков гнойной хирургии», как и своей Сталинской премии, посвящает он специальные беседы в храме. Войно верит, что его научный труд привлечет к православию многих интеллигентов. Так оно и было. Во всяком случае, вспоминаю, с какой гордостью рассказывал он мне о передаче, слышанной по радиостанции Би-би-си: группа французских юношей и девушек перешла в православие, сославшись в своей декларации на христианских ученых в СССР — Ивана Павлова, Владимира Филатова и Луку Войно-Ясенецкого.

Ученые-атеисты склонны считать религиозность помехой к настоящему творчеству. По их мнению, вера искажает для исследователя объективную картину естественного мира. Все, что мы знаем о Швейцере, Тейяре де Шардене, Эйнштейне, Павлове, Филатове, а также о таких корифеях естествознания — христианах, как Либих, Кювье, Уоллес, Фарадей, Рентген, Майер, Ом, Максвелл, Герц, Планк, опровергает миф о ядовитых плевелах веры. В научных книгах Войно-Ясенецкого его неверующие рецензенты также не могли найти никакой аберрации. Один из советских хирургов, весьма официозный профессор И. Г. Руфанов, в отзыве на две представленные на Сталинскую премию монографии Луки писал:

«С именем проф. Войно-Ясенецкого у советских хирургов связано представление как о лучшем знатоке и специалисте в области гнойной хирургии. Это мнение как у высококвалифицированных хирургов, так и у практических врачей явилось следствием знакомства широких врачебных масс с «Очерками гнойной хирургии», изданными десять лет назад...

Монография «Поздние резекции»... представляет исключительный интерес... Ценность монографии в оценке анатомического состояния и клиники больного, исключительная четкость в описании затеков при повреждении отдельных суста-

вов. Изложена работа очень просто, убедительно для читающего, так как каждое оперативное действие подкреплено анатомическими данными. В книге не только нет лишних глав, но нет лишних фраз...

Монография «Очерков гнойной хирургии», как уже говорилось, выходит вторым изданием, но при чтении книги можно видеть, что от первого издания не осталось непереработанной ни одной главы... В представленных двух монографиях проф. Войно-Ясенецкого мы имеем исключительно ценный труд. Автор показал себя блестящим хирургом как при изучении, так и при оперативном лечении тяжелых повреждений военного времени. Вся работа — оригинальна...»

В этих последних словах для профессора Руфанова — высшая ценность научного труда. Для Луки, однако, этого мало. В том самом году, когда члены Комитета по Сталинским премиям выставили ему высшую оценку за оригинальность, он в двух строках определил то главное, что увидел для себя в хирургии: «ДЛЯ ХИРУРГА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ «СЛУЧАЯ», А ТОЛЬКО ЖИВОЙ СТРАДАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК. Архиепископ Лука. 16.X.1944 г.»

«Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты». Не раз приходилось убеждаться: книги личной библиотеки многое, очень многое говорят об их хозяине. Но что сказать о книголюбе, у которого тома на полке стоят в следующем порядке:

В. И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм
А. Эйнштейн, Л. Инфельд. Эволюция физики. 1948
А. И. Опарин. Возникновение жизни на Земле. 1936
Православный церковный календарь
Ф. В. Феррар. Жизнь Иисуса Христа. 1899
Маркс, Энгельс. Манифест Коммунистической партии
Энциклика папы Льва XIII о соединении церквей. 1895
Эбрард. Научное оправдание христианства. 1877
Ф. Энгельс. Диалектика природы
Вл. Соловьев. Собрание сочинений
Блохинцев и Драбкина. Теория относительности А. Эйнштейна. 1940
Учение Св. Иоанна Дамаскина о происхождении Св. Духа
Естественнонаучные основы материализма. Часть II
Биология
Фенелон. Бытие Бога, доказанное познанием природы и человека. 1809
и т. д., и т. п.

Нетрудно догадаться, что я говорю о книгах профессора Луки. Просматривая их несколько лет назад в Симферополе в квартире родственников Войно-Ясенецкого, я терялся в догадках. К чему могла послужить архиерею-профессору такая библиотека? Ответ пришел лишь после того, как я обратился к переписке Войно с сыновьями. В феврале 1945 года Лука сообщил Михаилу: «Непременно хочу написать книгу о духе и теле. А это очень большая задача, и я очень занят ею. Очень важные мысли, почти целая система философии». В марте он снова дважды возвращается к той же теме: «Алеше я писал, что мне очень важно знать, чем и как доказано, что клетки головного мозга, не в пример другим клеткам тела, сохраняются в течение всей жизни. Для меня это один из основных вопросов, но Алеша туг на письма, и поэтому я прошу тебя узнать это и рассказать мне». И еще: «Мне очень важно познакомиться с современным состоянием физиологии симпатической нервной системы. Узнай, по каким источникам мог бы я это сделать».

Таковы первые вести о книге, в которой, опираясь на данные современной науки, архиепископ Лука задумал доказать трехсоставный духовно-физический характер человека. По существу же покусился он на всю громаду советской естественнонаучной доктрины. Удивительная получилась ситуация. В конце войны политический ортодокс, автор страстных просоветских опусов, публикуемых в русских и зарубежных изданиях, козырь в сталинской международной игре, архиепископ Лука собирает библиотеку, цель которой — подготовиться к полемике с философией советских вождей — диалектическим материализмом. Более того: о материи, природе, сущности жизни и человека он собирается спорить публично! При Сталине — публично! В пору, когда миллионы людей из года в год как молитву зазубривали основополагающие идеи классиков марксизма о первичности материи и вторичности сознания, о том, что наших пяти органов чувств за глаза хватает для открытия всех тайн мира, а духовная жизнь человека — всего лишь жалкая надстройка над величественным зданием фабрично-заводского комплекса, этот странный Лука позволяет себе не только сомневаться в святости идей Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, но еще и подыскивает встречные аргументы. Да что там аргументы! Он книгу хочет писать про то, что все в мире обстоит совсем не так, как в учебнике, утвержденном Центральным Комитетом партии. Не обезумел ли часом престарелый иерей?

Нет, к работе над книгой «О духе, душе и теле» Лука подошел деловито, разумно и, я бы сказал, закономерно. Она естественно вытекала из прежних его раздумий о науке и религии, о своей собственной роли по отношению к двум этим стихиям. Долгое время он желал творить передовую науку во славу веры, во имя Церкви. Нет ничего удивительного, если в какой-то момент он пришел к выводу, что основные христианские тезисы, самую веру можно обосновать для неверующих, пользуясь научными аргументами. А как же иначе разговаривать с людьми в век науки?

Сама по себе такая методология не была новшеством. На заре мусульманства религиозные авторы Востока считали, что «науки освещают дорогу в рай». Они убеждали единоверцев: «Впитывайте знания даже из уст неверного. Чернила ученого священнее крови мученика». Для европейских естествоиспытателей XVI—XVII веков цель химических и физических опытов также виделась в том, чтобы открыть человеку его Творца. «Я докажу вам существование божественного Провидения, анатомируя вас»,— говорил знаменитый анатом Иоганн Сваммердам (1637—1680). А основатель пиэтизма лютеранский богослов Филипп Яков Шпенер (1635—1705) писал в своей книге «Pia desideria» (1675): «Бог сокрыт, пути Его — не наши пути, Его мысли — не наши мысли. Но в точных естественных науках, где Его творения физически осязаемы, мы имеем надежду попасть на след Его намерений относительно Мира».

В XVIII—XIX веках возникла большая научно-апологетическая литература, не заглохшая и в двадцатом столетии. Она сделала свое дело: мысль о единстве религии и науки обрела прочное гражданство в сознании современного цивилизованного общества. Примеры? Их множество, но хватит и одного. Когда в начале 50-х годов нынешнего столетия в Нью-Йорке строилась церковь Риверсайд-черч, архитекторы предложили украсить ее каменными рельефами святых, пророков, королей и философов. Священники нового храма опросили прихожан, каких именно ученых и философов они хотели бы видеть над входом в свой молитвенный дом. Большая часть верующих назвала Архимеда, Галилея и Эйнштейна. Каменные изваяния великих провидцев науки заняли свое место на фронтоне Риверсайд-черч рядом со святыми и мучениками.

По ряду причин западная традиция не получила развития в России. Мысль о непротиворечивости науки и религии казалась чуждой большинству русских авторов. А уж о том, чтобы утверждать богословские истины с помощью фактов науки,— об этом никто почти и думать не смел. Вся история русского православного богословия едва ли знает два-три таких сочинения. А в советское время — ни одного. Автору книги «О духе, душе и теле» предстояло прокладывать на родной почве свежий след [51]...

Как и все, за что он брался в своей жизни, Лука начал новый труд с деловитой страстностью. Для своей работы он стремится получить самую авторитетную аргументацию. Привлекает самые солидные источники. Осенью 1945 года, приехав на несколько дней в Москву, Лука обращается к знаменитому физиологу, ученику и продолжателю И. П. Павлова, Леону Абгаровичу Орбели:

«Я пишу на, вероятно, неожиданную для Вас тему: о сердце как органе высшего познания. Для этой работы мне хотелось бы поговорить с Вами о так

называемой «психической деятельности» лобных долей полушарий и коры мозга. Не благоволите ли уделить мне время для этой беседы?»

Какие-то случайные обстоятельства помешали двум ученым встретиться, но работа над книгой продолжалась. Лука ищет и находит достойного доверия физика, который, прочитав рукопись, рекомендует список современной литературы по основным вопросам мироздания. Работа спорится. К концу 1947 года рукопись завершена и даже переработана. Так что время написания эссе «О духе, душе и теле» не вызывает как будто сомнений — 1945—1947 годы. И все-таки мне кажется, что начало этой работы относится ко временам значительно более давним.

Галина Шамина, школьница из Красноярска, чьи воспоминания мы цитировали, пишет о событиях 1941—1942 годов: «Дедушка был человеком верующим... и писал в то время два труда одновременно: «Очерки гнойной хирургии»... и какую-то книгу духовную». Есть основания полагать, что для того же духовного сочинения понадобилась Луке в 1942 году специальная литература, о которой он писал сыну: «Если у тебя есть книги по биологии (в особенности Леб), то, пожалуйста, поскорее пришли мне. Мне нужно прочесть, как в жидкостях (кажется, масляных) образуются фигуры, чрезвычайно похожие на растительные клетки». В рукописи «О духе, душе и теле» мы находим пассаж, явно написанный под влиянием опытов немецкого биолога Жака Леба (1859—1924).

Меня не оставляет, однако, подозрение, что мысль о научной и вместе с тем антиматериалистической книге имеет корни еще более глубокие, что мечту подорвать философский фундамент своих гонителей — материалистов вынашивал Лука в ссылках и тюрьмах 20-х — 30-х годов. Некоторыми фактами, которые вошли потом в книгу «О духе...», Лука уже в 1939 году делился со своим однокамерником по Ташкентской тюрьме Брагинским. А еще раньше некий Сергей, чью фамилию и общественные взгляды установить не удалось, сделал на потрепанном томике дарственную надпись: «Епископу Луке на память о туруханской ссылке и совместных этапах... Станок Карасино, Туруханский край. 13.XII.24 года». Тот подаренный в первой ссылке томик принадлежал перу Франца Альберта Ланге и именовался «История материализма и критика его значения в настоящее время». Перевел с немецкого в 1899 году М. М. Страхов. Не с того ли, читанного на енисейском этапе сочинения все и пошло?

Если в книге Войно-Ясенецкого отбросить второстепенные детали, то открывается следующая логическая конструкция. В главе (она как бы служит прологом) автор обсуждает состояние современного (1945 год!) естествознания. «Архиепископ Лука дал яркую и объективную картину революции в физике, которая связана с именами Эйнштейна, Планка, Бора и Шредингера,— пишет в своем отзыве на книгу протоиерей о. Александр Мень.— Эта картина... нарисована с целью поколебать устоявшиеся представления читателей о незыблемости научных догм». И действительно, приводя высказывания то одного, то другого видного физика, Войно обнаруживает, насколько относительны, сомнительны, противоречивы представления ученых даже о таком давно изученном явлении, как электричество. Разворачивая перед читателем историю исследования разных форм энергии: электричества, волн Герца, лучей Рентгена, катодных лучей, радиоактивных излучений, арх. Лука высказывает убеждение, что в мире должны действовать и другие неведомые нам формы энергии, и среди них духовная энергия, которую автор считает «первичной и первородительницей всех физических форм энергии, а через них и самой материи».

«Духовная энергия, истекающая от Духа Божия, энергия любви, движет всей природой и все животворит...— заявляет автор в третьей главе своей книги (о второй главе мы скажем несколько позже).— Один великий закон развития управляет всем мирозданием... Не может быть резкой границы между «мертвой» природой и миром живых существ... Духовной энергией проникнута вся неорганическая природа, но только в высших формах развития (творения) эта энергия достигает своего свободно самосознающего духа».

Что касается человека, то арх. Лука принимает взгляд своих предшественников, православных авторов, на трехсоставный характер людской природы. Человек в соответствии с этой точкой зрения состоит из трех «сфер»: духа, души и тела. Тело — это то, что роднит человека со всей природой, душа — с животным миром, и только дух — специфическое отличие человека. Находясь в тесном сплетении с душой и телом, дух вместе с тем независим. Он бессмертен и предшествует появлению человека на свет. Дух творит формы человеческих тел. «Дух грубый и жестокий,— пишет Войно,— уже в процессе эмбриогенеза направляет развитие соматических элементов и создает отражающие его грубые, отталкивающие формы. Дух чистый и кроткий творит себе полное красоты и нежности жилище. Вспомним мадонну Рафаэля, Джоконду Леонардо да Винчи».

Дух и есть сущность человека. Но сущность эта может отделяться от нас при жизни и после смерти, может приобретать материальное человеческое подобие независимо от нашего тела. Так, дух умершего или умирающего не раз являлся живым. Эти суждения свои Лука иллюстрирует большим числом примеров, которые черпает из сочинений французского физиолога Шарля Рише (1850—1932), английского физика и химика Вильяма Крукса (1832—1919). В качестве аргументов служат ему также мнения философов Анри Бергсона (1859—1941), Иммануила Канта (1724—1804) и Густава Теодора Фехнера (1801—1887). Приводит Войно и собственные наблюдения, добытые в хирургической клинике. Другая линия доказательств, богословская, выглядит в виде длинного перечня цитат из Священного Писания. Перечни эти занимают от одной до семи страниц на каждое доказательство.

Следующий этап книги — размышление о роли души и духа в психических процессах. Изложив учение И. П. Павлова об условных рефлексах, Лука резюмирует: «Мы полностью принимаем это глубокое научное представление о деятельности сознания, но только не считаем его исчерпывающим». И далее: «В актах и состояниях сознания всегда участвует наш дух, определяя и направляя их. В свою очередь, дух растет и изменяется от деятельности сознания, от его отдельных актов и состояний».

Под душой Лука понимает «совокупность органических и чувственных восприятий, следов воспоминаний, мыслей, чувств и волевых актов, но без обязательного участия в этом комплексов высших проявлений духа, несвойственных животным и некоторым людям». Что касается самопознания, то субъектом его является не ум, а дух. «Ибо ум есть только часть духа, а не весь дух...»

С особой охотой и удовольствием сообщает автор о трансцендентальных способностях человеческого духа. «Мы обладаем не только пятью чувствами,— утверждает он.— Есть у нас способности восприятия высшего порядка, неизвестные физиологам». Вслед за этим следует рассказ, взятый из книги Карла дю Преля «Философия мистики», о том, как некая девица в присутствии физика Берцелиуса в 1945 году, прикасаясь ладонью к пакетикам с химическими препаратами, распределила их по какому-то ей одной ведомому ощущению на заряженные электрически положительно и отрицательно. К сверхъестественным, научно необъяснимым способностям Лука относит также вещие сны, пророчества, физиологически необъяснимые, чудеса памяти, в которых он снова усматривает первенство духа.

С «работой» духа связывает он и процесс познания. Наши органы чувств дают лишь слабо выраженную и неглубокую картину внешнего мира. Более глубокое познание возможно лишь благодаря духу, причем «чем выше духовность человека, тем ярче выражена эта способность высшего познания».

В последней главе развивается мысль о бессмертии. Архиепископ Лука верит в существование организмов более совершенных, чем человек (это вытекает из процесса эволюции, которую он признает). Отсюда вера его в существование ангелов, духов, «могущих совершенно неизвестными нам путями, по своей воле изменять материю, изменять некоторые наши мысли, принимать участие в нашей судьбе»... К этому выводу пришли, по словам Войно, и физиолог Шарль Рише, и английский физик Оливер Лодж. Суть их выводов заключается в том, что дух человеческий имеет общение с миром трансцендентальным, вечным, жи-

вет в нем и сам принадлежит к вечности. Более того: «В бессмертном человеческом духе продолжается вечная жизнь и бесконечное развитие в направлении добра и зла после смерти тела, мозга и сердца и прекращения деятельности души».

Остается добавить несколько слов о пропущенной нами второй главе книги, названной «Сердце как орган высшего познания». «Наши анатомо-физиологические знания о сердце,— утверждает Войно-Ясенецкий,— побуждают нас считать сердце важнейшим органом чувства, а не только центральным мотором кровообращения». В поисках доказательств этой несколько необычной тезы он обращается к огромному числу цитат из Священного Писания, к строкам, из которых явствует, что сердце веселится, радуется, скорбит, терзается, волнуется, тревожится, кипит, горит, смущается, его сокрушают поношения, оно способно к великому чувству упования на Бога. Тут же Лука обращает к читателю слова, полные глубокой веры и страсти:

«Как это ни сомнительно для неверующих, мы утверждаем, что сердце может воспринимать вполне определенные внушения, прямо-таки глаголы Божии. И это не только удел святых. И я, подобно многим, не раз испытывал это с огромной силой и глубоким душевным волнением. Читая или слушая слова Священного Писания, я вдруг получал потрясающее впечатление, что эти слова Божии обращены непосредственно ко мне. Они звучали для меня как гром, точно молния, пронизывали мой мозг и сердце. Отдельные фразы совершенно неожиданно точно вырывались для меня из контекста Писания, озарялись ярким, ослепительным светом и неизгладимо отпечатывались в моем сознании. И всегда эти фразы, Божьи глаголы, были важнейшими для меня в тот момент внушениями или даже пророчествами, неизменно сбывавшимися впоследствии».

Исчерпав цитаты из Писания, Лука обращается за подтверждением своей правоты к опытам академика И. П. Павлова, к ссылкам на Паскаля, Шопенгауэра, Эпикура и Бергсона. Учение Бергсона особенно дорого Луке, ибо в книге «Душа и тело» французский философ в полном единении со взглядами Луки утверждает, что: «Мозг не что иное, как нечто вроде телефонной станции: его роль сводится к выдаче сообщения или к выяснению его. Он ничего не прибавляет к тому, что получает». И еще: «Мозг не орган мысли, чувства, сознания, но он приковывает сознание, чувство и мысль к действительной жизни, заставляет их прислушиваться к действительным нуждам и делает их способными к полезному действию. Мозг, собственно, орган внимания к жизни, приноравливания к действительности». Эти выводы философа-метафизика, по мнению Войно, полностью совпадают с тем, что обнаружил своими экспериментами академик Павлов. «Если, таким образом, мозг не считать органом чувств и исключительно органом высшего познания,— заключает Лука,— то это в огромной мере подтверждает учение Священного Писания о сердце как об органе чувств вообще и особенно высших чувств».

Таково краткое содержание трактата «О духе, душе и теле», написанного так, как будто не стало вдруг на Руси ни редакторов, ни цензуры, ни Декрета об отделении Церкви от государства, после которого, как известно, самый жанр религиозно-философского сочинения вывелся под корень. Лука не только писал свой труд совершенно раскованно, но не скрывал от близких, что ценит его выше прежних своих хирургических книг. Писал, что сочинение его «займет почетное место в религиозно-философской литературе», что оно «послужит диссертацией на степень магистра богословия». Считал он также, что книга его «имела бы огромное значение в деле религиозного просвещения отпавших от веры или никогда не знавших ее, если бы могла быть напечатанной».

Но...

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется.

Предугадать будущее рукописи Луке не удалось. Она не исчезла вместе со своим автором в недрах КГБ, как это случилось со многими другими сочинениями самиздата. Более того: она живет доныне. Но жизнь эта мало похожа на ту, которую предрекал ей архиепископ Лука 40-х годов.

Чтобы оценить это произведение по достоинству, я обратился к сведущим людям. «Книга арх. Луки была пионером церковного самиздата послевоенного времени,— прокомментировал протоиерей о. Александр Мень.— Она написана в трудных условиях, когда ощущалась острая нехватка литературы, как богословской, так и философской. Поэтому автор вынужден был пользоваться преимущественно литературой старой. Однако в целом она отражала состояние науки (не богословия!) тех лет. Более того, в каком-то смысле книга была новаторской. В то время, когда советские авторы тщательно избегали проблем, связанных с ломкой в сфере физики (эти темы стали господствующими в физической литературе только в конце 50-х и в 60-е годы), арх. Лука дал яркую и объективную картину революции в физике...» Главными достоинствами рукописи о. Александр Мень считает широкое привлечение данных современной науки, свободный и смелый подход к трудным проблемам мироздания, законную попытку изложить миросозерцание ученого-христианина в едином живом синтезе. Он обращает внимание на то, что для подтверждения тезиса о самодовлеющей силе духа Лука привлек факты из парапсихологии за много лет до того, как к тезису этому обратились советские авторы (Васильев и др.). Интересно и другое: Лука заявил себя сторонником теории всеобщей одушевленности (панпсихии) и нарисовал величественную картину творческих процессов в мироздании, ничего не зная о взглядах классика этой темы — французского ученого богослова Тейяра де Шардена.

Но в трактате «О духе...» критик обнаружил и серьезные недостатки. О. Александр Мень считает, что автор крайне неорганично соединяет научно-апологетический материал с чисто богословскими рассуждениями. Десятки цитат из Священного Писания присутствуют на страницах рукописи совершенно инородно, и, наоборот, полностью отсутствуют у Войно-Ясенецкого ссылки на цитируемую литературу.

Богословски слабо аргументированной считает рукопись Луки и профессор Московской Духовной Академии протоиерей Александр Ветелев (1892—1976). С Крымским архиереем Ветелева связывали многолетняя переписка и дружественные отношения. Ветелев высоко ценил проповеди Луки. Однако книгу «О духе, душе и теле» о. Александр считает произведением интересно задуманным, но слабо исполненным. Войно, по его словам, не владел богословским мышлением, недостаточно хорошо знал и такие богословские предметы, как катехизис, каноническая мораль, гомилетика, литургика. «Архиепископ Лука,— говорит проф. Ветелев,— только собрал материал, но не сумел его раскрыть».

Что можно прибавить к мнению специалистов? Лука и сам признавался в том, что, работая над трактатом, не имел под рукой необходимой литературы: «Писать приходится в тамбовской глуши. С тоской вспоминаю о богатых Публичной и Университетской библиотеках Ташкента»,— сообщал он Ошанину. И проф. Ветелеву: «Когда я писал свое сочинение «О духе, душе и теле», то мне пришлось вовсе немного читать, и все это сочинение было плодом только моих размышлений».

И все же мне хочется сказать несколько слов в защиту книги. Нет, вовсе не для того, чтобы оспаривать мнение богословов. Соглашаюсь: богатырский замах не удался,— разрушение «чистого» материализма и утверждение материализма «одухотворенного» на этот раз не состоялось. Знаний ли не хватило автору, или, как говорится, «не дошла еще наука» — Бог весть. Но сама по себе эта «попытка с негодными средствами» представляется мне неповторимо самоценной. Трактат архиепископа Луки важен не системой доказательств, не цитатами, удачно или неудачно скомпонованными, но самим порывом автора, безраздельной верой его, которой полнится каждая строка рукописи. Читая его, хочется верить. Захватывает самый стиль, самый ритм его повествования. Он не себя убеждает в бессмертии духа, в непостижимых возможностях духовной энергии. «Для нас, христиан, не надо никаких других доказательств бессмертия»,— восклицает автор, процитировав соответствующую строку из Откровения Апостола Иоанна. Ему доказательства действительно не нужны. Но по крохам собира-

ет он их для будущего читателя. Для миллионов отпавших и непросвещенных старается архиепископ Лука. И нельзя не чувствовать восхищения перед этим трудом, этим порывом. Даже некоторый перехлест тут к месту. Неверующему, но ищущему его трактат не позволяет остыть, остановиться на полпути. Он волнует, он вселяет надежду на то, что истина лежит где-то здесь, где-то рядом, что когда-нибудь и слепец сможет нащупать ее...

У современников книга архиепископа Луки успеха не имела. До разбора тех недостатков, о которых было сказано выше, дело даже не дошло. Ее, правда, взяли для публикации в «Богословском вестнике», но затем под благовидным предлогом вернули автору. Духовная Академия в Москве также не пожелала рассмотреть этот труд как диссертацию. Рясоносных рецензентов рукопись пугала своим открытым несогласием с государственной естественнонаучной доктриной. Не по вкусу пришелся профессуре МДА сильный научный дух сочинения. Непривычно было читать в богословском трактате про электроны, протоны, нервные рецепторы и павловские рефлексы. Эту сословную неприязнь к автору-профессору и его методологии много лет спустя откровенно выразил Архиепископ Ставропольский Иона. В 1971 году, отдыхая в Коктебеле, Владыка на вопрос о Войно-Ясенецком заметил, что люди, приходящие в Церковь из науки, «тащат с собой слишком много реализма». Из дальнейшей беседы выяснилось, что преосвященный прежде всего имел в виду излишний для церковнослужителя материализм книги «О духе, душе и теле». В своих антипатиях Иона Ставропольский не был одинок.

В 1948 году симферопольский уполномоченный по делам Православной Церкви донес в Москву, что Лука читает в Кафедральном Соборе серию проповедей антиматериалистического характера. Речь шла об изложении основных мыслей рукописи «О духе, душе и теле». Курс этот Лука задумал довести до сведения своей паствы на ранних обеднях, выступая по возможности ежедневно. Очевидно, несколько таких проповедей было произнесено, когда сработал московский механизм. Карпов выразил свое неудовольствие Патриарху, Патриарх немедленно направил в Симферополь послание, в котором запретил Крымскому архиерею читать «курс», а заодно напомнил, что подобает ему, дабы не ронять архиерейское достоинство, выступать перед верующими только по праздникам и говорить не более десяти минут.

Разно виделось понятие достоинства аристократу Симанскому и интеллигенту Войно-Ясенецкому. Ох, как разно... Надежда Александровна Павлович рассказывает со слов хорошо знакомого ей в те годы Епископа Рижского Вениамина (Федченко), что Лука присылал ему в Ригу образцы своих «лекций». Первая строка первой проповеди звучала примерно так: «Некоторые невежественные люди говорят, что Бога нет...» Далее следовал апологетический текст со ссылками на новейшие факты науки и выпадами против «невежд». Получив запрет от Патриарха, Лука обратился к Вениамину с письмом, полным скорби и негодования: «Должен ли я подчиняться указаниям Святейшего? Ведь проповедь — главный долг епископа...» Более покладистый и изрядно помятый жизнью рижский архиерей (он пережил многолетнюю эмиграцию и вернулся на родину лишь в 1945 году) посоветовал крымскому коллеге смириться. «Мы учим подчиняться других и сами должны показать пример послушания». На это Лука ответил, что приказу подчиняется, но делает это с болью душевной.

Рукопись «О духе, душе и теле», пионер церковного самиздата, так и осталась в самиздате. В разных городах страны мне приходилось слышать о ее многолетней потаенной жизни, о перепечатке истрепавшихся экземпляров, о том, что верующие интеллигенты передают ее из рук в руки, обсуждают ее, спорят. Но одновременно этому многострадальному сочинению суждена была и другая «слава». Один экземпляр непонятными путями достиг рукописного отдела Музея истории религии и атеизма в Ленинграде и тут, уже после смерти автора, был превращен в этакого «мальчика для битья». Трактат использовали для своих целей несколько молодых диссертантов-антирелигиозников, его разбирал в своей монографии известный профессор, а другие авторы помельче с ругательными эпитетами таскали цитаты из архиепископа Луки по страницам пропагандистских журналов.

О полемическом стиле кандидатов и докторов философии, специализирующихся на антирелигиозной пропаганде, некоторое представление дает книга профессора М. И. Шахновича, в которой Луке уделено почти десять страниц. Со своим научным противником Шахнович дебатирует так: «Отчаяние фанатика, уязвленного в его вере, привело архиепископа (Луку) к нападкам на разум человека», «Сочинения этого богослова носят откровенный характер крестового похода против разума», «Философский идеализм Луки есть прикрытая, принаряженная чертовщина», «Научное значение трактата архиепископа Луки равно нулю...» [52]

Но были на Руси ученые, которым Лука Войно-Ясенецкий, его труды, его борьба представлялись в ином свете. Уже приводились имена С. С. Юдина, В. П. Филатова, И. Г. Руфанова, Н. Н. Приорова, В. С. Левита. Добавим к этому списку академика-физиолога Леона Абгаровича Орбели. Сын Луки Алексей вспоминает:

«Мой разговор с Леоном Абгаровичем об отце возник в августе 1958 года... Орбели уже не вставал в это время с постели и умер три месяца спустя. Не берусь воспроизвести весь наш разговор, но помню, что он удивил своей неожиданностью и проникновенностью. Смысл речи состоял в выражении отцу глубокого уважения, восхищения перед твердостью его убеждений, перед тем, что он всегда оставался врачом телесным и духовным. Твердость, несгибаемость отца особенно должны были импонировать Леону Абгаровичу, так как он сам в годы разгрома физиологической науки не отказался от своих научных убеждений. Даже тогда, когда за два месяца до смерти Сталина началась подготовка научной общественности к объявлению Орбели «врагом народа» и аресту, он ждал этого с высоко поднятой головой».

Лука Войно-Ясенецкий написал Л. А. Орбели: «Я очень тронут тем, что в долгом разговоре обо мне с моим сыном Алексеем Вы просили его передать мне Ваш низкий поклон как ученому и человеку... Вы знаете, конечно, как трудно мне было плыть против бурного течения антирелигиозной пропаганды и сколько много страданий причинила она мне и доныне причиняет... Я очень высоко ценю Вас, как весьма выдающегося ученого и смелого борца против недостойных прихлебателей славы великого физиолога Павлова.

Да продлит Господь Бог Вашу светлую и высоко полезную жизнь и да облегчит великую тяжесть работы Вашего больного сердца. Об этом буду молить Его в молитвах своих.

Архиепископ Лука.
5 сентября 1958 г.»

Будни старого человека уплотнены до последней степени. Никакой спешки, но и ни минуты попусту. В семь утра из дальней комнаты архиерейской квартиры раздается звон колокольчика — глава семьи подает своим сожителям весть о начале рабочего дня. В рубашке, не надевая подрясника, он направляется к мраморному умывальнику. Долго педантично чистит зубы, с хирургической дотошностью моет руки — отдельно каждый палец — старая привычка мыться «по Спасокукоцкому». Затем спортивными движениями разминает мышцы. Архиерею, выстаивающему пяти-шестичасовые службы, надо быть крепким. С восьми до одиннадцати — ранняя обедня. Лука в храме — сколько бы верующих ни пришло. Это не по правилам, но в Симферополе многое не так, как везде. Ежедневную (и каждый раз новую) проповедь тоже не в каждом православном храме услышишь. За предельно скромным вегетарианским завтраком секретарь Евгения Павловна Лейкфельд ежедневно читает две главы из Ветхого и две главы из Нового Завета. Потом начинаются дела епархиальные: почта, прием духовенства, назначения и перемещения, претензии властей, распоряжения Патриархии. Канцелярия тут же, в квартире. Секретарь епархии, пожилой священник о. Виталий привык к тому, что архиерей требует докладов и ясных ответов на вопро-

сы. Решения Лука принимает незамедлительно, твердо, независимо, как отрезает.

Отец Виталий — хороший работник, но область его занятий — дела сугубо церковные и в том числе общение с уполномоченным. Евгения Павловна Лейкфельд — личный секретарь. Пожилая, интеллигентная, с острой, быстрой реакцией, Евгения Павловна по духу своему, пожалуй, ближе всех к Луке, почти член семьи. Доброй ее не назовешь, но во всем густонаселенном архиерейском доме нет лица, более преданного Владыке. Это большая удача, что учительница литературы, с университетским образованием, поселилась в доме. Ее тонким, без нажима, великолепным почерком написаны сотни писем и проповедей, записаны и неоднократно перебелены «Мемуары» Луки. Она глаза, уши и руки Владыки. Раздражительная и ядовитая с другими, Лейкфельд не смеет даже в самом малом оспорить авторитетное мнение своего кумира. Ее рабочий день, как и трудолюбие, безграничны. За свою службу у Владыки она четыре с половиной раза прочитала вслух всю Библию, перечитала несчетное число газет, журналов, богословских трактатов (некоторые на немецком и французском языках).

Чтение прессы и книг продолжается до обеда. После обеда — отдых. Затем с четырех до пяти — прием больных. Под вечер небольшая прогулка по бульвару вдоль мелководного Салгира. На прогулку Владыку часто сопровождают его внучатые племянники Георгий и Николай. Лука и это время не теряет попусту. Рассказывает мальчикам главы Священного Писания. (Школа на свежем воздухе оказалась успешной: через много лет, уже взрослые люди, Георгий и Николай Сидоркины говорили мне, что навсегда запомнили преподанные как бы между прочим дедом уроки.) И снова кабинетная работа: Лука склоняется над хирургическими атласами, над проповедями, письмами — до одиннадцати вечера. Праздники ломают режим, но легче от этого день архиерея не становится. «Пишу тебе поздно вечером, вернувшись из Джанкоя (сто километров), где служил в день Покрова Пресвятой Богородицы. Литургия продолжалась (с проповедью) четыре часа и целый час благословлял людей. Устал. Всю ночь не спал».

«Не мала и моя работа, особенно теперь, Великим Постом. Моя служба длилась пять часов. Очень утомляюсь...» На эти длительные службы еще в Тамбове обижались священники: «Что, у нас монастырь, что ли?» Но Лука, как ему это ни тяжело физически, не изменил своему принципу: служба должна точно соответствовать уставу.

Летом порядок почти не меняется. Правда, из города Войно перебирается на небольшую частную дачку вблизи Алушты. Но и здесь изо дня в день продолжается та же рабочая страда. Единственное разнообразие состоит в том, что на Южном берегу Крыма он позволяет себе несколько более долгие прогулки и охотно плавает в море. Плавание он особенно любит, и пловцом показывает себя сильным и выносливым.

Затверженность быта, жестокость жизненного ритма в старости особенно желательны. Лука любит вечерний ритуал, когда в его кабинете распахиваются двери и все домочадцы, включая маленькую правнучку Чижика, входят гуськом, чтобы на ночь попрощаться с главой семьи. Любит он и общесемейные, начинающиеся молитвой трапезы, особенно если за столом желанные гости из Ленинграда, Одессы, Ташкента — внуки, дети, правнуки. В этих вечерних прощаниях и общих трапезах видится ему то самое «тихое и мирное житие», которое призывает он в своих молитвах на близких, на свою страну, на весь христианский мир. Но тишина, которой жаждет усталое сердце, износившееся, то и дело оказывается призрачной, мир — обманчивым. И, как нередко случается, самые болезненные, самые мучительные раны — от близких.

Настоящего понимания с детьми у Луки никогда не существовало. Для всех четверых церковная деятельность его была как нарыв, то утихающий, то мучительный, почти непереносимый. Во время войны молодые Войно-Ясенецкие смирились с архиерейством отца: опасность, проистекавшая от отцовских «проделок», как будто миновала. Тем более что вскоре на них, уже взрослых людей, пролился изобильный поток благодеяний.

В какой-то момент быть сыном знаменитого хирурга, лауреата Сталинской премии стало даже выгодно. Дача в Крыму — тоже фактор немаловажный. До поры до времени идеологические споры младших со старшим умолкли. Тем более что тысячные и сотенные даяния из Симферополя поступают исправно. Лука охотно помогает своим чадам. Живо интересуется каждым семейным событием: учением внуков, служебными делами старших. Успехи своих потомков в науке оценивает восторженно: «Напрасно ты не представил свою диссертацию на Сталинскую премию,— пишет он Михаилу, патологоанатому.— Думаю, что ты получил бы ее». И в письме Алексею, физиологу, в том же тоне: «Отзыв о (твоей) диссертации — большая радость для меня... Наша семья станет знаменитой в науке. Думаю, что твои научные способности еще больше, чем у Миши и Вали...» О поразительной одаренности своих детей Войно повторяет в письмах ко многим адресатам. Незадолго до смерти, уже слепой, снова пишет Михаилу: «Скажи Алеше, что, несмотря на крайнюю занятость, я прослушал сорок восемь страниц его книги и в восторге от слов Орбели о том, что эта книга — праздник советской науки. Но никак не могу понять, почему он эту книгу не представил как докторскую диссертацию».

Знает ли старый архиерей, что взрастил неисправимых атеистов? Надо полагать, знает, но, может быть, верит в их обращение. Иначе зачем же снова и снова посылать в Ленинград и Ташкент проповеди, религиозные сентенции, телеграммы такого, например, содержания: «Дорогого первенца поздравляю днем Ангела... Мученик Михаил князь Черниговский да будет тебе примером верности Христу»? Для доктора медицинских наук Михаила Войно-Ясенецкого все разговоры о Христе — просто белиберда. И для Алексея, и для Валентина тоже. Они многократно рассекали человеческие ткани и никакой души, никакого духа не обнаружили; совершали безнравственные поступки — и гром с ясного неба над ними не грянул. Белиберда!

Отец готов примириться даже с сугубо внешним вниманием детей к его чувствам и верованиям. Но молодые (впрочем, теперь не такие уже и молодые) не считают нужным поздравить старика с Пасхой и Рождеством, не желают помнить день его Ангела. Белиберда все это! Бред! Чепуха! И Лука, громогласный Лука, Архиепископ Крымский, перед которым трепещут прихожане и священнослужители, с глубокой болью сердечной шлет своим сыновьям текст телеграммы с пасхальным поздравлением от бывшей своей сослуживицы врача Левиковой и приписывает на телеграфном бланке: «Мише и Алеше в пример и укор. Еврейка неуклонно поздравляет меня с праздниками Рождества Христова и Воскресения, а вы, мои сыновья, никогда! Это глубокое огорчение для меня». Более твердых слов для увещевания близких он не находит.

Но пока архиепископ Лука судится и рядится с детьми, подрастает новое поколение. Внуки вызывают у него еще большую нежность, чем дети. Он осыпает малышей подарками, поселяет их на лето у себя на даче. Конечно же, гуляя с маленькими человечками по пляжу или парку, говорит им о мученичестве Христа, о Его заповедях. Дети слушают, кивают головенками, а на следующее лето от прошлогоднего посева и след простыл: все вытоптано. В десять—двенадцать лет рвутся последние нити, связывающие его с этими новыми Войно-Ясенецкими. Для внуков, взращенных в материальном и духовном убожестве послевоенных лет, дед-архиерей — не что иное, как ископаемый мамонт. Что-то смешное и стыдное чудится во всех его разговорах. Ведь и в детском саду, и в школе, и дома им много раз повторяли: никакого Бога нет. И черта тоже нет. А есть наша социалистическая наука, которая все мировые проблемы решит запросто. Лука с горестным изумлением глядит на родных ему по крови и таких непонятных, чужих людей. Он ли положил начало этой странной веточке рода людского?

И все же отступать перед безверием он не привык. Старик берется за перо, чтобы усовестить дочь Елену, которая сама уже стала бабушкой: «Помните ли ты и Аня (внучка) о своей великой ответственности перед Богом, если вы не заботитесь, чтобы научить Ирочку и Катюшу закону Божию и молитвам?

Ведь они под страшной опасностью антирелигиозной пропаганды. Я мог бы прислать тебе изданный Патриархией Новый Завет с Псалтирью, если ты и Аня дадите обещанье читать их моих правнучкам. Новый Завет мне с трудом удалось достать в четырех экземплярах для всех детей». Пустое. Никому не нужны ни его с трудом добытые книги, ни его с еще большими муками постигнутый жизненный опыт. Любимец Луки, школьник Алексейка, сын Михаила, приехав на алуштинскую дачу, деловито излагает деду, какие именно суждения относительно религии существуют у них в пионерском отряде. Точку зрения Мани-пионервожатой он, Алексейка, считает истиной в последней инстанции и ничего другого не желает знать.

Алексейка стал Алексеем Михайловичем, женился, привез в Алушту жену Лену. Но и эта встреча, от которой Лука ожидал многого, окончилась полным взаимным непониманием. Молодая женщина с презрением говорила о церкви, о церковниках. Какой там Бог? Ведь спутник в космосе летает. Лука попытался что-то объяснить молодой даме, но нарвался на жесткую оппозицию. Она приехала спокойно отдыхать на приморской даче, а не выслушивать проповеди.

Последние годы жизни омрачены мыслью о поколении, которое упорно отталкивает все, что связано с верой, с церковью. Что сделало их такими? Воспитание? Пропаганда? Ответ рядом, совсем близко, но это «рядом» находится в миллионах километров от миропонимания архиепископа Луки. Да, и пропаганда, и семейное воспитание. Но сильнее слов действует практический опыт, который эти юнцы извлекают прямо из окружающего воздуха, из атмосферы своей эпохи. «Будешь якшаться с попами — перекроем все дороги, выгоним из института, не дадим заниматься наукой, зашлем в глухомань, сгноим, задушим». Вслух такое произносят редко. Но каждый студент, комсомолец знает: это не пустые угрозы. Ибо хоть раз да присутствовал на собрании, где шельмовали и исключали верующего товарища, хоть раз да слышал, как это делается в других институтах, в других городах. Какой же здравомыслящий советский юноша, какая же здравомыслящая советская девушка, имея альтернативу: «Вера или карьера»,— не шарахнется от опасной церковной ереси? Их и обвинять-то не в чем. Ведь мы воспитывали их здравомыслящими реалистами...

Где было архиепископу Луке понять глубинный смысл происходящего? Как ему догадаться о душевном оскоплении, произведенном над его близкими? Он слишком прост. И в простоте свой год спустя, когда у Алексейки и Лены родился ребенок, запрашивает: «Почему не пишете мне, крещена ли Танечка?» Так они и совмещаются в нем: простота и мудрость, способность к философскому прозрению и элементарная слепота...

О слепоте настоящей, а не фигуральной задумался Лука впервые вскоре после войны. Зрение на единственном глазу начало угасать еще в Тамбове. Дальше — хуже. Осенью 1947 года пришлось поехать в Одессу к Филатову. Знаменитый окулист осматривал долго, обстоятельно, подал надежду: до слепоты далеко. «Филатов нашел у меня помутнение хрусталика, которое будет прогрессировать медленно, и способность читать сохранится на несколько лет (от 3-х до 10-ти)».

Одесский прогноз оказался правильным. Четыре года спустя Крымский Архиерей все еще может, хотя и с трудом, читать и писать. Почерк его, правда, потерял свою чеканность, но это все та же рука, за которой угадывается характер, отнюдь не расплывчатый. Может быть, хватило бы ему зрения и до конца дней, но весной 1952 года, не рассчитав своих сил, Войно снова провел несколько недель (как всегда, с утра до вечера) в московских медицинских библиотеках. Переутомил глаз, зрение стало падать буквально по неделям. Исчезло ощущение цвета, предметы обратились в тень. Теперь на приеме профессору приходилось спрашивать у секретаря, какого цвета у больного опухоль, как выглядят у пациента кожные и слизистые покровы. В конце концов Лука отказался и от приема больных, и от подготовки второго издания «Регионарной анестезии».

Осенью 1952 года профессор Филатов, состоявший с Войно в переписке, предложил ему предварительную операцию — иридэктомию. Лука в Одессу не поехал: решил, что у него, как у диабетика, операция может окончиться нагноением. Прошел еще год. Филатов собирается в Крым, но неожиданная болезнь расстраивает поездку. В доме Симферопольского Архиерея надежды снова сменяются унынием. Унывают в основном родственники. Лука же учится передвигаться по комнате ощупью и ощупью же подписывает бумаги, подготовленные секретарями. Подпись, сделанная вслепую, выглядит задористо, ползет круто вверх. Молодой епископ Михаил Лужский, приехавший в Симферополь, чтобы познакомиться со знаменитым собратом, вспоминает:

«Я переступил порог и увидел Владыку, который стоял посредине кабинета. Руки его беспомощно шарили в воздухе, он, очевидно, пытался сыскать затерявшееся кресло и стол. Я назвал себя и услышал низкий, твердый голос, который совершенно не согласовывался с позой хозяина дома: «Здравствуйте, Владыка. Я слышу Ваш голос, но не вижу Вас. Подойдите, пожалуйста». Мы обнялись. Завязалась беседа. Лука угощал меня виноградом, чаем, расспрашивал о московских и ленинградских новостях. Его интересовала и моя служба, и где я учился, кто были мои учителя. Спросил, между прочим: «На Вас панагия?» Ощупал: «Настоящая. А что же секретарь сказал, что на Вас крест?» Во время разговора он встал и включил огромную мощную лампу позади часов с прозрачным циферблатом. Явно напрягаясь, сам разглядел время. Я и потом замечал: все, что только мог, он делал сам. Слепота не подорвала его волю и не разрушила яркости восприятия: когда я спросил — видит ли он сны, Владыка ответил: «О, еще какие! В цвете!»

В день Ангела Крымского Архиерея епископ Михаил присутствовал на торжественном молебне, и от него снова не укрылось это смешение слабости и силы в поведении именинника. В храме священники водили его под руки, а когда кончился молебен и торжественные речи, он, как будто вдруг прозрев, вышел на паперть самостоятельно. Тут у выхода его ждала толпа неверующих с цветами: «Дорогой наш доктор...» Лука стоял, улыбаясь, среди недавних пациентов, благословляя этих своих детей, как и тех, что находились в храме. И было видно, что окружающие видят в нем не слабого слепого старика, а учения, целителя, благодетеля, сильного своей наукой и своей верой [53].

В начале 1955 года в глазу померк последний проблеск света. Все. Тьма. И вдруг среди непроглядной ночи — огненный язычок надежды. Филатов стар и больше не оперирует, но зато в Крым едет его ближайший ученик доцент Шевелев. Родным и знакомым Лука сообщает о предстоящих переменах в своей жизни: «Твердо верю, что Господь возвратит мне зрение...» Но одесский чародей опоздал по крайней мере на два года. Поздно. «Шевелев нашел у меня далеко зашедшую глаукому. Операция, которую он назвал рискованной и очень рискованной, в лучшем случае могла бы дать мне очень малое зрение, но никак не способность читать».

Как же относится Лука к постигшей его беде? Мне пришлось говорить об этом с профессором-офтальмологом Медведевым, который до 1951 года жил в Симферополе и лечил тамошнего архиерея. По его мнению, «Лука боялся смерти и слепоты». У двух медиков — атеиста и христианина — несколько раз возникали споры о происхождении, сущности и предназначении человека. Медведев утверждает, что в страхе перед надвигающейся тьмой его пациент прятался за идею бессмертия, за мысль о «духовном прозрении» вместо зрения реального. Не рискую выступать арбитром в споре, которого не слышал, но выражение «прятаться» как-то мало достоверно, когда речь идет о Войно-Ясенецком.

Как и любой нормальный человек, Лука не желает слепоты. Кроме естественного стремления сохранить для себя многокрасочный мир и солнечный свет, он помнит о не доведенных до конца хирургических трудах, о неопубликованной и в чем-то не завершенной богословской рукописи. Томит его и беспокойство о будущем родных, тех, кого он содержит на свое архиерейское жалованье. Об этом он говорит, пишет, размышляет. Но к слепоте как к бедствию человеческого тела и духа у него совсем другое отношение, чем представляет себе его оппонент профессор-материалист Медведев. Задолго до потери зрения совсем по другому поводу Лука писал в трактате «О духе, душе и теле»:

«Пока наша жизнь проистекает в калейдоскопе и шуме внешних восприятий, пока в полной силе работает наше феноменальное сознание — никогда не прекращающаяся работа сверхсознания скрыта. Но когда в состояниях сна, нормального, сомнамбулического или гипнотического, при отравлении мозга опиумом, гашишем или токсинами лихорадочных болезней угасает нормальная деятельность мозга и меркнет свет феноменального сознания, тогда вспыхивает свет сознания трансцендентального. Известно также, что слепота усугубляет работу мысли и нравственного чувства, значительно отодвигает порог сознания. Философ Фехнер создал наиболее глубокие свои сочинения после того, как потерял зрение; князь Василий Темный сказал ослепившему его: «Ты дал мне средство к покаянию».

Повторяю: это было написано задолго до того, как свет окончательно скрылся из глаз Луки. После же того, когда неизбежное случилось, никто не слыхал от него жалоб или ропота. Атеисту профессору Медведеву, очевидно, странными показались бы слова Луки: «Я принял как Божию волю быть мне слепым до смерти, и принял спокойно, даже с благодарностью Богу. Слепота не помешает мне оставаться до смерти на своем посту». Поза? Ее можно предположить по отношению к постороннему человеку. Но с детьми своими Лука всегда оставался абсолютно искренним. Да и не такая это вещь — слепота, чтобы играть по ее поводу словами. Между тем на второй день после приезда в Симферополь офтальмолога Шевелева он сообщает дочери Елене: «От операции я отказался и покорно принял волю Божию быть мне слепым до самой смерти. Свою архиерейскую службу стану продолжать до конца». И год спустя по тому же поводу Алексею: «Слепота, конечно, очень тяжела, но для меня, окруженного любящими людьми, она несравненно легче, чем для несчастных одиноких слепых, которым никто не помогает. Для моей архиерейской деятельности слепота не представляет полного препятствия, и думаю, что буду служить до смерти».

Мотив «служить до смерти», служить до конца, не случайно повторяется так упорно в письмах середины 50-х годов. Луку серьезно беспокоит, не лишат ли его, незрячего, архиерейской кафедры, не отправят ли за штат. В раздумьях этих не последнее место занимает и судьба племянниц, их детей, внуков и правнуков [54]. Для беспокойства есть достаточно оснований. Каноническое правило, принятое на одном из Вселенских Соборов, гласит, что слепой не может быть епископом. Правило это не относится к строго исполняемым, и тем не менее кое-кто из обиженных Лукой крымских священников, да и некоторые деятели в Патриархии несколько раз поднимали вопрос о епископе, который занимает свое место «не по закону». Почти три года положение Войно оставалось крайне неустойчивым. Слухи, то добрые, то мрачные, возникали и лопались. Трижды Патриархия командировала в Крым комиссию, чтобы проверять, как слепой архиерей исполняет свои обязанности. Отзывы, очевидно, были получены положительные, так что в конце концов Патриарх, как говорят, махнул рукой и оставил беспокойного архиерея на месте. Сделал он это с обычной аристократической деликатностью. В день восьмидесятилетия Луки — 27 апреля 1957 года — кроме поздравительной телеграммы, прислал юбиляру икону Святителя Алексия. В церковной среде, как и в среде партийной, такие намеки начальства понимают мгновенно: разговоры об отстранении Луки от должности прекратились.

Был в этой истории еще один маленький, совсем крохотный нюанс. На полгода раньше, в конце 1956 года, Лука тоже сделал Святейшему подарок — послал только что отпечатанную монографию «Очерки гнойной хирургии» — третье издание. Он сознавал, что «Патриарху... она ни к чему», но в том многолетнем полемическом диалоге, что вели интеллигент-епископ и аристократ-Патриарх, новое издание монографии приобретало уже не научный и не общекультурный, а символический смысл. Однако люди разного склада, они и символ этот поняли каждый по-своему. «Меня считают крупным ученым,— радировал своим подарком Лука.— Мои научные идеи все еще нужны людям. Я мыслю, Ваше Святейшество, значит, существую». Патриарх же в полученном подарке увидел совсем иную информацию: «Власти печатают мою книгу и тем демонстрируют ко мне свое благоволение. Обратите внимание, я имею поддержку в верхах...» Подарок из Крыма Святейший понял как сигнал предупредительно-угрожающий. И реагировал на него, как обычно в таких случаях,— уступил...

Между тем выход в свет третьего издания «Очерков» меньше всего свидетельствовал о благоволении «верхов» к автору. С просьбой переиздать монографию Лука обратился сначала в медицинское издательство. Отказали. Потом к министру здравоохранения СССР. Хлопоты начались еще при жизни Сталина. По памяти военных лет ожидал Войно от высших сфер дружелюбия и внимания, но времена переменились. Как общественный деятель он никому больше не был нужен, а как ученый-медик для нового министра, человека военного, стоял в ряду других и даже ниже, ибо не участвовал в боевых операциях, как генералы медицинской службы Вишневский-младший или Куприянов. Министр Е. Смирнов довольно сухо ответил профессору Войно-Ясенецкому, что просьба о переиздании монографии не может быть удовлетворена «в связи с изменениями, происходящими в советской медицинской науке после Объединенной сессии двух Академий, посвященной физиологическому учению академика И. П. Павлова».

Это была полуправда. Отмеченная Сталинской премией монография не могла быть переиздана в том же виде снова шесть лет спустя совсем не потому, что наука далеко шагнула вперед. Не научные, а политические события стояли на пути ее выхода в свет. После августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года, в результате которой три тысячи биологов потеряли работу, а многие и свободу, Сталин решил устроить еще несколько подобных сессий-чисток. Гибрид политического террора и научной дискуссии замышлялся как средство рассорить, разделить научную интеллигенцию, превратить исследовательские учреждения в гнезда злобы, зависти, раздутого тщеславия и националистической нетерпимости. К науке эти дискуссии отношения не имели, зато четко согласовывались со сталинской внутренней политикой, направленной на уничтожение любых зародышей мысли и творчества. Первыми жертвами стали специалисты в области языкознания и физиологии. В будущем предполагалось вовлечь в самоистребительную дискуссию также физиков.

Начиналось каждое такое побоище с того, что научные разногласия, до того интересующие лишь узкий круг специалистов, вытаскивались на всенародное обозрение. Центральные газеты вдруг приобретали характер научных журналов. «Правда» и «Известия» взахлеб обсуждали тонкости генетики, проблемы нервизма или переключались на семантику и лексику. Страсти накаляли не очень грамотные, но страстные комментарии журналистов. И вот уже специальные вопросы становятся предметом политического разбирательства. А где в России дело доходит до политики, там добра не жди. Кипит разрешенная сверху «борьба»; разделенные на «правильно» мыслящих и мыслящих «неверно» ученые оскорбляют друг друга. Поносят диссертации и монографии противников. Победители (они назначены заранее) отнимают у побежденных должности, зарплаты, разгоняют чужие школы, закрывают лаборатории.

В январе 1950 года начался бой «за торжество физиологического учения академика Павлова». По обе стороны баррикады стояли ближайшие ученики великого физиолога. В верхах, однако, было предрешено, что тузить станет академик Быков и быковцы, а мальчиками для битья окажутся академик Орбели и его школа. Орбели обвиняли в том, что он искажает Павлова, недопонимает Павлова, принижает Павлова. А далее — оргвыводы. Корреспондент одной из московских газет, я присутствовал на печально знаменитой Объединенной сессии двух Академий — Медицинской и «большой». Зал Московского Дома ученых. Над сценой висел густо малиновый, будто кровью набрякший, транспарант со словами товарища Сталина о том, что свободная дискуссия — воздух науки. А под транспарантом, в буре ругательств и поношений, бледное, с каплями пота на лбу лицо академика Орбели, нервно глотающего воздух, которого после пятичасового заседания ему явно не хватает. (На этой сессии Леон Абгарович и получил ту болезнь, которая позднее свела его в могилу.) Два года спустя министр здравоохранения СССР именем этой вот Объединенной сессии требовал от Войно-Ясенецкого переделать его книгу «в новом духе».

В чем действительно состоял сей «дух» и как операции по поводу остеомиелита следовало соотносить с павловским нервизмом, Лука разобраться не мог. Но истина брезжила для него в другом. Оскорбления и публичные пинки, обрушенные на талантливого ученика Павлова — Орбели, показывали, что вокруг творится какая-то неправда. Тотчас после Павловской сессии он сообщает сыну: «Низкая травля Орбели так возмутила меня, что я написал ему сегодня письмо».

Но эмоции эмоциями, а без павловской начинки, без затверженных формул в духе «центральная нервная система решает все» монография Войно выйти в свет не могла. После министра Смирнова это подтвердил специальным письмом его заместитель Белоусов, а затем и министр здравоохранения Третьяков. Конечно, можно отказаться от публикации, а заодно и от всей облепившей науку лжи, но в Симферополь нередко приходят письма от хирургов-практиков, они жалуются: необходимое им для работы второе издание «Очерков» давно разошлось. Достать книгу невозможно, а работать без нее — тоже. Надо помочь коллегам, но как это сделать? Войно слеп. Поразмыслив, однако, он принимает решение — взять соавтора. Это должен быть видный хирург, который разбирается в современных околопавловских поветриях и вместе с тем может дополнить книгу новыми данными о лечении гнойных болезней.

Искать такого специалиста пришлось почти два года. Одних отпугивала мало ведомая им гнойная хирургия, других — необходимость заниматься научным политиканством. «Профессор Левит, к которому я обращался с просьбой указать, к кому из московских хирургов я мог бы обратиться с предложением дополнить мою книгу, ответил мне, что никто из московских хирургов не интересуется гнойной хирургией, и даже заведующие гнойными отделениями тяготятся ею и стремятся поскорее перейти на «чистую» хирургию. Думаю, что и в Ленинграде дело обстоит так же. Поэтому переиздать книгу можно будет только тогда, если ты один или вместе с Алешей внесете поправки по Павловскому учению»,— писал Лука сыну Михаилу. Дети, однако, на эту работу не согласились. В какой-то момент казалось, что с переизданием вообще ничего не получится. Только глубокой осенью 1954 года опытный ленинградский хирург А. В. Колесов принял предложение о соавторстве. Полгода спустя рукопись с чрезвычайно лестным предисловием хирургов-академиков Бакулева и Куприяиова попала в издательство и вышла в свет осенью 1956-го [55]. Чтобы попасть в руки врачей, третьему изданию понадобилось в общей сложности столько же, сколько и второму,— пять лет. По сравнению с первым изданием это был несомненный прогресс: первого издания «Очерков гнойной хирургии» автор ждал вдвое больше. Быть пророком в своем отечестве — дело хлопотное.

Было бы несправедливо, рассказав о последнем издании классического труда профессора Войно-Ясенецкого, оставить в тени еще одно действующее лицо. Мы уже упоминали в нашей книге ташкентского хирурга-партийца Петра Петровича Царенко. Он снова обнаружил себя в те дни, когда, живя в симферопольской гостинице, я опрашивал горожан о последних годах жизни архиепископа Луки. Перебывало тогда у меня много народа. Явился и Царенко. От его посещения осталось чувство странное, почти мистическое: явственно вижу перед глазами дорогую шляпу и богатое пальто, красивую солидную трость визитера, но — хоть убей! — не могу вспомнить его лица. А ведь два часа разговаривали! Два часа рассказывал мне профессор на пенсии Царенко свою жизнь, запись беседы тоже почему-то заняла в моей тетради очень мало пространства.

Что сказать об этой подходящей к концу жизни? Из низов. Бежал в двадцатом голодном году с Волги в Ташкент — город хлебный. Но в отличие от знаменитого Мишки Додонова в Туркестане зацепился, прижился. Учился в университете. Активный общественник со студенческих лет. Слушал лекции Войно. Делал попытки изгнать «попа» из университета. Не удалось, о чем и поныне жалеет. Впрочем, в 40-х годах эту ташкентскую неудачу Петр Петрович исправил. По его настоянию симферопольский мединститут отверг Войно как ученого и преподавателя: «Мы ведь знали его нечистое прошлое: тюрьмы, ссылки, проповеди». Царенко в разных городах занимал ряд высоких постов, в основном административных и партийных. На науку времени не хватало: «Партийная работа всегда захватывала меня с головой». Монографии? Научная школа? Нет, не написал, не растил. Был, однако, у этого человека свой «звездный час», когда предоставила ему слепая судьба внести свое имя в научные анналы. Но Петр Петрович оказался в тот час еще более слепым, нежели судьба. О том случае рассказал он мимоходом, как об эпизоде комическом, малозначащем.

«Что-нибудь в пятьдесят четвертом году я получил от Ясенецкого письмо с просьбой зайти к нему по важному делу. До этого я дважды навещал его в архиерейской квартире как консультант. Болезней у него было больше чем достаточно: и слепота, и диабет, и атеросклероз. Печень увеличена, асцит, декомпенсация — сердце как тряпка. Развалина. А умирать не хотел, хотя и монах. На этот раз оказалось, что он хочет переделывать свою «Гнойную хирургию». А поскольку сам слаб и слеп и работать планомерно не может, то приглашает меня в соавторы. В книге своей он хотел оставить все, как было, а чтобы я дописал к каждой главе развернутые примечания: дескать, в данной области за последние годы появились такие-то и такие-то новости. Я сказал, что мне его книга во многом не нравится, что мое новое будет опровергать его старое. Возникает дискуссия, борьба. Лучше написать все сначала. Лука сказал, что подумает. А я прямо от него пошел в обком партии, где я был участником пленума, и рассказал все секретарю по пропаганде. Так, мол, и так, меня, старого партийца, церковник приглашает вместе писать книгу, должен ли я соглашаться? Секретарь сразу не мог дать ясного ответа, позвонил в ЦК, в Москву: «Кто такой Царенко? Наш человек? Партийный?» Секретарь говорит: «Наш, партийный». «Тогда пусть не связывается с попами»,— ответили в Москве. После этого я к Луке больше — ни ногой» [56].

К сожалению, не могу вспомнить, какое у Петра Петровича было выражение лица, когда он произнес это свое «ни ногой». Надо полагать, победоносное. Иначе и быть не могло: его вовлекали, а он устоял, не поддался. И не только сам спасся от растленного религиозного влияния, но и других упредил.

Так запугал он своих симферопольских коллег «нечистым» прошлым Луки, что законопослушные медики за несколько кварталов обходили архиерейскую квартиру.

Я с ними тоже говорил, с «законопослушными». Пожимают плечами: да, было, Царенко «пужал», но, и впрямь, как не опасаться этого странного Войно. Судите сами. Годы шли, один другого страшней: в 1948—1949 годах массовые «повторные» аресты, берут тех, кто сидел когда-либо в прошлом. Заодно не щадят и «свежих». Газеты и радио нагнетают ненависть к американским империалистам с их атомной бомбой. Под шумок своим чередом катится антисемитская кампания, завершившаяся в 1952—1953 годах грандиозным делом «врачей-отравителей». А Лука живет, будто нет вокруг ни опасностей, ни страха. Еще и не слеп, а ведет себя как незрячий. В середине апреля 1951 года произносит в Кафедральном Соборе проповедь: «Несть ни эллина, ни иудея». Размышления апостола Павла о том, что перед истиной веры все люди, и эллины, и иудеи в том числе, равны, звучит прямым политическим намеком. Ведь всех эллинов (греков), тысячу лет живших на крымских берегах, Сталин заподозрил в государственной измене и выселил за пределы родины, а иудеев (об этом открыто говорили тогда партийные боссы) ждала в ближайшее время еще более жестокая расправа. Симферополь — город небольшой, о проповеди Луки все знали, все шушукались. Дальше — больше. Власти разжигают среди горожан антисемитский психоз, а Лука в очередной проповеди подчеркнуто говорит о молодой еврейке из Вифлеема, родившей ребенка, которому предстояло стать Спасителем мира. Эту проповедь помнят в городе до сих пор. Некоторые не слишком просвещенные прихожане возмутились тогда. «Что же получается,— Христос — еврей!» Впервые, может быть, за все время архиерейства Луки тишина в симферопольском храме нарушена. Слышатся крики возмущения, удивления. Но Луку не так-то просто смутить. Он завершает проповедь о еврее Иисусе Христе словами надежды. Он верит, что паства взглянет теперь вокруг себя новыми глазами, оценит окружающие проблемы с новых позиций.

Поступки, которые пугают провинциальных медиков, будят опасения

в Крымском обкоме и Московской Патриархии, вместе с тем привлекают к Симферопольскому Владыке сердца множества людей. С любовью и благодарностью говорят о нем верующие и неверующие пациенты. Тайком, в надежде увидеть знаменитого хирурга-епископа забегают в храм студенты, заходят учителя, инженеры, библиотекари. Руководитель археологической службы Крыма профессор Павел Николаевич Шульц, крупный ученый и партизан военных лет, вспоминает, как он с женой приходил в Собор послушать проповедь Войно о взаимоотношениях религии и науки. Закончилось это для него скверно. Таскали в обком, допрашивали, угрожали, лишили заслуженного ордена. Кстати, объединяли археолога с архиепископом и другие интересы — Лука бывал на раскопках Неаполя скифского, интересовался находками ученых.

В 50-х годах они оба, Войно и Шульц, пытались спасти от разборки стоящую на дороге из Симферополя в Старый Крым армянскую церковь четырнадцатого века. Власти объявили, что церковь — в аварийном состоянии. По просьбе Луки археологи осмотрели здание и нашли, что храм может служить еще два-три столетия. Лука получил заключение специалистов и тут же потребовал, чтобы церковь древних христиан передали христианам нынешним, дабы они могли восстановить в ней церковную службу. Памятник архитектуры, конечно, тут же разобрали на кирпичи, атеисту же профессору Шульцу история та едва не стоила потери партийного билета, в обкоме на него кричали: «Партиец, а помогаешь мракобесам! Сопротивляешься антирелигиозной пропаганде?!»

По большим православным праздникам в квартире на Госпитальной улице появляется еще один гость — староста синагоги Френклах. У толстяка Френклаха двойная симпатия к архиепископу: в свое время Лука распознал у него заворот кишок и, можно сказать, спас от смерти. Старик появляется на Госпитальной с неизменной фразой: «Я пришел поздравить папку (отца)». Пожимая руку архиерею, добавляет: «Мы у себя сегодня молились за Ваше здоровье». Это не простая любезность. В синагоге действительно нередко молятся за православного иерея, особенно когда узнают, что Лука болен [57].

В стране, где десятки тысяч людей вынуждены по команде, махая флажками, выражать свою «сердечность» приезжим королям и президентам, подлинная искренняя симпатия народа прорывается подчас в формах самых неожиданных. В начале 1951 года Лука прилетел самолетом из Москвы в Симферополь (летал он очень охотно), на аэродроме никто его не встретил. То ли телеграмма задержалась, то ли что еще, а в результате полуслепой старик растерянно застыл перед зданием аэропорта, не зная, как добраться до дома. Горожане узнали его. Кто-то спросил, что случилось, кто-то помог занять место в автобусе. Но самое удивительное произошло, когда Лука собрался сходить на своей остановке. По просьбе пассажиров шофер свернул с маршрута и, проехав три лишних квартала, остановил автобус у самого крыльца дома на Госпитальной. Архиерей покинул автобус под аплодисменты тех, кто едва ли хотя бы раз в жизни бывал в православном храме.

Современники подчеркивали художнический характер Войно. Некоторые склонны видеть в этом даже что-то мистическое. «Имя его (Луки Симферопольского) небесного покровителя — Святого Апостола и Евангелиста Луки... имело для Владыки о с о б ы й смысл, ибо Святой Апостол и Евангелист Лука был, по свидетельству Священного Писания, «врачом возлюбленным» (Кол. 4, 14) и, по Преданию Церкви,— первым христианским художником: им были написаны первые иконы Богоматери»,— пишет архиепископ Михаил (Чуб). Мне страстное творческое начало в характере Луки представляется столь же врожденным его натуре, как и другие черты характера. Из живописи перенес он это свойство в анатомию, из анатомии — в хирургию. До начала двадцатых годов писал иконы и картины, а когда покончил с кистями и красками, то художнические устремления пробили новый кратер и излились в церковной проповеди. Он попросту не умел ничего делать, не вкладывая в свой труд элемент искусства, художественного созидания.

Дар проповедника «открыл» у Войно Ташкентский епископ Иннокентий. «Ваше дело не крестити, а благовестити»,— сказал он только что рукоположенному священнику о. Валентину. И не ошибся: новый проповедник быстро завоевал сердца своих слушателей. Проповедовать в Ташкенте пришлось ему, как мы знаем, недолго: последовал арест и годы насильственной безгласности. Но весной 1943 года, сообщая сыну об открытии храма в Красноярске, Лука первым делом вспомнил о проповеди: «После шестнадцати лет мучительной тоски по Церкви и молчания отверз Господь снова уста мои». С этого времени и до конца жизни проповедь стала для него основным занятием. Он писал проповеди, произносил их, печатал, правил, рассылал листки с текстом по городам страны. «Считаю своей главной архиерейской обязанностью везде и всюду проповедовать о Христе»,— заявил он в Симферопольском соборе 31 октября 1952 года. И принцип этот выдерживал до последних дней.

Подводя итоги церковной жизни, Лука утверждал, что за 38 лет священства произнес он 1250 проповедей, из которых не менее 750 были записаны и составили двенадцать толстых томов машинописи. Совет Московской Духовной Академии назвал это собрание проповедей «исключительным явлением в современной церковно-богословской жизни» и избрал автора почетным членом Академии. Избрание не было только актом официозным. Оно отразило общее мнение верующих о Луке-проповеднике. Через много лет жители Красноярска, Тамбова, Симферополя в разговоре со мной цитировали полюбившиеся им строки из давних проповедей Луки, многие с любовью хранили его речи, напечатанные на листках папиросной бумаги. Познакомившись со сборником проповедей Войно-Ясенецкого, протоиерей Александр Мень написал мне: «Это замечательный образец актуальных и глубоко одухотворенных речей, обращенных к сердцу и разуму слушателей. Легко представить, какое впечатление производили бы они, если бы произносились в Москве или Ленинграде. Провинциальная публика не могла достаточно оценить их».

Профессор Московской Духовной Академии о. Александр Ветелев, Архиепископ Воронежский (ныне Тамбовский) Михаил (Чуб) и другие авторы, писавшие о проповедях архиепископа Луки, сходятся на том, что выступления его были выдающимися событиями в нашей церковной жизни.

Находились, впрочем, и другие ценители. Много раз просил отца прекратить проповедническую деятельность Михаил Валентинович Войно-Ясенецкий. Желая успокоить своего отпрыска, Лука писал ему: «Проповеди мои строго обдуманы и вполне безупречны, нередко даже имеют просоветский характер». И снова: «Твои страхи по поводу проповедей слишком преувеличены».

Испугала первая проповедь Луки (февраль 1944 г.) и тамбовских прихожан. Диакон Василий Малин рассказывает, что, расходясь в тот зимний вечер из церкви, многие не надеялись когда-нибудь услышать и увидеть самого архиерея. Но времена для Церкви были довольно либеральные. Луку не арестовали, хотя тамбовское начальство несколько раз выражало проповеднику свое неудовольствие. Зато в середине 50-х годов всесильный Карпов высказался относительно речей Крымского Архиепископа весьма резко. Когда Войно пожаловался на то, что «Журнал Московской Патриархии» не публикует его проповедей, Председатель Совета по делам церкви ответил: «Вы там у себя в Симферопольском Соборе мутите воду, ну и мутите. А на международную арену мы Вас не выпустим».

О чем же говорил в храме епископ Лука? И как говорил? «Я думаю, что современный православный священник многому мог бы научиться у Луки-проповедника,— пишет протоиерей Александр Мень.— Его речи отличаются цельностью, ясностью мысли, крепкой конструкцией. Он говорит не вообще, но обращается к живым слушателям, создавая тот контакт с аудиторией, который так необходим для проповедника».

Проповеди Луки коротки, он не утомляет слушателей «многоглаголанием». Темы самые разнообразные, но центром и осью всех речей остается Евангелие. Нередко он обращается к предметам, которых по причине плохой подготовленности или из боязни начальственного окрика современные священники вообще не касаются. Так многие проповеди посвящены вопросу о совместимости науки и религии. Всей мощью своей эрудиции, привлекая факты эволюционного учения, фи-

зиологии и психологии, проповедник выступает на защиту евангельского учения о триедином составе человека — дух, душа и тело,— триединстве, которому он посвятил свою знаменитую монографию. Понятие о триединстве необходимо проповеднику для того, чтобы с его помощью звать своих слушателей к жизни высшей, духовной, нравственной, отрывать их от интересов излишне телесных.

О проповедях, в которых затрагиваются вопросы науки и культуры, протоиерей Александр Мень справедливо замечает: «Цель современного богословия — синтез. Наука и культура должны быть не инородным «включением» в систему христианского миросозерцания, но найти точное место в иерархии истин... Но в таком случае не только богословские понятия, но и язык проповеди должны не слепо держаться традиционных форм, но искать новые. У Луки же в формах его выражения есть некий дуализм. У него просматривается механическое соединение науки и веры. В своем опыте, в своем сознании он срастил их в органическое целое, но в проповедях достиг этого в гораздо меньшей степени. Владыка жил и творил в эпоху отрыва от всемирной богословской мысли... отсюда элемент некоторой доморощенности во многих его богословских экскурсах».

О. Александр прав. Но сколько надо иметь смелости, чтобы говорить в храме о том, о чем никто другой не решается. Смелость — еще одна черта Луки-проповедника. Смело говорит он об ущербности тех, кто, не познав Бога, открыто обсуждает нелегкие обстоятельства, что выпали на долю верующего в век государственного атеизма. «Трудно нам, нынешним христианам, стоять и держаться против буйных ветров безбожия» (1956 г.). Защищая веру от нападок, Лука приводит свидетельства выдающихся ученых и философов, обращается к истории человеческой мысли. Он не боится при этом сослаться на другие христианские вероисповедания, рассказывает жития католических святых и при нужде может обратиться к опыту внехристианских религий, чтобы и в них усмотреть зерна истины, искренние попытки найти высшую правду. Многократно предостерегает Лука своих слушателей от греха фанатизма, ненависти к инакомыслящим, к людям иных взглядом. «Относитесь бережно ко всякой чужой вере, никогда не уничижайте, не оскорбляйте» (Слово в праздник Преполовения, 1953 г.).

Один из первых биографов Луки Войно-Ясенецкого, митрополит Мануил Куйбышевский, писал, что проповеди Владыки «отличаются простотой, искренностью, непосредственностью и самобытностью». В качестве примера Мануил привел отрывок из Слова в Великую Пятницу, которое Войно прочитал весной 1946 года в тамбовском храме:

«Господь первый взял Крест, тот самый страшный Крест, и вслед за ним взяли на рамена свои кресты меньшие, но часто тоже страшные кресты бесчисленные мученики Христовы. Вслед за ними взяли кресты свои огромные толпы народа, которые тихо, опустив головы, пошли с ним в дальний путь. В дальний и тернистый путь, указанный Христом, путь к Престолу Божьему, путь в Царство Небесное, и идут, идут, идут, почти уже две тысячи лет, идут вслед за Христом толпы и толпы народа.

Что же, неужели мы не присоединимся к этой бесконечно идущей толпе, к этому святому шествию, по пути скорбей, по пути страдания? Неужели мы не возьмем на себя кресты свои и не пойдем за Христом? Да не будет! Да наполнит Христос, так тяжко пострадавший за нас, Своей безмерной благодатью сердца наши. Да даст Он в конце нашего долгого и трудного пути познание того, что сказал Он: «Мужайтесь! Яко Аз победил мир!»

Лука знал цену своему проповедническому таланту, но не заблуждался он и в другом: власти, государственные и церковные, не позволят его речам распространиться слишком широко, не разрешат миллионам читателей приобщиться к его идеям и чувствам. «Совершенно невероятно, чтобы при жизни моей и Евгении Павловны возможно было издание моих проповедей»,— писал он сыну, имея в виду огромный труд, который вложила секретарь Е. П. Лейкфельд в переписку, коррекцию и перепечатку более десятка томов его речей. Но в то же время ему не верилось, что проповеди его уйдут из мира вместе с ним. «Думаю, что Вы, вероятно, рассуждаете так же, как и я, при своей усердной проповеднической работе: мое дело писать, а силой Божией мои проповеди могут быть услышаны далеко за стенами моего малого Кафедрального собора».

Готов засвидетельствовать: через пятнадцать лет после смерти Владыки Луки его проповедническое наследие живо. Я находил его проповеди, переписанные от руки и на машинке, в виде отдельных листков, бережно заложенных между страниц Библии, в виде тетрадей и переплетенных томов. Людей России давно не удивляет такой способ хранения живого, правдивого слова. Духовно питая поколение за поколением, самиздат — церковный и нецерковный — сам укрепляется заповедью поэта-христианина Максимилиана Волошина:

. . . . пусть
Почетней быть твердимым наизусть
И списываться тайно и украдкой:
При жизни быть не книжкой, а тетрадкой...

За сотни лет своего существования европейская государственная мысль среди прочих аксиом усвоила одну важнейшую: преемственность государственной политики. Новое правительство, пришедшее на смену старому, не вольно росчерком пера отменять законы и распоряжения своего предшественника. Как ни различны политические идеалы лейбористов и консерваторов в Англии, христианских демократов и социалистов в ФРГ, голлистов и радикалов во Франции,— ни одна партия не опрокидывает здание внутригосударственного и международного устроения, возведенное ее политическими противниками. Европа прочно усвоила: то, что большинство населения проголосовало сегодня за новое правительство, вовсе не означает, что народ полностью отверг свои вчерашние идеалы. И каждое демократически избранное правительство, начиная новую политику (будь то «остполитик» ФРГ или национализация по-лейбористски), прежде чем действовать, пытается дознаться, готово ли общество к переменам.

То, что в Европе само собой разумеется, в России даже не подразумевается. Для самодержавных и тоталитарных режимов преемственность политики — ненужная роскошь. Западные державы всерьез задумались об этой «особенности» российского государственного мышления лишь после разгрома Германии, когда пришла пора подписывать документы об устройстве послевоенного мира. Засомневались союзники, вспоминали о невыплаченных царских долгах, о сталинско-гитлеровском пакте 1939 года. В июле 1945 года в Потсдаме Черчилль решил поговорить по этому поводу со Сталиным. Вождь изобразил на лице горькую обиду. Преемственность советской политики? Да это святая святых нашей власти! Как могли подумать?.. Даже если с ним, со Сталиным, что-нибудь случится, имеются хорошие люди (он так и сказал: «хорошие люди»), которые станут на его место и продолжат его политику. «Он думал на тридцать лет вперед»,— прокомментировал Черчилль. Не знаю, что именно имел в виду британский премьер-министр, но сегодня, тридцать с лишним лет спустя, мне слышится в его голосе сарказм.

В полном соответствии с нравами Сталина правительство Хрущева отказалось возместить Соединенным Штатам американскую военную помощь («ленд-лиз») и окончательно растоптало Потсдамские соглашения. С делами внутренними Хрущев также не церемонился. Прежние государственные установления — хорошие и плохие — трещали и рассыпались в его руках, как фарфоровые игрушки в медвежьих лапах. Русская Православная Церковь стала одной из первых жертв непреемственности советской внутренней политики.

Сколь бы фальшивы ни были отношения Кремля к Патриархии и Церкви, Сталин до конца своих дней сохранял декор внешней уважительности. С приходом новых хозяев маски были сорваны. Хрущев действовал не столько даже под влиянием усвоенного в юности дешевого крикливого атеизма, сколько из желания унизить в лице Церкви любимое, как ему казалось, детище Сталина. В обстановке грызни за власть «ничейную» эту территорию отдали ему без спора. Постановление ЦК КПСС от 7 июля 1954 года явилось затравкой ко всей будущей антисталинской политике Хрущева. Время разоблачений еще не настало, XX съезд далеко впереди. Хитрый преемник сделал так, что о Сталине, о его церковной политике в Постановлении ни слова. Просто выяснилось вдруг, что

«церковники и сектанты изыскивают различные приемы для отравления сознания людей религиозным дурманом, обращая особое внимание на привлечение к церкви молодежи и женщин. Они широко используют свою печать (!), проповедническую и благотворительную деятельность, ведут индивидуальную обработку граждан. В результате активизации деятельности церкви наблюдается увеличение количества граждан, соблюдающих религиозные праздники и отправляющих религиозные обряды...»

И коли так: «Надо решительно покончить с пассивностью по отношению к религии, разоблачать реакционную сущность религии и тот вред, который она приносит, отвлекая часть граждан нашей страны от сознательного и активного участия в коммунистическом строительстве».

И, конечно, оргвыводы.

«Обязать министерства просвещения союзных республик и министерство образования СССР усилить воспитательную работу среди учащихся и студентов... Обязать ЦК ВЛКСМ улучшить научно-атеистическую пропаганду среди молодежи, широко вовлекая молодых рабочих, служащих, колхозников и учащихся в различные коллективы художественной самодеятельности... Предложить ВЦСПС принять меры к усилению пропаганды научно-атеистических знаний среди рабочих, особенно среди женщин...»

Подкрепляя официальный документ, Хрущев выступил с большой речью, полной угроз и резких выпадов против Церкви, священников, с прямым натравливанием на верующих. Впрочем, как известно, речами в таких случаях дело не ограничивается. Партийные органы и органы КГБ получили указание запугивать верующих, преследовать тех, кто посещает церковь, повсеместно закрывать храмы. Антицерковный вал 1954 года за считанные месяцы достиг высот угрожающих. Травля и аресты верующих, публичные оскорбления священников, закрытие храмов, разгон «общественностью» церковных праздников напомнили людям старшего поколения события 20—30-х годов.

Забавно, что в силу все той же непреемственности внутригосударственной политики все эти безобразия очень скоро получили официальную огласку. Очередной поворот борьбы в верхах на какой-то момент ослабил позицию Хрущева, и его конкуренты успели опубликовать в том же году новое Постановление ЦК КПСС, на этот раз разоблачающее... антирелигиозников. Тот, кто сумел продраться сквозь дремучий стиль полицейского протокола, которым излагаются подобные документы, мог узнать небезынтересные факты, вернее, не факты, но их отражение в мутной луже многословия.

«В выступлениях некоторых докладчиков допускаются оскорбительные выпады против духовенства и верующих, отправляющих религиозные обряды. Имеют место случаи, когда на страницах печати и в устных выступлениях пропагандистов некоторые служители религиозных культов и верующие без всякого на то основания изображаются людьми, не заслуживающими политического доверия. В ряде районов со стороны местных организаций и отдельных лиц допущены случаи административного вмешательства в деятельность религиозных групп, а также грубого отношения к духовенству». И далее в том же духе: «кое-кто», «где-то», «кое-когда»... Хотя все отлично знали, к т о, г д е и к о г д а поносил церковников в печати и устных выступлениях.

Само собой разумеется, что после второго Постановления ЦК гонения на Церковь и верующих не прекратились. Хрущев «на троне» укрепился и приказал всеми средствами закрывать, уничтожать и занимать православные храмы под склады и другие учреждения. В 1956 году была закрыта Киево-Печорская Лавра, древнейший очаг русского православия. А всего за «хрущевское» десятилетие власти уничтожили в стране десять тысяч церквей и молитвенных домов!

Когда какое-нибудь правительство не считается с нравственностью, то создается впечатление, что оно приобретает большие преимущества и свободу действий. Но, как еще две тысячи лет назад заметил апостол: «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы». (Лк, XII, 2). Сверхсекретные и сверхтайные распоряжения о преследовании верующих повсеместно разоблачали себя. Инженер Илья Борисов был вызван в Тамбовское КГБ по поводу переписки его жены с Крымским Архиепископом Лукою. Переписка касалась сугубо религиозных и личных вопросов, но инженеру сказали, что если его жена Софья Ивановна не прекратит переписываться с церковником, то его, Борисова, выгонят с тамбовского котельно-механического завода и нигде в Тамбове он себе работы не найдет. И детей его, студентов, из институтов тоже выгонят. Выгонят — это уж наверняка. Но откуда сотрудники КГБ знают содержание чужой переписки? Благодаря своему острому зрению Илья Яковлевич разглядел на столе следователя толстый том: «Дело Войно-Ясенецкого», а в нем, в «деле»,— копии писем Луки в Тамбов и писем Софьи Ивановны в Симферополь. Вот так. А в Симферополе, где тоже перлюстрировали письма архиерея и подслушивали его телефонные разговоры, возникла после июльского Постановления ЦК новая должность: городской церковный фотограф. Каждый день обходил современный Иуда храмы и, не слишком стесняясь, фотографировал прихожан в лицо. Выгода достигалась двойная: слабые духом, боясь преследований, переставали появляться в церквах, а кто потверже — попадал в досье соответствующих органов на случай новых расследований, новых терзаний. Так выглядела изнанка Постановления ЦК «Об улучшении научно-атеистической пропаганды»...

В 1954 году Архиепископу Крымскому исполнилось семьдесят семь лет. На фотографиях тех лет предстает перед нами грузный, несколько даже обмякший старец, с лицом, которое из-за слепоты кажется замкнутым и хмурым. Лицо человека много перенесшего, вступившего в пору, которую Писание определяет как смертную. Откуда же нашел он силы еще на семь лет жизни? На те самые семь, когда подбитый залпом 1954 года церковный корабль, все более кренясь, шел к своей роковой пробоине 1961-го? Что делал эти годы Лука Войно-Ясенецкий? Мирно доживал свой век? Баюкал внуков? Дремал, слушая доклады секретарей? Не угадали. Он б о р о л с я.

Но что старый, больной человек может сделать против стихии? В каждом письме профессор Войно-Ясенецкий-младший из Ленинграда напоминает отцу своему, профессору Войно-Ясенецкому в Симферополе, старую истину, что плетью обуха не перешибешь, и вообще времена наступают такие, что лучше стушеваться, притихнуть, до поры до времени не обнаруживать себя. Да и для кого, собственно, стараться? Ради попов, которые служат Богу только ради наживы? Ради «божьих одуванчиков» — старух церковных, всех этих бабушек и мамушек?

«Предоставь презренным Александрам Осиповым клеветать на чистых священнослужителей и не присоединяй к нему своего голоса»,— отвечает Лука, имея в виду перебежчика, прославившегося своими непристойными выпадами против Церкви. Но, может быть, сын в чем-то все-таки прав? Нужно ли рисковать собой, если в ответ на преследования испуганно молчит Патриархия, если склоняются перед беззаконием толпы верующих? Стоят ли жертв и страданий мужественной личности трусливые церковные вожди и развращенный, готовый предать самого себя народ?

Старинная эта задачка, и много умных голов об нее расшиблось. Для кого стараться? Уже после смерти Луки три студента обратились с этим вопросом к Солженицыну. И Александр Исаевич предложил свое решение: «В те массово-развращенные эпохи, когда встает вопрос: «А для кого стараться? а для кого приносить жертвы?» — можно уверенно ответить — для справедливости. Она совсем не релятивна, как и совесть. Она, собственно, и есть совесть, но не личная, а всего человечества сразу. Тот, кто ясно слышит голос собственной совести, тот обычно слышит и ее голос». Похоже, что архиепископ Лука таил в душе тот же ответ. Он не оставил его нам в виде дневниковой записи, письма или статьи, но в самое тяжелое и опасное для Церкви время начал свою собственную, единоличную и безнадежную борьбу за то, что считал справедливым. Методы? Но разве есть у христианина иные методы борьбы, кроме личного примера и живого слова?

В декабре 1954 года в Симферополе проходил съезд священников Крымской епархии. Доклад делал архиепископ Лука. Невеселые известия имел ар-

хиерей сообщить своим сослужителям. Из 58 церквей в Крыму осталось 49. Остальные закрыты уполномоченным. В опасности еще два храма — в селе Мускатном и селе Емельяновке. Лука не скрывает: пропаганда, тайные и явные формы нажима на верующих делают свое дело — храмы пустеют. Девятый пункт повестки дня так и сформулирован: «Как отразилась антицерковная пропаганда на количестве молящихся в церкви». О Постановлении ЦК КПСС и выступлении Хрущева в газетах архиепископ сказал кратко: «Я не счел нужным опровергать эти выступления в печати. Я ограничился одной проповедью на тему: «Не бойся, малое стадо».

За этой как бы вскользь брошенной фразой стояло, однако, событие совсем не рядовое. И два десятилетия спустя симферопольские жители, рассказывая мне о проповеди в день Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 1954 года, с удивлением покачивали головами: «Как это могло случиться тогда, сразу после Сталина...» Мне кажется, однако, что таких проповедей прихожане не слыхивали в наших церквах ни тогда, ни позднее. Лука сказал между прочим:

«...Знаю я, что большинство из вас очень встревожено внезапным усилением антирелигиозной пропаганды и скорбите вы... Не тревожьтесь, не тревожьтесь! Это вас не касается.

Скажите, пожалуйста, помните ли вы слова Христовы из Евангелия Луки: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство». О малом стаде своем Господь наш Иисус Христос не раз говорил. Его малое стадо имело начало в Его апостолах святых. А потом оно все умножалось, умножалось... Атеизм стал распространяться во всех странах, и прежде всего во Франции, позже, гораздо позже, уже в начале восемнадцатого века. Но везде и повсюду, несмотря на успех пропаганды атеизма, сохранилось малое стадо Христово, сохраняется оно и доныне. Вы, вы, все вы, слушающие меня,— это малое стадо. И знайте, и верьте, что малое стадо Христово непобедимо, с ним ничего нельзя поделать, оно ничего не боится, потому что знает и всегда хранит великие слова Христовы: «Созижду Церковь Мою, и врата адовы не одолеют Ее». Так что же, если даже врата адовы не одолеют Церкви Его, малое стадо Его, то чего нам смущаться, чего тревожиться, чего скорбеть?!

Незачем, незачем!

Малое стадо Христово, подлинное стадо Христово неуязвимо ни для какой пропаганды».

Так говорил архиепископ Лука спустя неполных четыре месяца после того, как глава государства провозгласил необходимость окончательно покончить с Церковью и с христианством. Говорил не тайно, не исподтишка, открыто — в храме. И надо полагать, многих тогда успокоил, многих укрепил.

О последствиях той давней проповеди задумался я летом 1975 года, когда в годовщину смерти архиепископа Луки присутствовал на посвященной ему панихиде. Я стоял на Симферопольском кладбище, в толпе, окружившей усыпанную розами могилу покойного Владыки. Правящий Епископ Симферопольский служил, а несколько сот человек вокруг вторили ему. Ни до, ни после панихиды никаких речей не было, но все присутствующие хорошо знали, о ком идет речь и зачем они здесь собрались. После панихиды люди долго не расходились. Поредевшее, но не рассеянное «малое стадо» самим присутствием своим у могилы пастыря подтвердило верность его заветам, его наставлениям.

...Значительно более, нежели прихожане, беспокоили Луку священники. Именно на них наиболее разрушительно подействовала резкая перемена общественного климата. И совсем не в корыстолюбии дело, хотя числились на счету у Владыки и корыстолюбцы. Иной механизм разрушает духовную крепость сельских и городских батюшек. Верующие люди ждут от священника больших духовных истин, но не менее важна для них его каждодневная жизнь, его общественная позиция. Между тем люди видели: на следующий день после опубликованной в газетах погромной речи Хрущева батюшка приступает к очередной службе и проповеди так, как будто ничего не случилось. Все в храме знают: случилось. И ждут от священника ответа. Но опровергать официальные антирелигиозные нападки рискованно. Священник молчит, помалкивают и прихожане. Ложь умолчания свивает гнездо там, где еще недавно между людьми существовали доверие и взаимное уважение. Ложь умолчания разрушает доверие к священнику. Для многих этого достаточно, чтобы потерять и веру в Бога. Священник же, утратив общественное доверие, порвав внутренние связи, связывающие его с паствой, уже не пастырь, а человек на должности. У него складывается психология чиновника: он хочет поскорее отделаться от службы, кое-как отбыть требы, уклонятся от проповеди и личных исповедей, от всех тех обязанностей, когда надо смотреть людям в глаза. Чтобы смотреть в глаза, надо иметь чистое сердце.

У епископа, который наблюдает за душевным распадом своего священника, почти нет возможности спасти его. Нельзя приказать сослужителю подняться на амвон для диспута с атеистами. В социалистической России это грозит арестом, изгнанием, многими годами лишений. Нельзя передать другому свою стойкость, свое мужество. Но можно потребовать, чтобы, несмотря ни на что, подчиненный исполнял свое дело точно, строго по уставу, с душой. И Лука требует. Как в 40-х годах, в 50-х подписанные им распоряжения по епархии клеймят бездельников и равнодушных, корыстолюбцев и уличенных в непослушании. Как и прежде, вслед за призывами к совести следуют вполне современные методы воздействия. Вскоре после Постановления ЦК КПСС Лука наказывает ряд священников, предпочитающих «облегченный вариант» крещения. Он вызывает в Симферополь одного священника за другим, чтобы лично проверить, не совершают ли пастыри ошибок в богослужении. Ошибок много, и Лука специальным «Вразумительным посланием» объявляет об этом. Он по-прежнему верит в силу одушевленного слова и разумной целеустремленной мысли. Не может быть, чтобы священники не поняли замысел своего архиерея. Ведь он хочет совсем немногого: чтобы как можно дольше не гасли огни под церковными сводами. Чтобы службы совершались как можно более стройно, красиво, а главное — чаще. Пускай двери храма остаются отворенными, чтобы верующий, улучив свободную минутку, мог прийти для интимной, а лучше для общей молитвы. Ради этой простой истины Лука снова и снова обращается к причту с увещеваниями:

«С большой скорбью слышу и узнаю, что многие священники... служат только в великие праздники и в воскресные дни... Служение по субботним дням очень важно... Священники, не желающие служить в те дни, когда по уставу положены полиелейные и субботние службы, обыкновенно отговариваются тем, что эти службы требуют лишнего расхода на свечи, масло, вино и особенно тем, что нет молящихся в церкви. В укор им расскажу о французском священнике, Жан-Мари Вианней, жившем во время Наполеоновских войн в деревушке Арс, неподалеку от большого города Лиона, и позже причисленном католической церковью к лику святых. Церковь эта долгое время оставалась без священника, народ совсем отвык от богослужений, и никто не ходил в церковь. Жан-Мари Вианней в полном одиночестве начал совершать ежедневно все божественные службы. В пустую церковь стали изредка заглядывать любопытные, чтобы посмотреть на чудака-священника. Вдохновенное служение доброго пастыря привлекало все больше и больше молящихся, и скоро церковь не вмещала их. Слава о ревностном пастыре дошла до города Лиона, а потом распространилась по всей Франции, и отовсюду приезжали к доброму пастырю желавшие исповедоваться у него и послушать его бесхитростную, но подобно Божественному пламени, исходившему из глубины сердца, проповедь... Да устыдятся же ленивые и нерадивые священники моего рассказа об этом французском святом...»

Судьба преподобного Вианнея не прельщает крымских священников. Помню, как летом 1957 года, после знакомства с Лукой, я ездил по Крыму, пытаясь расспросить о нем церковную публику. Ничего у меня не получилось. Священники наши и вообще-то не склонны вступать в разговоры с незнакомыми, подозревая в каждом любопытном стукача или антирелигиозника. А тогда в Симферополе, Алуште и Евпатории, заговаривая о Луке, я наталкивался на двойную антипатию. На мои восторженные охи и ахи по поводу архиерея-профессора батюшки цедили сквозь зубы что-то не слишком вразумительное, но серди-

тое. Только один пожилой священник напрямик сказал мне: «Не обольщайтесь, молодой человек. Профессор — это, конечно, хорошо, но архиерею быть профессором вовсе не обязательно». Смысл фразы от меня тогда ускользнул. Недоброжелательство духовных я отнес на свой счет, клял себя за неумение наладить отношения с людьми. Но теперь, взглядом издалека, различаю: священников раздражал сам объект нашей беседы, преосвященный Лука. Уж очень он допек их строгостью и нечеловеческим бескорыстием. Не знал я тогда, что в Крыму уже давно полыхает пожар церковного конфликта, пожар, всячески поддерживаемый КГБ.

Уполномоченные по делам Русской Православной Церкви сменялись в Симферополе за пятнадцать лет несколько раз, но оставались столь же мало различимы между собой, как равнозначные шахматные фигуры из разных коробок. Как шахматные ладьи и слоны, ходили они всегда одними и теми же путями и цель имели одну. Немудреная цель их состояла в том, чтобы закрыть как можно больше церквей. В идеале — все. «Ходы» для этого годились любые, жалобы и доносы священников в том числе. Единственное, что отличало уполномоченных второй половины 50-х годов от его предшественника — это наглость. Ему уже незачем было скрывать свои планы, которые откровенно и цинично выбалтывали каждый день газеты и радио. От старого времени осталась только страсть к бумажкам: закрытие каждого храма надлежало должным образом «оформить». Вокруг оформления все и крутилось.

Разговор с недовольным священником уполномоченный 50-х годов ведет цинически обнаженно: «Недоволен приходом? Хочешь получить другое место? Поможем. А ты нам помоги: напиши заявление, что в церкви твоей трещина образовалась. Нету? А ты поищи. Пусть будет маленькая, незаметная. Мы сделаем ее заметной. Церковь закроем, тебя на новое место переведем. Договорились?»

Заявление написано, а следом и протокол «инженерный» состряпан: здание в опасности, к эксплуатации непригодно. Так было с собором в Евпатории. Посланная уполномоченным бригада рабочих окопала фундамент чуть ли не до основания. Что-то там в глубине нашли. Что — неизвестно. Лука запротестовал, телеграфировал в Патриархию. Обычно Москва в таких случаях отмалчивалась. На этот раз приехали инженеры, обследовали собор, составили новый акт: фундамент нерушим. Но нерушимым оказался и уполномоченный. Финал конфликта оказался предрешенным: собор закрыли, местные власти спешно снесли купола и поместили в «опасном» помещении свои конторы и склады.

Раздоры в церковном доме использовались и по-другому. В селе Почтовое поругались женщины-прихожанки. В горячке спора стали честить церковную старосту — будто непорядочна, будто пятаки к ладоням пристают. Обычная бабья свара, но уполномоченный тут как тут. Готова ревизия, готово заявление в суд. По указке КГБ суд приговаривает старосту к заключению и частным определением рекомендует закрыть храм как место раздоров и махинаций. Сказано — сделано. Суд — свой, райисполком — свой, все просто.

И вот так: «Храм-храм, хруп-хруп» из месяца в месяц, из года в год. А церквей все меньше. Лука пишет в Патриархию. А оттуда: «Полноте волноваться, вопрос местный, частный, разрешайте полюбовно с уполномоченным». Лука шлет своего секретаря к уполномоченному с протестом, а тот и разговаривать не желает. Лука с жалобой в Совет по делам Русской Православной Церкви, а Карпов командирует в Симферополь «комиссию» из двух близких дружков уполномоченного. «Хи-хи, ха-ха, вот дурной старик...» Так она и возводится вкруговую, непробиваемая стена из разных, а в сущности, из родственно-близких кирпичиков — шкурник-священник — уполномоченный — Патриархия — Совет по делам... Все выше и выше кладка, все глуше и глуше вокруг. Ни щели, ни продыху.

Общаться с Патриархией в последние годы становится все более тягостно. После Сталина руководители Православной Церкви потеряли в глазах правительства всякий вес и значение. Патриархия боится голоса подать, боится любых

конфликтов, особенно тех, что возникают «внизу», в епархиях. Свои права она почти полностью передала ведомству генерала КГБ Карпова. Чиновник вмешивается теперь в самые сокровенные, самые внутренние дела Церкви. Патриарх на все махнул рукой. Патриарх на все согласен.

Отношение Луки к Патриарху Алексию — одна из неразгаданных тайн души Войно-Ясенецкого. Однажды в письме к сыну он бросил: «Патриарха надо жалеть, а не осуждать». Сказано это было в то время, когда очередной раз капитулировав перед мирским начальством, Патриарх выпроваживал Луку из Тамбова. Сказано по частному поводу, но меня не оставляет убеждение, что жалость и сострадание к Святейшему сохранял Лука многие годы, до самого своего конца. Не странно ли?

На редкость непохожими они были людьми — по духу, по взглядам, по образу жизни. Почти антиподы. Не знающий страха, труженик Лука и Патриарх Алексий, для которого праздность — истинный праздник. Лука, который без крайней нужды не вымолвит лишнего слова, Лука, погруженный в себя, свои мысли, и Алексий, для которого нет большего удовольствия, чем легкая, ни к чему не обязывающая болтовня, предпочтительно по-французски[58]. И быт, и вкусы их, и жизненный обиход их решительно непохожи друг на друга.

Сноха архиепископа Луки Мария Кузьминична Войно-Ясенецкая вспоминает встречу со свекром в апреле 1945 года. Их семья ехала через Москву к новому месту работы Михаила Валентиновича. Лука тоже оказался в столице и пригласил сына с семьей к себе на чашку чая. Марии Кузьминичне запомнились богато обставленные комнаты Патриархии, ковры, хрусталь. Но особенно поразило ее поданное угощение. Конец войны. Пост. А тут хрустящие скатерти, великолепная посуда, стол ломится от яств. Белый пышный хлеб, черная икра, изысканные сорта рыб, грибы, много сладостей. После скудного сталинабадского житья эта роскошь казалась почти недостоверной. На столе стояла ваза с сахаром. Маленький Алексейка спросил: «Что это?» За свою жизнь он никогда еще не видел рафинада. В Таджикистане ему, да и то не каждый день, доставалась небольшая порция желтого песку или повидло. «Вот так они живут... Так у них принято,— с неодобрением оглядывая стол, сказал Лука.— А ведь сколько сейчас голода вокруг, сколько нищеты...»

Шли годы. Ничего не менялось в быте Патриарха. Не менялся и Лука. Они снова встретились шесть лет спустя в Одессе, где Святейший отдыхал на своей даче. Софья Сергеевна Велицкая писала тогда: «К сожалению, папа опять одет очень плохо: парусиновая старая ряса... и очень старый из дешевой материи подрясник. И то и другое пришлось стирать для поездки к Патриарху. Здесь все высшее духовенство прекрасно одето, дорогие красивые рясы и подрясники, прекрасно сшиты, а папа — такой замечательный — хуже всех, просто обидно...» Разница одежд, которая так огорчила добрую Софью Сергеевну, для самого Луки прошла, очевидно, незамеченной. Но кое-что он все-таки замечал, хотя бы то, что Патриархия годами не приглашает его, правящего архиепископа, на встречи с иностранцами, вождями. Это началось еще при Сергии, когда в сентябре 1943 года Войно вызвали телеграммой из Красноярска в Москву для встречи с представителями англиканской Церкви, но по непонятной причине на прием с иностранцами он так и не попал[59]. При весьма странных обстоятельствах, как мы помним, не попал Лука и на выборы Патриарха Алексия в 1945-м. Листая «Журнал Московской Патриархии», не видишь его имени среди участников пышных патриарших приемов; в 1948 году, когда в чрезвычайно торжественной обстановке, при большом съезде иностранных гостей Православная Церковь отмечала 500-летие своей автокефалии, Крымский Архиерей снова имел возможность печально заметить: «На очень важный съезд представителей всех православных Церквей было приглашено много епархиальных архиереев, но не я. Это окончательно доказывает, что велено держать меня под спудом». Его действительно держали под спудом. Почему? Один из сотрудников Патриархии сказал мне: «Слишком образован был, иностранные языки знал. Святейший его побаивался, а вдруг наговорит иностранцу чего не полагается».

Святейший побаивался... А после речи Хрущева в 1954 году, когда в Патриархию из Крыма хлынули жалобы на Луку и от священников, и от уполномоченного, Патриарх и вовсе почел за лучшее отстраниться от опасного оппозиционера. Человек дипломатически искушенный, он ответы в Крымскую епархию стал поручать второстепенным сотрудникам, сам же уклонялся от любых контактов с беспокойным «профессором». Кстати, в Патриархии все чаще теперь Луку так и называли. Пример подал Святейший. Несколько раз в узком кругу, как бы мимоходом, рассказывал он забавные истории про Войно. То вспомнит, как нетерпеливо Лука три года ждал Сталинскую премию. То, как бы в порицание Патриаршей канцелярии, расскажет об ошибке машинистки, которая однажды в каком-то письме назвала епископа Красноярским архиепископом. Войно тут же прислал в Москву благодарность за возведение его в более высокое достоинство. Пришлось Патриарху Сергию задним числом составить указ об его архиепископском звании. В конце 50-х годов к Святейшему обратился Архиепископ Кировоградский Нестор (Анисимов). Он попросил разрешения съездить к Луке Крымскому для богословской беседы. Вместо ответа Алексий пренебрежительно махнул ручкой и прыснул: дескать, о чем с ним разговаривать... Эту ироническую манеру в Патриархии быстро подхватили. Стало модным говорить о крымском чудаке с иронической улыбочкой, с многозначительным пожиманием плеч: «Профессор...»

Так они и шли, не пересекаясь, две судьбы, два разных характера. И только однажды, да и то не более как на миг, мелькнула у Святейшего мысль, что, может быть, не совсем он был справедлив к архиепископу Луке. Случилось это летом 1961 года, вскоре после похорон Крымского Владыки. С докладом о похоронах приехал в Москву Епископ Тамбовский Михаил (Чуб). Он долго рассказывал Алексию о громадных толпах народа, запрудивших улицы вокруг Крымской епархии, о длившемся всю ночь многолюдном прощании в Симферопольском кафедральном соборе, о слезах прихожан, о том, как на всем пути от Собора до кладбища люди порывались взять гроб на руки. Не забыл упомянуть и о специальной заупокойной службе в синагоге, которой отметили смерть Луки симферопольские евреи.

Патриарх слушал внимательно, интересовался подробностями. Потом помолчал и, задумчиво растягивая слова, будто добираясь до какой-то раньше неведомой ему мысли, произнес:

«Так, значит, они его там действительно любили?..»

Но то было потом. А в последние роковые годы жизни Лука напрасно взывал к Святейшему. Стена опасливого равнодушия прочно отделяла Патриарха всея Руси от каждодневной борьбы, волнений и неудач крымского упрямца. Она все матерела, все росла и крепла, эта стена, но перед ее молчаливой громадой Лука ни разу не помянул с укором имя Патриарха. С тем и ушел он из мира, оставив своим биографам эту необъяснимую фразу: «Патриарха надо жалеть, а не осуждать».

«...Церковные дела становятся все тяжелее и тяжелее. Закрываются церкви одна за другой. Священников не хватает, и число их все уменьшается»,— пишет Лука сыну летом 1956 года. Тема эта звучит от письма к письму все настойчивее. «До крайности занят тяжелейшими и неприятнейшими епархиальными делами». Год 1958-й. В 1959-м обстановка еще более накаляется. «По горло занят тяжелыми епархиальными делами и трудными отношениями с уполномоченными». «Очень мучает и волнует постепенное закрытие церквей уполномоченным». «Епархиальные дела становятся все тяжелее, по местам доходит до открытых бунтов против моей архиерейской власти. Трудно мне переносить их в мои восемьдесят два с половиной года. Но уповаю на Божью помощь, продолжаю нести тяжкое бремя». «Приехал член Совета по делам Православной Церкви для проверки заявлений на уполномоченного. Ничего хорошего не принес и этот его приезд. Мне стало понятно: жалобы мои дадут мало результатов».

Письма 1960 года — уже подлинный сигнал бедствия тонущего корабля. «Церковные дела мучительны. Наш уполномоченный, злой враг Христовой Церкви, все больше и больше присваивает себе мои архиерейские права и вмешивается во внутрицерковные дела. Он вконец измучил меня». «Измучен нашим уполномоченным и целым рядом очень трудных епархиальных дел...» «Более двух месяцев пришлось мне воевать с исключительно дурным священником... Бунт против архиерейской власти в Джанкое, длящийся уже около года и поощряемый уполномоченным». Сыну: «У меня гораздо больше сокращающих жизнь переживаний, чем у тебя». Большое письмо целиком посвящено духовным лицам, «восставшим против архиерейской власти и творившим великие безобразия, беззаконно повинуясь только уполномоченному...». И, наконец, как выдох человека, окончательно выбившегося из сил: «Общее положение церковных дел становится невыносимым...»

До смерти всего полгода. Что еще придумают многоопытные мужи, чья служба — душить в России Церковь и веру? Как будто все уже было. Нет, не все. Придумали новое.

Год 1960-й начался в СССР волной антирелигиозных гонений. Сигнал, как всегда, подало Постановление ЦК КПСС: «Руководители некоторых партийных организаций не ведут настойчивой борьбы против чуждой идеологии, не дают должного отпора... идеалистической религиозной идеологии...»

Борьба и отпор последовали незамедлительно. Многочисленные авторы газетных статей, брошюр и академических монографий принялись доказывать своим читателям, что от православия — один вред. И если даже была когда-нибудь польза, то и она носила в целом характер исключительно вредоносный[60]. Но, как всегда, самые важные распоряжения власти оказались засекреченными. Газеты ничего не сообщили о том, что в марте 1960 года Совет по делам Православной Церкви представил Св. Синоду проект церковно-приходской реформы. Речь шла о коренной ломке всего приходского уклада. Отныне священник переставал быть главой прихода. Храм, его имущество и все права передавались в ведение так называемой «двадцатки» — двадцати человекам, назначаемым районными или городскими властями. «Двадцатка» нанимает священника для службы в храме и при желании увольняет его. Сам же пастырь не может быть членом «двадцатки» и не имеет никакого отношения к управлению храмом. Не привлекаются к управлению приходом и остальные прихожане. Назначая в состав «двадцатки» своих людей, власти становятся полными хозяевами храма, им ничего не стоит решением все той же «двадцатки» членов-учредителей закрыть его в любое удобное для них время.

Ермоген Калужский, один из наиболее образованных в юридических и канонических вопросах архиепископов, дал реформе такую оценку: «Эта реформа... не имеет ничего общего с православным понятием о приходе. Находится она в полном противоречии и с гражданским законодательством о культах. По церковному понятию, приход образуют верующие миряне-прихожане и священник. Все взрослые прихожане и священник являются полноправными членами приходской общины. Каноническое право говорит, что церковный приход никогда не возникал и не получал канонического оформления без священника, и священник всегда был полноправным членом приходской общины. История Церкви знает о существовании приходов, которые по условиям времени, например, в эпоху гонений, не имели храма, но она не знает ни одного случая, чтобы во главе прихода стоял не священник. Не имущество церковное и даже не молитвенное здание дает жизнь приходу, а верующие — прихожане и священник. Только в их союзе и взаимодействии возможно существование христианской общины, а разрыв этой связи уничтожает понятие прихода.

Согласно гражданскому законодательству не двадцать человек, подписавших договор на пользование храмом, а все местные жители православного вероисповедания являются полноправными членами приходского собрания (Постановление от 8 апреля 1929 года). Поскольку принятие советским гражданином священного сана не лишает его политических и гражданских прав и не ограничивает его правоспособности и дееспособности, то лишение его права состоять членом религиозной организации, само существование которой без него теряет

всякий практический смысл, не может быть рассматриваемо иначе, как акт, противоречащий действующему законодательству».

Архиепископ Ермоген, сосланный за свое непримиримое правдолюбие в монастырь, оценивал проект КГБ примерно с тех же позиций, что и Лука Симферопольский.

Но даже весьма подобострастный к власть имущим Синод Московской Патриархии и то растерялся, получив от Карпова проект «реформы». Члены Синода долго медлили с ответом, как могли уклонялись от окончательного решения. Дело тянулось целый год. Карпов начал нажимать, требоаать, грозить. Членов Синода поодиночке вызывали в Совет для беседы. В Совете напирали на то, что священники в приходах разъелись, хапают огромные куши, покупают дома, автомобили. Пора их посадить на твердую зарплату, а контроль над ними «передать народу». Карпов орал Патриарху: «Вы что, нам новую буржуазию хотите создать?!» Святейший ежился от генеральского крика, пытался оттягивать решение, но однажды (шел уже март 1961 года), махнув по обыкновению ручкой, поставил подпись там, где от него требовали.

Чтобы окончательно вступить в силу, новый документ должен был получить утверждение Собора. Собрать Поместный Собор, то есть съезд архиереев, представителей священников и мирян от всех епархий страны, Патриарх не решился. Собор мог взбунтоваться. Очень уж резко новый проект отличался от того порядка патриархальной жизни, да и вообще от всех традиций Церкви, который утвердил Собор 1945 года. До церковных «низов» уже дошли слухи о карповском творчестве, и народ в храмах высказывался против реформы. Что делать? Ведь по советской государственной традиции, воспринятой в Патриархии, все голосования должны проходить единогласно. А как вдруг «низы» провалят реформу? Опытный дьявол-искуситель Карпов и тут подал Патриарху «дельный» совет. Поместный Собор собирать, действительно, хлопотно, проще собрать Собор архиерейский, иными словами, вызвать по телеграфу правящих епископов, пусть утверждают непопулярный документ как бы «в рабочем порядке».

Расчет был прост и точен: архиереи, люди обеспеченные и полностью зависимые от Патриархии, спорить со Святейшим побоятся, и документик, окончательно предающий Церковь в руки мирской власти, подмахнут. Так и порешили.

Архиерейский Собор состоялся 18 июля 1961 года в Троице-Сергиевской Лавре в день памяти основателя Лавры Сергия Радонежского. Архиепископ Ермоген, один из участников Собора, рассказывает:

«Собор не был созван, как полагалось бы, через Послание Патриарха, а телеграммами из Патриархии на имя правящих архиереев с приглашением принять участие в богослужениях в Лавре в день памяти преп. Сергия. О Соборе в телеграммах не было даже намеков. Прибывшие архиереи были поставлены в известность об имеющем быть Соборе только поздно вечером после всенощной под день памяти Преподобного, менее чем за сутки до Собора. Подобный способ созыва Собора необычен и, разумеется, не может быть оправдан с канонической точки зрения».

Иными словами, собрали преосвященных, объявили им: «Вы — Собор», прочитали документ о реформе и приказали: «Голосуйте». После нескольких сотен лет существования приходско-епархиального устройства Русской Православной Церкви понадобилось несколько минут для того, чтобы разрушить освященный веками порядок. Архиереям объявили, что новая схема управления установлена «впредь до созыва очередного Поместного Собора», и, как школьников, распустили по домам.

Чем стала Церковь после этого голосования? От священников и епископов, с которыми удалось обсудить последствия Собора 1961 года, я почти всегда слышал по этому поводу проклятия и жалобы. Приходилось слышать о кабале, в которую загнали священника, о развале и склоках, которые царят теперь в приходах. Судить об этом не берусь. Но одна сторона реформы, а именно экономическая, приводит на память знаменитый опыт Ивана Петровича Павлова с «мнимым кормленкем». Физиолог перерезал у собаки пищевод и вывел его наружу. В желудок он вшил фистулу для выделения желудочного сока. Собаке после такой операции давали мясо. Проглоченные куски тут же вываливались наружу. Сок же по трубочкам — кап, кап, кап. Хоть литрами его собирай. Нечто очень похожее случилось после карповской реформы с церковной кассой. Миллионы рублей, которые по всей стране верующие жертвуют на храмы, деньги за исполнение треб, за свечи и просфоры перестали доходить до Церкви, а с помощью «искусственной фистулы» — «двадцатки» — полились в казну. Качает насос «мнимого кормления» народные денежки уже пятнадцать лет и, надо полагать, не устанет качать еще долго. Доволен товарищ Карпов, доволен сменивший его Куроедов, довольны в Кремле. Довольны, да не совсем. Фарс с архиерейским Собором прошел далеко не так гладко, как им этого хотелось. Публично и во всеуслышание восемь епископов не признали реформу законной. Шестерых коекак удалось уломать, а двое свой протест направили в Патриархию письменно. Одним из двоих был Лука Крымский и Симферопольский.

Лука не дожил до дня преподобного Сергия Радонежского. Не удалось мне разыскать и текст его протеста, посланного в Москву. Но некоторое представление о душевном состоянии Крымского архиерея весной 1961 года дает письмо, отправленное им незадолго до смерти. Своей духовной дочери он писал: «Я всецело захвачен и угнетен крайне важными событиями в Церкви Русской, отнимающими у всех архиереев значительную часть их прав. Отныне подлинными хозяевами Церкви будут только церковные советы и «двадцатки», конечно, в союзе с уполномоченными. Высшее и среднее духовенство останется только наемными исполнителями богослужений, лишенными большей части власти в распоряжении церковными зданиями, имуществом и деньгами. Вы понимаете, конечно, что я не могу сейчас думать ни о чем другом...»

Думы о предстоящем разорении Церкви, о путах, которыми ее опутали, об утере ею остатков самостоятельности отнимали последние силы. Ровно сорок лет прошло с тех пор, как стал Лука церковным человеком. В 1921 году ограбленная, униженная, попираемая Церковь нуждалась в защите от властей, от потерявших разум и веру людей. Тогда отец Валентин Войно-Ясенецкий (позднее Владыка Лука) точно знал, где враг, а где друг. Объединенная вокруг Патриарха Тихона Церковь виделась оскорбленной вдовицей, и готов он был за нее на костер и на дыбу. Но вот через сорок лет все повторилось. Церковь вновь втоптана в грязь. Но почему-то ушла уверенность в том, что ныне, как и сорок лет назад, виновата лишь противоположная сторона. Только ли партийные пропагандисты и чиновники ведомства генерала Карпова довели Церковь до жалкого ее состояния? А сама она что для себя сделала? Когда и как оборонялась? Что сделали ради общего дела члены Святейшего Синода, администраторы Патриархии, тысячи городских и сельских приходов, многомиллионная армия верующих? Так ли уж они неповинны в новом унижении матери своей? Лука гонит от себя эти тягостные мысли, но они возвращаются снова, лишают сна, покоя. Нет, он не оставит Церковь — тело Христово. Но как быть с Церковью, которая является в то же время институтом, организацией, как и любая другая организация, несет в себе грязь эпохи, зло этого мира? Ее все больше развращают, покупают, запугивают. Многие в Патриархии убеждены: в обстановке террора другой Церковь и быть не может. Пусть так. Но остается ли слоеный пирог из церковных служб, полицейских предписаний, «борьбы за мир» и пышности патриарших приемов все еще Православной Церковью?

...Лука угасал. Стал сильно уставать от служб, от проповедей, уставал от епархиальных дел, от разговоров с посетителями. Раньше отдыхал после обеда, теперь приходилось прилечь еще раз, перед вечером. Бледнел. Отказывался от пищи. Евгения Павловна Лейкфельд пишет: «Его несказанно мучал своими действиями против Церкви, постоянно неправильными, уполномоченный, человек жестокий и совершенно беспринципный. Владыка говорил, что этот уполномоченный отнял у него несколько лет жизни».

Лето в Алуште не принесло облегчения. Лука вернулся в город осенью

1960 года бледный, прозрачный. Увидав его в храме, женщины заплакали: «Уходит от нас Владыченька, уходит!» «Последнюю свою литургию совершил на Рождество, последнюю проповедь произнес в Прощеное Воскресенье. Проповеднического долга не оставлял до последней минуты. Видимо, много молился...»

В письме к сестре Луки, Виктории Феликсовне Дзенькович, Лейкфельд добавляет: «Не роптал, не жаловался. Распоряжений не давал. Шел от нас утром без четверти семь. Подышал немного напряженно, потом вздохнул два раза и еще едва заметно — и все...»

Было утро 11 июня 1961 года. На церковном календаре значился день всех Святых в земле Русской просиявших.

Он и мертвый продолжал волновать умы и сердца. Лейкфельд пишет: «Панихиды следовали одна за другой, дом до отказа наполнился народом, люди заполнили весь двор, внизу стояла громадная очередь. Первую ночь Владыка лежал дома, вторую — в Благовещенской церкви, а третью — в Соборе. Все время звучало Евангелие, прерывавшееся панихидами, сменяли друг друга священники, а люди все шли и шли непрерывной вереницей поклониться Владыке... Были люди из разных районов, были приехавшие из разных далеких мест: из Мелитополя, Геническа, Скадовска, Херсона. Поток стихал часа на четыре ночи, а затем снова одни люди сменялись другими, снова лились тихие слезы, что нет теперь молитвенника, что «ушел наш святой». И тут же вспоминали о том, что сказал Владыка, как вылечил, как утешил...

По всему городу, по всему Крыму говорили о кончине архиепископа. Передавали подробности о строгой его жизни, о добрых его делах, о высоких нравственных требованиях его к верующим и духовенству. Загадочная и противоречивая судьба мученика и героя вызывала почтительные толки. Даже люди, далекие от Церкви, понимали: ушла из жизни личность незаурядная. Понимали это и в Крымском обкоме партии, и в областном управлении КГБ, и в облисполкоме. Понимали и нервничали. Там всегда нервничают, когда где-то возникает неконтролируемое, сверху несанкционированное общественное мнение. Это не значит, что люди в обкоме и облисполкоме лишены эмоциональных начал. Они совсем не глупы и не бесчувственны. Понимают: народ может гневаться, радоваться, печалиться. Плохи не сами эмоции, опасен самотек. Общественные чувства следует предварительно обсудить, провентилировать в кабинетах, согласовать с Москвой, распоряжения об эмоциях передать по инстанциям, сообщить кому надо для исполнения. А тут — отсебятина какая-то. Отсебятины терпеть нельзя, с отсебятиной надо бороться.

В ночь с 10-го на 11 июня, когда областная типография уже начала печатать тираж газеты, последовал приказ поместить в завтрашнем номере (некролог? ни в коем случае! — о некрологе и речи не могло быть) большую антирелигиозную статью. Статья лежала в редакции давно, но, как говорится, «дорого яичко ко Христову дню». «Крымская правда» выходит через день. Уполномоченный по делам Православной Церкви утверждает, что Лука вот-вот отойдет в лучший мир, скорее всего это случится завтра. Вот и надо, чтобы в тот день, когда разнесется слух о кончине архиерея, широкие массы прочитали в партийной газете разоблачительный материал. Доктор философских наук М. Губанов выступит против христианской морали. В такие моменты прежде всего по морали надо бить. От морали христианской все зло.

Статья про мораль заняла четверть газетной полосы. Ничего сенсационного в ней не было, и не в сенсации была ее сила. А в том, что на происки классового врага Крымский обком партии реагировал своевременно и через прессу проискам этим дал сокрушительную отповедь. Что же до профессора М. Губанова, то он написал то, что писали до него в других статьях и книгах. Мораль зависит от средств производства и производственных отношений. Мораль отдельной личности отражает классовый характер общества. Если ты капиталист, то и мораль у тебя капиталистическая, а если ты пролетарий, то и мораль имеешь соответствующую. И далее в том же духе: «Христианская мораль в ее основных принципах оказывается вредной для людей, извращающей, обезображивающей все прогрессивное в морали человечества». Но есть мораль хорошая, коммунистическая. Про эту хорошую нравственность автор написал: «Коммунистическая нравственность выражает себя в ударном труде передовиков производства миллионов рабочих и колхозников, которые борются за выполнение и перевыполнение производственных заданий». А в конце, чтобы уже никто не сомневался, профессор авторитетно пояснил: «Старая религиозная мораль потерпела жестокое поражение и все более изживает себя». Конец.

Так почтили кончину архиепископа Луки лица официальные, государственной властью облеченные. Таковы последние доводы их против жизненных принципов покойного иерея. Аргументы? Есть у доктора Губанова и аргументы: Гагарин ни в Бога, ни в черта не верил, а в космос полетел. Есть и цитата сокрушительной силы: «Нравственность — это то, что служит разрушению старого эксплуататорского общества и объединению трудящихся вокруг пролетариата, создающего новое общество коммунистов» (В. И. Ленин. Собр. соч., т. 31, стр. 268).

Продираясь сквозь унылую тоску губановского сочинения, я почти с нежностью вспоминал фельетонистов 20-х годов. Где вы, чьи фельетоны громили Луку Ташкентского сорок лет назад? Воистину, все познается в сравнении. У тех давних писак был и задор, и экспрессия. По наивности и необразованности своей они, может статься, даже верили в то, что безверие спасительно для общества. В их писаниях была жизнь, страшная жизнь первых лет революции, с отблесками пожарищ и воплями расстреливаемых. Сорок лет спустя их наследники играли мертвыми словами, окостеневшими понятиями. Губановы не стали грамотней, но вконец утеряли былой темперамент. Пропаганда для них — просто служба, скучная служба, за которую платят деньги. Ни они сами, ни их хозяева давно уже не верят в успех слова, да и к чему оно, это слово, коли есть сила?

«...Как только отец умер, меня и брата Алексея пригласили в горисполком,— рассказывает Михаил Войно-Ясенецкий.— Нам объяснили, что везти тело по главной улице Симферополя никак нельзя. Хотя путь от Собора по главной магистрали близок, но похоронная процессия затруднит городское движение. Поэтому маршрут для нее проложили по окраинным улицам. Руководство города не пожалело автобусов — предложили тридцать машин! — только бы не возникло пешей процессии, только бы мы поскорее доставили отца на кладбище. Мы согласились, и не наша вина, что вышло все иначе...»

«Покой этих торжественных дней,— пишет Лейкфельд,— нарушался страшным волнением: шли переговоры с уполномоченным, запретившим процессию. Он уверял, что, если разрешить процессию, непременно будет задавлено 6—7 старух... И прихожане, и внешние — все страшно возмущались, что запрещена процессия. Прекрасно сказал один пожилой еврей: «Почему не позволяют почтить этого праведника?»

Архиепископ Михаил Тамбовский (Чуб), приехавший на похороны Луки по распоряжению Патриархии, тоже вспоминает о бесконечных спорах и переговорах над гробом Крымского Владыки... Сначала приезжему вообще запретили служить панихиду. Пришлось звонить по телефону в Москву. После этого панихиду разрешили, но хозяева города принялись перечислять условия, на которых они позволят хоронить Владыку Луку. Все сопровождающие должны ехать только в автобусах, ни в коем случае не создавать пешей процессии, ни в коем случае не нести гроб на руках, никакого пения, никакой музыки. Тихо, быстро, незаметно и так, чтобы 13 июня в пять вечера (ни минутой позже!) тело архиепископа было в земле. После переговоров в здании городского исполкома председатель горисполкома со свитой вечером снова приезжал на Госпитальную улицу и снова твердил о ритме городской жизни, который никак нельзя нарушать, о загруженности центральных магистралей и т. д.

«Я распорядился, чтобы прощание с Владыкой не прекращалось всю ночь,— вспоминает архиепископ Михаил,— и всю ночь к Собору шли люди. Дни стояли жаркие, душные, но те, кто пришел прощаться, как будто не замечали

духоты. Народ теснился в Соборе и вокруг него круглые сутки. В полдень 13-го, когда мы обнесли тело покойного Владыки вокруг Собора, у входа уже стоял автокатафалк, пригнанный из Севастополя. А за ним — колонны автобусов. Приготовились к последнему пути: впереди катафалк, за ним машина, доверху наполненная венками, потом легковая машина для архиепископа, автобусы с родственниками, духовенством, певчими. Оставалось еще несколько машин для мирян, желающих участвовать в проводах, но в эти автобусы никто садиться не хотел. Люди тесным кольцом окружили катафалк, вцепились в него руками, будто не желая отпускать своего архиерея. Машины долго не могли двинуться со двора. Запаренный, охрипший уполномоченный бегал от машины к машине, загонял в автобусы, уговаривал «лишних и посторонних» отойти в сторону, не мешать. Его никто не слушал. Наконец, кое-как с места сдвинулись. По узким улочкам Симферополя катафалк и автобусы могли идти со скоростью, с которой шли пожилые женщины. Три километра от Собора до кладбища мы ехали около трех часов...»

Фармацевт Оверченко: «Это была настоящая демонстрация. Казалось, весь город присутствовал на похоронах; помню заполненные людьми балконы, людей на крышах, на деревьях...»

Е. П. Лейкфельд: «...Улицу заполнили женщины в белых платочках. Медленно шаг за шагом шли они впереди машины с телом Владыки: очень старые тоже не отставали. Три ряда протянутых рук будто вели эту машину. И до самого кладбища посыпали путь розами. И до самого кладбища неустанно звучало над толпой белых платочков: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас...» Что ни говорили этой толпе, как ни пытались заставить ее замолчать, ответ был один: «Мы хороним нашего архиепископа».

Так выглядел этот последний поединок Луки со своими гонителями. Хотя нет, не последний.

Если случится вам попасть на городское кладбище в Симферополе, то справа от главного входа в кладбищенскую церковь найдете вы осененную белым мраморным памятником могилу. Она заметна издалека: по охапкам живых цветов, которые не переводятся тут ни зимой, ни летом, по необычайно подробной — золотом по мрамору — надписи:

АРХИЕПИСКОП
ЛУКА
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ
27 11
18——77 — 19——61
IV VI
Доктор медицинских наук, профессор хирургии
Лауреат

Говорят, архиепископ Лука сам составил эту надпись. И не без умысла. Пусть читает прохожий. Пусть размышляет. Может быть, надпись эта чему-нибудь его научит.

Сентябрь 1970 г.— Апрель 1975 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

[30] Мемуары. Тетрадь 3-я. Войно-Ясенецкий везде называет органы тайной полиции — ГПУ, хотя за годы его арестов учреждение это несколько раз меняло свою вывеску.

[31] Письмо из Красноярска в Сталинабад 22 ноября 1943 г. Валентин, младший сын Луки, врач-терапевт, работал в то время в Узбекистане и заразился возвратным тифом. Состояние его было одно время угрожающим.

[32] У. Черчилль. Вторая мировая война. В 6 томах. (Перевод с английского.) М., 1958. (Продаже не подлежит.) Т. 1, стр. 367—368. Самому Черчиллю 65 лет к этому времени уже исполнилось, но это, как известно, не помешало ему вскоре возглавить правительство и довести войну до победного конца.

[33] Р. Шервуд. Рузвельт и Гопкинс. М., 1958, т. 11, стр. 20—21. Создается впечатление, что у Шервуда последняя фраза прозвучала не так, как в русском переводе. Скорее всего в подлиннике значилось: «Я не знаю, каким образом Литвинову удалось у г о в о р и т ь Сталина и Политбюро...» Это явствует из всего контекста.

[34] А. Краснов. Закат обновленчества (из воспоминаний). Рукопись, 74 стр. Март 1962 г. Краснов был в это время секретарем Введенского и ехал в евакуацию в том же вагоне. ВЦУ — Всероссийское Церковное Управление — самозваная организация, которая в начале 20-х годов при поддержке ОГПУ пыталась захватить руководство Русской Православной Церковью. Говоря о генерале МГБ, Краснов допускает неточность: в начале войны функции тайной полиции в стране осуществлял Наркомат внутренних дел (НКВД).

[35] «Правда о религии в России», стр. 26—27. Митрополит Сергий повторяет версию советской пропаганды, которую вскоре после войны Сталин изложил Гопкинсу в следующем виде: «Во время революции русская коммунистическая партия провозгласила свободу религии. Русский Патриарх и вся существовавшая тогда Церковь предали советское правительство анафеме, призывая верующих не платить налоги, уклоняться от призыва в Красную Армию, сопротивляться мобилизации, не работать и т. д. Советскому правительству оставалось только, по сути дела, объявить в о й н у Церкви» (Шервуд. Рузвельт и Гопкинс. М., 1958, т. 2, стр. 640).

[36] Комментируя эти слова Сталина, бывший редактор «Журнала Московской Патриархии» А. В. Ведерников заметил: «Если бы они (митрополиты) были бы евреями, они бы схватились за сталинское предложение и мы бы сейчас смогли бы давать детям религиозное образование. А они растерялись, прошляпили». Личное сообщение 30.4.1971.

[37] Архиепископ Уфимский Андрей (1874—1948?), родной брат академика-физиолога А. А. Ухтомского; видный деятель церковной жизни. В 1923 г. в Ташкенте Андрей рекомендовал рукоположить в епископы о. Валентина Войно-Ясенецкого (см. главу 2).

[38] Постановление принято Собором епископов в Москве 8 сентября 1943 г. Опубликовано «Журналом Московской Патриархии» в № 1.

[39] Письмо сыну Михаилу 5 августа 1945 г. В этом письме Лука приводит текст приветствия от наркомздрава Третьякова. Нарком, в частности, писал: «Советское правительство, лично великий и мудрый наш вождь, товарищ Сталин, отметил ценность Ваших научных работ для Советской страны, для советской науки».

[40] Эмпиема — гнойный процесс в легких и окружающих тканях.

[41] Дома, занимаемые епархиальными управлениями, удивительно схожи между собой по всему Советскому Союзу. В Воронеже и Вологде, в Ташкенте и Тамбове вы их обнаружите на неизменно глухой улочке с плотно завешенными окнами и накрепко запертыми дверями. Традиция эта сложилась, очевидно, в 20-е—30-е годы при полной тогдашней незащищенности Церкви. Только за крепкими засовами архиерей мог уберечь себя и свое имущество. Внутреннее убранство русских православных епархий тоже довольно однотипно и бесстильно. В горницах с маленькими окошками расставлена старенькая, чаще всего купеческого пошиба мебель, портрет Патриарха и фотографии епископов-предшественников. С портретами и лампадой резко диссонируют ядовито-желтые канцелярские столы, телефон, пишущая машинка.

[42] Лука писал сыну Михаилу 27 декабря 1945 г.: «Наконец дождался награды, но это скорее обида: только медаль «За доблестный труд», тогда как хирурги моего ранга и мои ученики получили ордена. Но и тут причина, видимо, в моем сане».

[43] Лука сообщает Михаилу 14 мая 1944 г.: «Алеша уже написал вам, что мне присуждена Сталинская премия. Только никто не знает, когда опубликуют список лауреатов и почему задерживается опубликование».

[44] Военные хирурги так и не получили этот важный для них труд в пору, когда он был им особенно необходим.

[45] «Журнал Московской Патриархии», 1948, № 1. По поводу этой статьи Лука писал сыну Михаилу: «В октябре (1947 г.) я получил от редакции ЖМП с р о ч н у ю телеграмму с просьбой написать для 12 и 1 №№ журнала две статьи о поджигателях войны. Было ясно, что заказ исходит от Карпова, и я был в затруднении: писать вовсе не хотелось, но отказаться было трудно. Явно основывались на том, что меня усиленно пропагандировали за границей, и нужно было мое имя. Скрепя сердце послал две статьи, из которых вторая, гораздо лучшая, не была пропущена цензурой. Получив об этом сообщение, я отказался от печатания первой. Получил телеграмму: «Огорчены вашим ультиматумом, не можем ставить условия руководству, просим согласиться печатание первой статьи». Я ответил: «В последний раз соглашаюсь».

[46] Разговоры о войне, которые для чиновников сталинского пропагандистского ведомства были лишь средством нагнетания массового страха, Лука воспринимал БУКВАЛЬНО. 29 января 1949 г. он писал сыну Михаилу: «Думаю, что если начнется война, то атомные налеты будут внезапны и в Колтуши уехать не успеешь». И 30.12.1949 г. снова: «Хотелось бы мне, чтобы вы остались во Львове, пока не выяснится, возьмут ли верх силы мира над поджигателями войны. Боюсь и за Валю (сын Валентин жил в Одессе), и Алеше опасно в Колтушах».

[47] Отец Виталий Карвовский, бывший секретарь Крымской епархии. Личное сообщение 28.10.1970 г. Симферополь. Тема «бедных» многие годы присутствует в переписке Луки с детьми. «Не забыл ли ты о женщине, просившей денежную помощь, живущей где-то вблизи Адмиралтейства?» (1956 г.); «Проверку просительницы денежной помощи уже произвел мой знакомый, и оказалось мошенничеством, в котором, однако, виновата не она, а ее негодный племянник» (1954 г.) и т. д.

[48] Распоряжение № 16-1 от 24.1.1947 г. В 10-й главе Евангелия от Матфея читаем: «Кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я перед Отцом Моим Небесным».

[49] Из писем к Михаилу. 6.10.1946 г.: «После пятичасовых служб Воздвижения уложили меня на десять дней в постель вследствие слабости сердца. Была очень резкая аритмия». 1.3.1947 г.: «Ретиво начал я пост, первые три дня проводил по семь-восемь часов в Церкви, всегда проповедовал, а на четвертый день большая усталость, усиление аритмии, сижу дома».

[50] Проф. Михаил Герасимович Ананьев (на посту замминистра с 1947 по 1950 г.). Личное сообщение. 17.12.1970 г. Москва. Ананьев утверждает, что с ходатайством за проф. Войно-Ясенецкого он как депутат Верховного Совета обращался к В. М. Молотову. Из Совета Министров после этого последовало указание — статьи Войно напечатать.

Лука разъяснял сыну Михаилу (19 марта 1949 г.): «...Врачи ничего не знают о регионарной анестезии, а только об анестезии по Вишневскому... Инъекции к нервам нужны не только для обезболивания при операциях... они нужны при отморожениях, при шоке, и, вероятно, область их терапевтического применения будет расширяться».

[51] В русской религиозно-философской литературе прослеживаются три точки зрения на роль познания. И. Киреевский, А. Хомяков, митр. Филарет считали разум, науку сферой мышления, которая чужда и даже противоположна вере. У веры и разума, говорили они,— разные области приложения. Н. Бердяев, о. Сергий Булгаков, о. Павел Флоренский полагали тем не менее, что с помощью разума, интуиции человек спосо-

бен постичь некоторые стороны Вожества. Но в целом сущность Бога для нас непознаваема. Приблизить к Нему может только вера. На рубеже девятнадцатого и двадцатого веков в России получили развитие также взгляды, приближающиеся к западному (католическому) подходу в этом вопросе (Вл. Соловьев и др.). Богословские представления Войно-Ясенецкого складывались под влиянием преподавателя Университета Св. Владимира в Киеве протоиерея о. Павла Светлова. (Ему Валентин Феликсович, будучи студентом, сдавал университетские экзамены.) В двухтомном «Курсе апологетики» Светлов утверждал, что человеческий разум способен постигнуть все.

[52] Насколько мне известно, последняя по времени диссертация такого рода «Критика методологии современного православного фидеизма» защищена неким В. М. Агеевым в Красноярском пединстктуте весной 1971 г.

[53] Архиепископ Воронежский (ныне Тамбовский) Михаил Чуб (1912 г. р.). Личное сообщение. 28 ноября 1970 г. Москва. Лука писал сыну 16 ноября 1954 г.: «Ко мне приезжал и дважды служил со мной викарий Ленинградского митрополита Григория, епископ Лужский Михаил. Он очаровал всех наших удивительной любовью ко мне... Прими его с почтением и любовью...»

[54] «Приходит на мысль, что, м. б., недалеко то время, когда и совсем служить не смогу, и тогда особенно думаю о беспомощных Вере, Нине с детьми, особенно Вите (сестра.— **М. П.**), о Софии Сергеевне, которой вряд ли кто-нибудь поможет, а я посылаю по триста рублей и Евгении Васильевне по сто рублей. До сих пор посылаю Анне Ташкентской» (внучке.— **М. П.**). Из письма Михаилу, 1955 г.

[55] Профессора А. Н. Бакулев и П. А. Куприянов (первый — Президент Академии медицинских наук СССР, второй — Председатель Общества хирургов страны) писали в предисловии к третьему изданию: «До выхода в свет труда В. Ф. Войно-Ясенецкого, пожалуй, никому не удалось провести с такой последовательностью анатомо-топографический принцип в изучении нагноительных процессов, т. е. тот принцип, который был впервые выдвинут великим Н. И. Пироговым. «Очерки» — капитальный и оригинальный труд... Уже много лет сочинение Войно-Ясенецкого является настольной книгой врачей. Тысячи хирургов прибегали к ней в минуты сомнений и раздумий в хирургической клинике».

[56] П. П. Царенко (1897 г. р.). Личное сообщение. 29.10.1970, Симферополь. Царенко действительно никогда больше не бывал у Крымского архиепископа, но пытался досадить Луке неоднократно. Так, в 1959 году сочинил от имени симферопольских студентов-медиков «Открытое письмо». На письмо это Лука ответил следующее:

«Многоуважаемый Петр Петрович! В ответ на недоумение Ваших студентов по поводу моего архиерейского служения им следовало бы сказать, что очень странно отрицать то, чего не знают и не понимают, и судить о религии только по антирелигиозной пропаганде. Ибо, конечно, среди них вряд ли найдется кто-нибудь, читавший Священное Писание. Наш великий физиолог Павлов, академик Владимир Петрович Филатов, каноник (т. е. священник) Коперник, преобразовавший всю астрономию, Луи Пастер умели же совмещать научную деятельность с глубокой верой в Бога.

Глубоко религиозным я был с самого детства, и вера не только не уменьшалась, как они думают, по мере приближения к старости (мне скоро будет 82 года), а все более и более усугублялась... Свои «Очерки гнойной хирургии» я написал, уже будучи епископом.

1959 г.

С почтением
Архиепископ Лука».

[57] Перечисляя оказанные ему к 80-летию знаки внимания, Лука писал сыну в 1957 году, что получил поздравления «от Патриархов Московского и Грузинского, от 30-ти архиереев и от еврейской общины, которая почитает меня за доброе отношение к евреям». Небезынтересна статья арх. Луки «Психология еврея, современника Иисуса Христа» (1949—1952 гг.), которую Владыка закончил следующими словами: «Что же скажем о народе еврейском?.. Можно ли ко всему народу отнести слова Евангелиста Иоанна: «Пришел к своим, свои Его не приняли»? Конечно, ныне это относится к тем только, которые кричали: «Распни Его!». А это было меньшинство народа. Народ же в массе своей уверовал в Христа, и от него ведет свое начало весь род христианский. И правильно будет сказать, что народ Израильский оказался достойным своего избрания Богом».

[58] Вот типичный для Алексия диалог с митрополитом Антонием:

— Вы недавно из Рима?

— Только что, Ваше Святейшество.

— И что же, город, наверно, сильно изменился с тех пор, как я бывал там мальчиком?

— Изменился, Ваше Святейшество.

— А как поживают девочки Голицына? Я играл с ними в детстве. Им теперь, наверное, уже лет тридцать?

— Шестьдесят, Ваше Святейшество.

— Шестьдесят?! Ах, да, конечно... Как, однако, бежит время...

[59] «Я не участвовал в приеме англичан,— писал Лука сыну 5.12. 43.— Не могу писать, в чем дело; когда-нибудь расскажу. Это было причиной моего возвращения в Красноярск».

[60] «Формой приспособленческой деятельности православия является спекуляция его в вопросе о патриотизме. Церковники стремятся доказать извечный патриотизм православия, неразрывную связь его с интересами народа... Но подобные действия Церкви в прошлом... большей частью совпадали со стремлением царской власти и, как правило, глубоко противоречили интересам народа... Церковники стараются всячески преувеличить роль церкви в годы Великой Отечественной войны. Они утверждают, что якобы церковь своими призывами и молитвами создавала нравственные условия для победы, что вера была источником силы нашего государства... Однако не следует преувеличивать патриотическую деятельность церкви. Победа была одержана героизмом и самоотверженностью советского народа. Ее источником являлись наш государственный строй, морально-политическое единство, дружба народов СССР советский патриотизм и правильная политика нашей партии». («Академия наук СССР. Вопросы религии и атеизма». Сборник статей, том XII. М., 1964, стр 120—122.)

Сергей ДОВЛАТОВ

Иностранка

ПОВЕСТЬ

Одиноким русским женщинам в Америке — с любовью, грустью и надеждой.

Сто восьмая улица

В нашем районе произошла такая история. Маруся Татарович не выдержала и полюбила латиноамериканца Рафаэля. Года два колебалась, а потом наконец сделала выбор. Хотя если разобраться, то выбирать Марусе было практически не из чего.

Вся наша улица переживала: как будут развиваться события? Ведь мы к таким делам относимся серьезно.

Мы — это шесть кирпичных зданий вокруг супермаркета, населенных преимущественно русскими. То есть недавними советскими гражданами. Или, как пишут газеты, эмигрантами третьей волны.

Наш район тянется от железнодорожного полотна до синагоги. Чуть севернее — Мидоу-озеро, южнее — Квинс-бульвар. А мы посередине.

108-я улица — наша центральная магистраль.

У нас есть русские магазины, детские сады, фотоателье и парикмахерские. Есть русское бюро путешествий. Есть русские адвокаты, писатели, врачи и торговцы недвижимостью. Есть русские гангстеры, сумасшедшие и проститутки. Есть даже русский слепой музыкант.

Местных жителей у нас считают чем-то вроде иностранцев. Если мы слышим английскую речь, то настораживаемся. В таких случаях мы убедительно просим:

— Говорите по-русски!

В результате отдельные местные жители заговорили по-нашему. Китаец из закусочной приветствует меня:

— Доброе утро, Солженицын!

(У него получается — «Солозениса».)

К американцам мы испытываем сложное чувство. Даже не знаю, чего в нем больше — снисходительности или благоговения. Мы их жалеем, как неразумных, беспечных детей. Однако то и дело повторяем:

«Мне сказал один американец...»

Мы произносим эту фразу с интонацией решающего, убийственного аргумента. Например:

«Мне сказал один американец, что никотин приносит вред здоровью!..»

Здешние американцы в основном немецкие евреи. Третья эмиграция за редким исключением — еврейская. Так что найти общий язык довольно просто.

То и дело местные жители спрашивают:

— Вы из России? Вы говорите на идиш?!

Помимо евреев, в нашем районе живут корейцы, индусы, арабы. Чернокожих у нас сравнительно мало. Латиноамериканцев больше.

Для нас это загадочные люди с транзисторами. Мы их не знаем. Однако на всякий случай презираем и боимся.

Косая Фрида выражает недовольство:

— Ехали бы в свою паршивую Африку!..

Сама Фрида родом из города Шклова. Жить предпочитает в Нью-Йорке...

Если хотите познакомиться с нашим районом, то встаньте около канцелярского магазина. Это на перекрестке сто восьмой и шестьдесят четвертой. Приходите как можно раньше.

Вот разъезжаются наши таксисты: Лева Баранов, Перцович, Еселевский. Все они коренастые, хмурые, решительные.

Леве Баранову за шестьдесят. Он бывший художник-молотовист. В начале своей карьеры Лева рисовал исключительно Молотова. Его работы экспонировались в бесчисленных домоуправлениях, поликлиниках, месткомах. Даже на стенах бывших церквей.

Баранов до тонкостей изучил наружность этого министра с лицом квалифицированного рабочего. На пари рисовал Молотова за десять секунд. Причем рисовал с завязанными глазами.

Потом Молотова сняли. Лева пытался рисовать Хрущева, но тщетно. Черты зажиточного крестьянина оказались ему не по силам.

Такая же история произошла с Брежневым. Физиономия оперного певца не давалась Баранову. И тогда Лева с горя превратился в абстракциониста. Стал рисовать цветные пятна, линии и завитушки. К тому же начал пить и дебоширить.

Соседи жаловались на Леву участковому милиционеру:

— Пьет, дебоширит, занимается каким-то абстрактным цинизмом...

В результате Лева эмигрировал, сел за баранку и успокоился. В свободные минуты он изображает Рейгана на лошади.

Еселевский был в Киеве преподавателем марксизма-ленинизма. Защитил кандидатскую диссертацию. Готовился стать доктором наук.

Как-то раз он познакомился с болгарским ученым. Тот пригласил его на конференцию в Софию. Однако визы Еселевскому не дали. Видимо, не хотели посылать за границу еврея.

У Еселевского первый раз в жизни испортилось настроение. Он сказал:

— Ах вот как?! Тогда я уеду в Америку!

И уехал.

На Западе Еселевский окончательно разочаровался в марксизме. Начал публиковать в эмигрантских газетах запальчивые статьи. Но затем он разочаровался и в эмигрантских газетах. Ему оставалось только сесть за баранку...

Что касается Перцовича, то он и в Москве был шофером. Таким образом, в жизни его мало что изменилось. Правда, зарабатывать он стал гораздо больше. Да и такси здесь у него было собственное...

Вот идет хозяин фотоателье Евсей Рубинчик. Девять лет назад он купил свое предприятие. С тех пор выплачивает долги. Оставшиеся деньги уходят на приобретение современной техники.

Десятый год Евсей питается макаронами. Десятый год таскает он армейские ботинки на литой резине. Десятый год его жена мечтает побывать в кино. Десятый год Евсей утешает жену мыслью о том, что бизнес достанется сыну. Долги к этому времени будут выплачены. Зато — напоминаю я ему — появится более современная техника.

Вот спешит за утренней газетой начинающий издатель Фима Друкер. В Ленинграде он считался знаменитым библиофилом. Целыми днями пропадал на книжном рынке. Собрал шесть тысяч редких, даже уникальных книг.

В Америке Фима решил стать издателем. Ему не терпелось вернуть русской литературе забытые шедевры: стихи Олейникова и Хармса, прозу Добычина, Агеева, Комаровского.

Друкер пошел работать уборщиком в торговый центр. Жена его стала медсестрой. За год им удалось скопить четыре тысячи долларов.

На эти деньги Фима снял уютный офис. Заказал голубоватые фирменные бланки, авторучки и визитные карточки. Нанял секретаршу, между прочим — внучку Эренбурга.

Свое предприятие он назвал — «Русская книга».

Друкер познакомился с видными американскими филологами — Романом Якобсоном, Малмстедом, Эдвардом Брауном. Если Роман Якобсон

упоминал малоизвестное стихотворение Цветаевой, Фима торопился добавить:

— Альманах «Мосты», тридцатый год, страница двести шестьдесят четвертая.

Филологи любили его за эрудицию и бескорыстие...

Фима посещал симпозиумы и конференции. Беседовал в кулуарах с Жоржем Нива, Оттенбергом и Раннитом. Переписывался с Верой Набоковой. Бережно хранил полученные от нее телеграммы:

«Решительно возражаю», «Категорически не согласна», «Условия считаю неприемлемыми». И так далее.

Он заказал себе резиновую печать: «Ефим Г. Друкер, издатель». Далее эмблема — заложенный гусиным пером фолиант — и адрес. На этом деньги кончились.

Друкер обратился к Михаилу Барышникову. Барышников дал ему полторы тысячи и хороший совет — выучиться на массажиста. Друкер пренебрег советом и уехал на конференцию в Амхерст. Там он познакомился с Вейдле и Карлинским. Поразил их своими знаниями. Напомнил двум ученым-старикам множество забытых ими публикаций.

На обратном пути Друкер заехал к Юрию Иваску. Неделю жил у старого поэта, беседуя о Вагинове и Добычине. В частности, о том, кто из них был гомосексуалистом.

И снова деньги кончились.

Тогда Фима продал часть своей уникальной библиотеки. На вырученные деньги он переиздал сочинение Фейхтвангера «Еврей Зюсс». Это был странный выбор для издательства под названием «Русская книга». Фима предполагал, что еврейская тема заинтересует нашу эмиграцию.

Книга вышла с единственной опечаткой. На обложке было крупно выведено: «ФЕЙХТВАГНЕР».

Продавалась она довольно вяло. Дома не было свободы, зато имелись читатели. Здесь свободы хватало, но читатели отсутствовали.

Жена Друкера тем временем подала на развод. Фима перебрался в офис.

Помещение было уставлено коробками с «Евреем Зюссом». Фима спал на этих коробках. Дарил «Еврея Зюсса» многочисленным приятелям. Расплачивался книгами с внучкой Эренбурга. Пытался обменять их в русском магазине на колбасу.

Самое удивительное, что все, кроме жены, его любили...

Вот раскладывает свой товар хозяин магазина «Днепр» Зяма Пивоваров.

В Союзе Зяма был юристом. В Америке с первых же дней работал грузчиком на базе. Затем перешел разнорабочим в овощную лавку. И через год эту лавку купил.

Отныне ее снабжала товарами знаменитая фирма «Демша и Разин». Здесь продавалось вологодское масло, рижские шпроты, грузинский чай, украинская колбаса. Здесь можно было купить янтарное ожерелье, электрический самовар, деревянную матрешку и пластинку Шаляпина.

Трудился Зяма чуть ли не круглые сутки. Это было редкостное единение мечты с действительностью. Недосягаемое тождество усилий и результатов...

Зяма кажется мне абсолютно счастливым человеком. Продовольствие — его стихия. Его биологическая среда.

Зяма соответствует деликатесной лавке, как Наполеон — Аустерлицу. Среди деликатесов Зяма так же органичен, как Моцарт на премьере «Волшебной флейты».

Многие в нашем районе — его должники...

Около рыбацкого магазина гуляет с дворнягой публицист Зарецкий. Он в гимнастическом костюме со штрипками, лысина прикрыта целлофановым мешком.

В Союзе Зарецкий был известен популярными монографиями о деятелях культуры. Параллельно в самиздате циркулировали его анонимные исследования. В частности, объемистая неоконченная книга «Секс при

тоталитаризме». Там говорилось, что девяносто процентов советских женщин — фригидны.

Вскоре карательные органы идентифицировали Зарецкого. Ему пришлось уехать. На таможне он сделал историческое заявление:

— Не я покидаю Россию! Это Россия покидает меня!..

Всех провожавших он спрашивал:

— Академик Сахаров здесь?..

За минуту до посадки он решительно направился к газону. Хотел увезти на чужбину горсточку русской земли.

Милиционеры прогнали его с газона.

Тогда Зарецкий воскликнул:

— Я уношу Россию на подошвах сапог!..

В Америке Зарецкий стал учителем. Он всех учил. Евреев — православию, славян — иудаизму. Американских контрразведчиков — бдительности.

Всеми силами он боролся за демократию. Он говорил:

— Демократию надо внедрять любыми средствами. Вплоть до атомной бомбы!..

Как известно, чтобы быть услышанным в Америке, надо говорить тихо. Зарецкий об этом не догадывался. Он на всех кричал.

Зарецкий кричал на работников социального обеспечения. На редактора ежедневной эмигрантской газеты. На медсестер в больнице. Он кричал даже на тараканов.

В результате его перестали слушать. Тем не менее он посещал все эмигрантские сборища и кричал. Он кричал, что западная демократия под угрозой, что Джеральдина Фарраро — советская шпионка. Что американской литературы не существует. Что в супермаркетах продается искусственное мясо. Что Гарлем надо разбомбить, а велфер увеличить.

Зарецкий был профессиональным разрушителем. Инстинкт разрушения приобретал в нем масштабы творческой страсти.

В его руках немедленно ломались часы, магнитофоны, фотоаппараты. Выходили из строя калькуляторы, электробритвы, зажигалки.

Зарецкий поломал железный турникет в сабвее. Его телом надолго заклинило вертящиеся двери Сити-холла.

Встречая знакомого, он говорил:

— Что происходит, милейший? Ваша жена физически опустилась. Сын, говорят, попал в дурную компанию. Да и у вас нездоровый румянец. Пора, мой дорогой, обратиться к врачу!..

Как ни странно, Зарецкого уважали и побаивались...

Вот появляется отставной диссидент Караваев. В руках у него коричневый пакет. Сквозь бумагу выступают очертания пивных жестянок. На лице Караваева — сочетание тревоги и энтузиазма.

В Союзе он был известным правозащитником. Продемонстрировал в борьбе с режимом исключительное мужество. Отбыл три лагерных срока. Семь раз объявлял голодовки. Оказываясь на воле, принимался за старое.

В молодости Караваев написал такую басню. Дело происходит в зоопарке. Около клетки с пантерой толпится народ. Внизу — табличка с латинским названием. И сведения — где обитает, чем питается. Там же указано — «в неволе размножается плохо». Тут автор выдерживает паузу и спрашивает: «А мы?!»

После третьего срока Караваева отпустили на Запад. Первое время он давал интервью, ездил с лекциями, учреждал какие-то фонды. Затем интерес к нему поубавился. Надо было думать о пропитании.

Английского языка Караваев не знал. Диплома не имел. Его лагерные профессии — грузчика, стропаля и хлебореза — в Америке не котировались.

Караваев сотрудничал в русских газетах. Писал он на единственную тему — будущее России. Причем будущее он различал гораздо яснее, чем настоящее. С пророками это бывает.

Америка разочаровала Караваева. Ему не хватало здесь Советской власти, марксизма и карательных органов. Караваеву нечему было противостоять.

Лагерные болезни давали ему право на инвалидность. Караваев много пил, а главное, опохмелялся. Благо, пивом в нашем районе торгуют круглые сутки.

Таксисты и бизнесмены поглядывали на Караваева свысока...

Вот садится за руль шевроле таинственный общественный деятель Лемкус. В Союзе Лемкус был профессиональным затейником. Организовывал массовые гулянья. Оглашал торжественные здравицы в ходе первомайских демонстраций. Писал юбилейные речи, кантаты, стихотворные инструкции для автолюбителей. Подрабатывал в качестве тамады на молодежных свадьбах. Сочинял цирковые репризы:

— Вася, что случилось? Почему ты грустный?

— На моих глазах человек упал в лужу.

— И ты расстроился?

— Еще бы! Ведь этим человеком был я!..

Уехал Лемкус в результате политических гонений. А гонения, в свою очередь, явились результатом кошмарной нелепости.

Вот как это было. Лемкус написал кантату, посвященную 60-летию Вооруженных Сил. Исполнялась кантата в Доме офицеров. Текст ведущего читал сам Лемкус.

За его спиной расположился духовой оркестр. В зале собралось более шестисот представителей армии и флота. Динамики транслировали кантату по всему городу.

Все шло прекрасно. Декламируя кантату, Лемкус попеременно натягивал солдатскую фуражку или морскую бескозырку.

В заключительной части кантаты были такие слова:

И сон наш мирный защищая,
Вы стали тверже, чем гранит.
За это партия родная
Достойных щедро наградит!..

Последнюю фразу Лемкус выкрикнул с особой горячностью — «достойных щедро наградит!». И в эту минуту ему на голову упал сценический противовес. То есть, попросту говоря, брезентовый мешок килограммов на двенадцать.

Лемкус потерял сознание. Зрителям оставались видны лишь стоптанные подошвы его концертных туфель.

Через три секунды в проходах забегали милиционеры. Еще через три секунды зал был полностью оцеплен. Лемкуса привели в сознание, чтобы немедленно арестовать.

Майор КГБ обвинил его в продуманной диверсии. Майор был уверен, что Лемкус заранее все рассчитал и подстроил. То есть сознательно обрушил мешок на голову ведущему, чтобы дискредитировать Коммунистическую партию.

— Но я же сам и был ведущим, — оправдывался Лемкус.

— Тем более, — говорил майор.

Короче, Лемкус подвергся гонениям. Его лишили права заниматься идеологической работой. О другой работе Лемкус и не помышлял.

В конечном счете Лемкусу пришлось эмигрировать. Месяца четыре он работал по специальности. Организовывал массовые поездки эмигрантов к Ниагарскому водопаду. Выступал тамадой на бармицвах. Писал стихи, рифмованные объявления, здравицы, кантаты. Мне, например, запомнились такие его строчки:

От КГБ всю жизнь страдая,
Мы помним горечь всех обид!
Пускай Америка родная
Нас от врагов предохранит!..

Однако платили Лемкусу мало. Между тем у него появился второй ребенок. И тут его представили баптистам.

Баптисты интересовались третьей эмиграцией. Им нужен был свой человек в эмигрантских кругах. Они хотели привлечь к себе внимание российских беженцев.

Баптисты оценили Лемкуса. Он был хорошим семьянином, не курил и пил умеренно.

Так Лемкус стал религиозным деятелем. Возглавил загадочное трансмировое радио. Вел регулярную передачу: «Как узреть Бога?!»

Он стал набожным и печальным. То и дело шептал, опуская глаза:

— Если Господу будет угодно, Фира приготовит на обед телятину...

В нашем районе его упорно считают мошенником...

Вот сворачивает за угол торговец недвижимостью Аркаша Лернер. Видно, ему что-то понадобилось к завтраку. Какая-нибудь диковинная приправа.

Лернер начинал свою карьеру режиссером белорусского телевидения. Его жена работала на телестудии диктором.

Лернеры жили дружно и счастливо. У них была хорошая квартира, две зарплаты, сын Мишаня и автомобиль.

Аркадия Лернера считали крепким профессионалом. Даже пристрастие к замедленным съемкам не могло испортить его телеочерков. В них грациозно скакали колхозные лошади, медленно раскрывались цветы, парили чайки. Лернера увлекала гармония как таковая. Его короткометражки считались импрессионистскими.

А кругом бурлила жизнь, наполненная социалистическим реализмом. За стеной водопроводчик Берендеев избивал жену. Под окнами шумели алкаши. Директор телестудии был ярко выраженным антисемитом.

И Лернеры решили эмигрировать. Тем более что в эту пору уезжали многие. В том числе и близкие друзья.

В Америке Лернер около года пролежал на диване. Его жена работала продавщицей в «Александерсе». Сын посещал еврейскую школу.

Лернер мечтал получить работу на телевидении. При этом он был совершенно нетипичным эмигрантом. Не выдавал себя за бывшего лауреата государственных премий. Не фантазировал относительно своих диссидентских заслуг. Не утверждал, что западное искусство переживает кризис.

Друзья организовали ему встречу с продюсером. Тот хотел заняться экранизациями русской классики. Ему был нужен режиссер славянского происхождения.

Встреча состоялась на террасе ресторана «Блоу-ап».

— Вы режиссер? — спросил американец.

— Не думаю,— ответил Лернер.

— То есть?

— За последний год я страшно деградировал.

— Но, говорят, вы были режиссером?

— Был. Вернее, числился. Меня тарифицировали в шестьдесят седьмом году. А до этого я работал помощником.

— Помощником режиссера?

— Да. Это который бегает за водкой.

— Говорят, вы были талантливым режиссером?

— Талантливым? Впервые слышу. То, что я делал, меня не удовлетворяло...

— О'кей! Я занимаюсь экранизациями классики.

— По-моему, все экранизации — дерьмо!

— Это комплимент?

— Я хотел сказать, что предпочел бы оригинальную тему.

— Например?

— Что-нибудь о природе...

Тут между собеседниками возникла пропасть. И увеличивалась в дальнейшем с каждой минутой. Янки говорил:

— Природа не окупается!

Лернер возражал:

— Искусство не продается!..

На том они и расстались. Лернер еще месяца три пролежал без движения. При этом следует отметить, что его финансовые дела шли неплохо.

Видимо, Лернер обладал каким-то специфическим даром материального благополучия. Вообще я уверен, что нищета и богатство — качества прирожденные. Такие же, например, как цвет волос или, допустим, музыкальный слух. Один рождается нищим, другой — богатым. И деньги тут фактически ни при чем.

Можно быть нищим с деньгами. И соответственно — принцем без единой копейки!

Я встречал богачей среди зеков на особом режиме. Там же мне попадались бедняки среди высших чинов лагерной администрации.

Бедняки при любых обстоятельствах терпят убытки. Бедняков постоянно штрафуют даже за то, что их собака оправилась в неположенном месте. Если бедняк случайно роняет мелочь, то деньги обязательно проваливаются в люк.

А у богатых все наоборот. Они находят деньги в старых пиджаках. Выигрывают по лотерее. Получают в наследство дачи от малознакомых родственников. Их собаки удостаиваются на выставках денежных премий.

Видимо, Лернер родился заведомо состоятельным человеком. Так что деньги у него вскоре появились.

Сначала его укусил ньюфаундленд, принадлежавший местному дантисту. Лернеру выплатили значительную компенсацию. Потом Лернера разыскал старик, который накануне империалистической войны занял у его деда три червонца. За семьдесят лет червонцы превратились в несколько тысяч долларов. После этого к Лернеру обратился знакомый:

— У меня есть какие-то деньги. Возьми их на хранение. И, если можно, не задавай лишних вопросов.

Деньги Лернер взял. Вопросы задавать ленился.

Через неделю знакомого пристрелили в Атлантик-Сити.

В результате Лернер приобрел квартиру. За год она втрое подорожала. Лернер продал ее и купил три других. В общем, стал торговать недвижимостью...

С дивана он поднимается все реже. Денег у него становится все больше. Тратит их Лернер с размахом. В основном на питание.

За двенадцать лет жизни в Америке он приобрел единственную книгу. Заглавие у книги было выразительное. А именно — «Как потратить триста долларов на завтрак»...

После завтрака Лернер дремлет, отключив телефон. Даже курить ему лень...

Я чувствую, пролог затягивается. Пора уже нам вернуться к Марусе Татарович.

Девушка из хорошей семьи

Марусин отец был генеральным директором производственно-технического комбината. Звали его Федор Макарович. Мать заведовала крупнейшим в городе пошивочным ателье. Звали ее Галина Тимофеевна.

Марусины родители не были карьеристами. Наоборот, они производили впечатление скромных, застенчивых и даже беспомощных людей.

Федор Макарович, например, стеснялся заходить в трамвай и побаивался официантов. Поэтому он ездил в черной горкомовской машине, а еду брал из закрытого распределителя.

Галина Тимофеевна, в свою очередь, боялась крика и не могла уволить плохую работницу. Поэтому увольнениями занимался местком, а Галина Тимофеевна вручала стахановцам награды.

Марусины родители не были созданы для успешной карьеры. К этому их вынудили, я бы сказал, гражданские обстоятельства.

Есть данные, гарантирующие любому человеку стремительное номенклатурное восхождение. Для этого надо обладать четырьмя примитивными качествами. Надо быть русским, партийным, способным и трезвым. Причем необходима именно совокупность всех этих качеств. Отсутствия любого из них делает всю комбинацию совершенно бессмысленной.

Русский, партийный, способный алкаш — не годится. Русский, партийный и трезвый дурак — фигура отживающая. Беспартийный при всех остальных замечательных качествах — не внушает доверия. И наконец трезвый, способный еврей-коммунист — это даже меня раздражает.

Марусины родители обладали всеми необходимыми данными. Они были русские, трезвые, партийные и если не чересчур способные, то как минимум дисциплинированные.

Поженились они еще до войны. К двадцати трем годам Федор Макарович стал инженером. Галина Тимофеевна работала швеей-мотористкой.

Затем наступил тридцать восьмой год.

Конечно, это было жуткое время. Однако не для всех. Большинство танцевало под жизнерадостную музыку Дунаевского. Кроме того, ежегодно понижались цены. Икра стоила девятнадцать рублей килограмм. Продавалась она на каждом углу.

Конечно, невинных людей расстреливали. И все же расстрел одного шел на пользу многим другим. Расстрел какого-нибудь маршала гарантировал повышение десяти его сослуживцам. На освободившееся место выдвигали генерала. Должность этого генерала занимал полковник. Полковника заменял майор. Соответственно повышали в званиях капитанов и лейтенантов.

Расстрел одного наркома вызывал десяток служебных перемещений. Причем направленных исключительно вверх. Толпы низовых бюрократов взбирались по служебной лестнице.

На заводе, где трудился Федор Макарович, арестовали человек восемь. Среди прочих — начальника цеха. Федор Макарович занял его должность.

На фабрике, где работала его жена, арестовали бригадира. На его место выдвинули Галину Тимофеевну.

Аресты не прекращались два года. За это время Федор Макарович стал главным технологом небольшого предприятия. Галина Тимофеевна превратилась в заведующую отделом сбыта.

Потом началась война. Металлургический завод и швейная фабрика были своевременно эвакуированы. В Новосибирске у Федора Макаровича и Галины Тимофеевны родилась дочка. Назвали ее Марусей.

Марусины родители были необходимы в глубоком тылу. Побывать в окопах им не довелось. Хотя многие административные работники оказались на фронте. Лучшие из них погибли. А Федора Макаровича и Галину Тимофеевну повысили в должности. Кто решится упрекнуть их за это?..

К шестидесятому году Марусины родители прочно утвердились в номенклатуре среднего звена. Они были руководителями предприятий и депутатами местных Советов. У них были все соответствующие привилегии — громадная квартира, дача, финская ореховая мебель. Под окнами у них всегда дежурила служебная машина.

Предприятие, которое возглавлял Федор Макарович, считалось образцовым. В семидесятом году его посетил Леонид Ильич Брежнев. И тут Федор Макарович отличился.

Перед корпусом заводоуправления был разбит газон. Обыкновенный газон с указателем — «Ходить по траве воспрещается».

Генеральный секретарь приехал в октябре. К этому времени трава пожелтела. Федор Макарович отдал распоряжение — покрасить траву. И ее действительно покрасили. Для этой цели был использован малярный пульверизатор. Газон приобрел изумрудную субтропическую окраску.

Приехал Брежнев. Подошел вместе с охраной к заводоуправлению. Кинул взгляд на газон и пошутил:

— Значит, ходить воспрещается? А мы попробуем!

И Брежнев уверенно шагнул на траву.

Все засмеялись, начали аплодировать. Федор Макарович от хохота выронил приветственный адрес. Брежнев обнял Федора Макаровича и сказал:

— Показывай, орел, свое хозяйство!

С этого момента Брежнев покровительствовал Татаровичу...

Маруся росла в обеспеченной дружной семье. Во дворе ее окружали послушные и нарядные дети. Дом, в котором они жили, принадлежал горкому партии. В специальной будке дежурил милиционер, который немного побаивался жильцов.

Маруся росла счастливой девочкой без комплексов. Она хорошо училась в школе, посещала кружок бальных танцев. У нее были рояль, цветной телевизор и даже собака.

Жизнь ее состояла из добросовестной учебы плюс невинные здоровые развлечения: кино, театры, музеи.

Занятия физкультурой облегчили ей муки полового созревания.

Окончив школу, Маруся легко поступила в институт культуры. Выпускники его, как правило, заведуют художественной самодеятельностью. Однако Маруся была уверена, что найдет себе работу получше. Допустим, где-то на радио или в музыкальном журнале. В этом ей могли помочь родители.

С тринадцати лет Марусю окружали развитые, интеллигентные, хорошо воспитанные юноши. Маруся так привыкла к дружбе с ними, что редко задумывалась о любви. Каждый из окружающих ее молодых людей готов был стать верным поклонником. Каждый поклонник готов был жениться на миловидной, стройной и веселой дочери Татаровича.

Но вышло совсем по-другому. Дело в том, что Маруся полюбила еврея...

Всем, у кого было счастливое детство, необходимо почаще задумываться о расплате. Почаще задавать себе вопрос: а чем я буду расплачиваться?

Веселый нрав, здоровье, красота — чего мне это будет стоить? Во что мне обойдется полный комплект любящих, состоятельных родителей?

И вот на девятнадцатом году Маруся полюбила еврея с безнадежной фамилией Цехновицер.

В сущности, еврей — это фамилия, профессия и облик. Бытует деликатный тип еврея с нейтральной фамилией, ординарной профессией и космополитической внешностью. Однако не таков был Марусин избранник.

Звали его полностью Лазарь Рувимович Цехновицер, он был худой, длинноносый, курчавый, а также учился играть на скрипке. Мало того, как всякий еврей, Цехновицер был антисоветчиком. Маруся полюбила его за талант, худобу, эрудицию и саркастический юмор.

Марусины родители забеспокоились, хотя они и не были антисемитами. Галина Тимофеевна в неофициальной обстановке любила повторять:

— Лучше уж я возьму на работу еврея. Еврей по крайней мере не запьет!

— К тому же, — добавлял Федор Макарович, — еврей хоть с головой ворует. Еврей уносит с производства что-то нужное. А русский — все, что попадется...

И все-таки Марусины родители забеспокоились. Тем более что Цехновицер казался им сомнительной личностью. Он каждый вечер слушал западное радио, носил дырявые полуботинки и беспрерывно шутил. А главное, давал Марусе идейно незрелые книги — Бабеля, Платонова, Зощенко.

Зять-еврей — уже трагедия, думал Федор Макарович, но внуки-евреи — это катастрофа! Это даже невозможно себе представить!

Федор Макарович решил поговорить с Цехновицером. Он даже хотел сгоряча предложить Цехновицеру взятку. Но Галина Тимофеевна оказалась более мудрой.

Она стала настойчиво приглашать Цехновицера в гости. Окружила его заботой и вниманием. Одновременно приглашались дети Говорова, Чичибабина, Линецкого, Шумейко. (Говоров был маршалом, Чичибабин — академиком живописи, Линецкий — директором фирмы «Совфрахт», а Шумейко — инструктором ЦК.)

Цехновицер в этой компании чувствовал себя изгоем. Его мать работала трамвайным кондуктором, отец погиб на фронте.

Молодежь, собиравшаяся у Татаровичей, ездила на Юг и в Прибалтику. Хорошо одевалась. Любила рестораны и театральные премьеры. Приобретала у спекулянтов джазовые записи.

У Цехновицера не было денег. За него всегда платила Маруся.

В отместку Цехновицер стал ненавидеть Марусиных друзей. Цехновицер старался уличить их в тупости, хамстве, цинизме, достигая, естественно, противоположных результатов.

Если Цехновицеру говорили: «Попробуйте манго» — он вызывающе щурился:

— Предпочитаю хлебный квас!

Если с Цехновицером дружески заговаривали, он вскидывал брови:

— Предпочитаю слушать тишину!

В результате Цехновицер надоел Марусе, и она полюбила Диму Федорова.

Сын генерала Федорова учился на хирурга. Это был юноша с заведомо решенными проблемами, веселый и красивый. У него было все хорошо. Причем он даже не знал, что бывает иначе.

У него был папа, которым можно гордиться. Квартира на улице Щорса, где он жил с бабушкой. А также дача, мотоцикл, любимая профессия, собака и охотничье ружье. Оставалось найти молодую красивую девушку из хорошей семьи.

На пятом курсе Дима Федоров стал думать о женитьбе. И тут он познакомился с Марусей. Через шесть недель они спускались по мраморной лестнице Дворца бракосочетаний. Еще через сутки молодожены уехали в Крым.

Осенью родители подарили им двухкомнатную квартиру. Так началась Марусина супружеская жизнь.

Дима пропадал в академии, Маруся готовилась к защите диплома — «Эстетика бального танца».

Вечерами они смотрели телевизор и беседовали. По субботам ходили в кино. Принимали гостей и навещали знакомых.

Маруся была уверена, что любит Диму. Ведь она сама его выбрала.

Дима был заботливый, умный, корректный. Он ненавидел беспорядок. Каждое утро он вел записи в блокноте. Там были рубрики — обдумать, сделать, позвонить. Иногда он записывал: «Не поздороваться с Виталием Луценко». Или: «В ответ на хамство Алешковича спокойно промолчать».

В субботу появлялась запись: «Маша». Это значило — кино, театр, ужин в ресторане и любовь.

Дима говорил:

— Я не педант. Просто я стараюсь защититься от хаоса...

Дима был хорошим человеком. Пороки его заключались в отсутствии недостатков. Ведь недостатки, как известно, привлекают больше, чем достоинства. Или как минимум вызывают более сильные чувства.

Через год Маруся его возненавидела. Хотя выразить свою ненависть ей мешало Димино безупречное поведение.

Так что жили они хорошо.

Правда, мало кто знает, что это беда, если все начинается хорошо. Значит, кончиться все это может только несчастьем.

Так и случилось.

Сначала умер Димин папа, генерал. Затем попала в сумасшедший дом алкоголичка-мама. Затем наследники, три брата и сестра, переругались, обсуждая, что — кому.

Самые ценные вещи из генеральского дома были конфискованы прокуратурой. В частности, шашка, подаренная Сталиным, и усеянный рубинами югославский орден.

Короче говоря, за месяц Дима превратился в обыкновенного человека. В целеустремленного и трудолюбивого аспиранта средних дарований.

Иногда Маруся уговаривала его:

— Хоть бы ты напился!

Дима отвечал Марусе:

— Пьянство — это добровольное безумие.

Маруся не успокаивалась:

— Хоть бы ты меня приревновал!

Дима четко формулировал:

— Ревновать — это мстить себе за ошибки других...

Самое трудное испытание для благополучного человека — это внезапное неблагополучие. Дима становился все более рассеянным и унылым. В ресторанах он теперь заказывал биточки и компот. Заграничный костюм надевал в исключительных случаях. Финансовой поддержки Марусиных родителей стыдился.

И тут Маруся стала ему изменять. Причем неразборчиво и беспрерывно. Она изменяла ему с друзьями, знакомыми, водителями такси. С преподавателями института культуры. С трамвайными попутчиками. Она изменила ему даже с внезапно появившимся Цехновицером.

Сначала Маруся оправдывалась и лгала. Выдумывала несуществующие факультативные занятия и семинары. Говорила о бессонной ночи у подруги, замыслившей самоубийство. О неожиданных поездках к родственникам в Дергачево.

Затем ей надоело лгать и оправдываться. Надоело выдумывать фантастические истории. У Маруси не было сил.

Возвращаясь под утро, Маруся говорила себе: ладно, обойдется. Что-нибудь придумаю в такси. Что-нибудь придумаю в лифте. Что-нибудь скажу экспромтом.

Дима удивленно спрашивал:

— Где ты была?

— Я?! — восклицала Маруся. — Что значит «где»?! Он спрашивает — где! Допустим, у знакомых. Могу я навестить знакомых?..

Если Дима продолжал расспрашивать, Маруся быстро утомлялась.

— Считай, что я пила вино! Считай, что я распущенная женщина! Считай, что мы в разводе!..

Нет, как известно, равенства в браке. Преимущества всегда на стороне того, кто меньше любит. Если это можно считать преимуществом.

К тридцати годам Маруся поняла, что жизнь состоит из удовольствий. Все остальное можно считать неприятностями.

Удовольствия — это цветы, рестораны, любовь, заграничные вещи и музыка. Неприятности — это отсутствие денег, попреки, болезни и чувство вины.

Маруся предавалась удовольствиям, разумно избегая неприятностей.

Марусе было жалко Диму. Она испытывала угрызения совести. Она говорила:

— Хочешь, я познакомлю тебя с какой-нибудь девицей?

Дима удивленно спрашивал:

— На предмет чего?..

Вскоре Дима и Маруся развелись. Маруся переехала к родителям. Родители сначала огорчились, но довольно быстро успокоились. Дима Федоров как муж уже не представлял большого интереса. Маруся же опять была невестой, девушкой из хорошей семьи.

Через некоторое время Маруся полюбила знаменитого дирижера Каждана. Затем — известного художника Шарафутдинова, которому покровительствовал сам Гейдар Алиев. Затем — прославленного иллюзиониста Мабиса, распиливавшего женщин на две части. Все они были гораздо старше Маруси. И более того, годились ей в отцы.

С Кажданом она ездила в Прибалтику и на Урал. С Шарафутдиновым год прожила в Алупке. С иллюзионистом Мабисом летала по всему Заполярью.

В результате Каждан, отравившись миногами, умер. Шарафутдинов под давлением обкома вернулся к больной некрасивой жене. А Мабис, будучи с гастролями во Франкфурте, добился там политического убежища.

Короче, все они покинули Марусю. При этом лишь один Каждан ушел из жизни деликатно. Поведение остальных чем-то напоминало бегство.

И вот Марусей овладело чувство тревоги. Все ее подруги были замужем. Их положение отличалось стабильностью. У них был семейный очаг.

Разумеется, не все ее подруги жили хорошо. Некоторые изменяли своим мужьям. Некоторые грубо ими помыкали. Многие сами терпели измены. Но при этом... они были замужем. Само наличие мужа делало их полноценными в глазах окружающих.

Муж был совершенно необходим. Его следовало иметь хотя бы в качестве предмета ненависти.

К этому времени Марусе было под тридцать. Ей давно уже пора было родить. Маруся знала, что еще два-три года — и будет поздно.

Маруся забеспокоилась. Свободные мужчины, как и прежде, оказывали ей знаки внимания. Многие женщины завидовали ей, как и прежде. Рестораны, театры, сертификатные магазины — все это было к ее услугам. А чувство тревоги не утихало. И даже с каждым месяцем усиливалось.

И тут на Марусином горизонте возник знаменитый эстрадный певец Бронислав Разудалов. Сейчас его имя забыто, но в шестидесятые годы он был популярнее Хиля, Кобзона, Долинского.

Разудалов соответствовал всем Марусиным требованиям. Он был красив, талантлив, популярен, много зарабатывал. А главное, жил весело, легко и беззаботно.

Маруся ему тоже понравилась, она была стройная, веселая и легкомысленная.

У них получилось что-то вроде гражданского брака.

Разудалов часто ездил на гастроли. Марусе нравилось его сопровождать.

Сначала она просто находилась рядом. Вечерами сидела на его концертах. Днем ходила по комиссионным магазинам.

Затем у нее появились какие-то обязанности. Маруся заказывала афиши. Организовывала положительные рецензии в местных газетах. И даже вела бухгалтерию, что не требовало особого профессионализма. Ведь ей приходилось только складывать и умножать.

До ее появления Разудалов конферировал сам. Ему нравилось беседовать со зрителями, особенно в провинции. Он, например, говорил, предваряя свое выступление:

— У некоторых певцов красивый голос. А некоторые, как говорится, поют душой. Так вот, голоса у меня нет...

Далее следовала короткая пауза.

— И души тоже нет...

Под смех и аплодисменты Разудалов заканчивал:

— Чем пою — сам удивляюсь!..

Постепенно Марусе стали доверять обязанности ведущего. Маруся заказала себе три концертных платья. Научилась грациозно двигаться по сцене. В ее голосе зазвучали чистые, пионерские ноты.

Маруся стремительно появлялась из-за кулис. Замирала, ослепленная лучами прожекторов. Окидывала первые ряды сияющим взглядом. И наконец выкрикивала:

— У микрофона — лауреат всесоюзного конкурса артистов эстрады Бронислав Разудалов!

Затем роняла голову, подавленная величием минуты...

Концерты Разудалова проходили с неизменным успехом. Репертуар у него был современный, камерный. В его песнях доминировала нота сдержанной интимности. Звучало это все примерно так:

Ты сказала — нет,
Я услышал — да...
Затерялся след у того пруда.
Ты сказала — да,
Я услышал — нет...

И тому подобное.

Разудалов был веселым человеком. Он зарабатывал на жизнь теми эмоциями, которыми другие люди выражают чувство безграничной радости и полного самозабвения. Он пел, танцевал и выкрикивал разные глупости. За это ему хорошо платили.

Вскоре, однако, Маруся заметила, что жизнелюбие Разудалова простирается слишком далеко. Она начала подозревать его в супружеских изменах. И не без оснований.

Она находила в его карманах пудреницы и шпильки. Обнаруживала на его рубашках следы помады. Вытаскивала из дорожного несессера синтетические колготки. И наконец, застала однажды в его гримуборной совершенно раздетую чревовещательницу Кисину.

В тот день она избила мужа нотным пюпитром. Через двадцать минут Разудалов появился на сцене в темных очках. Левая рука его безжизненно висела.

На Марусины попреки Разудалов отвечал каким-то идиотским смехом. Он не совсем понимал, в чем дело. Он говорил:

— Мария, это несерьезно! Я думал, ты культурная, мыслящая женщина, без предрассудков...

Разудалов оставался верен своему жизнелюбию, зато научился лгать. От беспрерывной лжи у него появилось заикание. На сцене оно пропадало.

Он лгал теперь без всякого повода. Он лгал даже в тех случаях, когда это было нелепо. На вопрос «Который час?» он реагировал уклончиво.

Друзья шутили:

— Разудалов хочет трахнуть все, что движется...

Теперь уже от ревности страдала Маруся. Поджидала мужа ночами. Грозила ему разводом. А главное, не могла понять: зачем он это делает? Ведь она так сильно и бескорыстно его любила!..

Муж появлялся утром, распространяя запах вина и косметики:

— Засиделись, понимаешь, выпили, болтали об искусстве...

— Где ты был?

— У этого... у Голощекина... Тебе большой привет.

Маруся отыскивала в записной книжке телефон неведомого Голощекина. Женский голос хмуро отвечал:

— Илья Захарович в больнице.

Маруся, вспыхнув, подступала к Разудалову:

— Значит, ты был у Голощекина? Значит, вы болтали об искусстве?

— Странно, — поражался Разудалов, — лично я у него был...

И тут Маруся впервые задумалась: как жить дальше? Удовольствия неизбежно порождали чувство вины. Бескорыстные поступки вознаграждались унижениями. Получался замкнутый круг...

В чем источник радости? Как избежать разочарований? Можно ли наслаждаться без раскаяния? Все эти мысли не давали ей покоя.

Через год у нее родился мальчик.

Все шло, как прежде. Разудалов ездил на гастроли. Возвратившись, быстро исчезал. Когда Маруся уличала его в новых изменах, оправдывался:

— Пойми, мне как артисту нужен импульс...

Маруся снова переехала к родителям. Галина Тимофеевна к этому времени стала пенсионеркой. Федор Макарович продолжал работать.

Неожиданно появлялся Разудалов с цветами и шампанским. Рассказывал о своих творческих успехах. Жаловался на цензуру, которая запретила его лучшую песню «Я пить желаю губ твоих нектар...»

Галину Тимофеевну он развязно называл «мамуля». Шутки у него были весьма сомнительные. Например, он говорил Марусиному папе:

— Дядя Федя, ты со мною не шути. Ведь, если разобраться, ты — никто. А я, между прочим, зять самого Татаровича!..

Выпив коньяка с шампанским и оставив пачку мятых денег, Разудалов убегал. Бремя отцовства его не тяготило. Целуя сына, он приговаривал:

— Надеюсь, ты вырастешь человеком большой души...

Временами Маруся испытывала полное отчаяние. Угрожала Разудалову самоубийством. Именно тогда в его репертуаре появился шлягер:

Если ты пойдешь
к реке топиться,
приходи со мной,
со мной проститься!
Эх, я тебя до речки провожу
и поглубже место укажу...

Тут как в сказке появился Цехновицер. Он дал Марусе почитать «Архипелаг ГУЛаг» и настоятельно советовал ей эмигрировать. Он говорил:

— Поженимся фиктивно и уедем в качестве евреев.

— Куда? — спрашивала Маруся.

— Я, например, в Израиль. Ты — в Америку. Или во Францию...

Маруся вздыхала:

— Зачем мне Франция, когда есть папа...

И все-таки Маруся стала задумываться об эмиграции. Во-первых, это было модно. Почти у каждого мыслящего человека хранился израильский вызов.

То и дело уезжали знакомые деятели культуры. Уехал скульптор Неизвестный, чтобы осуществить в Америке грандиозный проект «Древо жизни». Уехал Савка Крамаров, одержимый внезапно прорезавшимся религиозным чувством. Уехал гениальный Боря Сичкин, пытаясь избежать тюрьмы за левые концерты. Уехал диссидентствующий поэт Купершток, в одном из стихотворений гордо заявивший:

Наследник Пушкина и Блока,
я — сын еврея Куперштока!..

Уезжали писатели, художники, артисты, музыканты. Причем уезжали не только евреи. Уезжали русские, грузины, молдаване, латыши, доказавшие наличие в себе еврейской крови. Короче, проблема эмиграции широко обсуждалась в творческих кругах. И Маруся все чаще об этом задумывалась.

В эмиграции было что-то нереальное. Что-то напоминающее идею загробной жизни. То есть можно было попытаться начать все сначала. Избавиться от бремени прошлого.

Творческая жизнь у Маруси не складывалась. Замуж она, по существу, так и не вышла. Многочисленные друзья вызывали у нее зависть или презрение.

У родителей Маруся чувствовала себя, как в доме престарелых. То есть жила на всем готовом без какой-либо реальной перспективы. Сон, телевизор, дефицитные продукты из распределителя. И женихи — подчиненные Федора Макаровича, которые в основном старались нравиться ему.

Маруся чувствовала: еще три года — и все потеряно навсегда...

Цехновицер так настойчиво говорил о фиктивном, именно фиктивном браке, что Маруся сказала ему:

— Раньше ты любил меня как женщину.

Цехновицер ответил:

— Сейчас я воспринимаю тебя как человека.

Маруся не знала, огорчаться ей или радоваться. И все-таки огорчилась.

Видно, так устроены женщины — не любят они терять поклонников. Даже таких, как Цехновицер...

На словах эмиграция казалась реальностью. На деле сразу возникало множество проблем.

Что будет с родителями? Что подумают люди? А главное, что она будет делать на Западе?..

В загс пойти с Цехновицером — уже проблема. У жениха, вероятно, и костюма-то соответствующего нет. Не скажешь ведь инспектору, что брак фиктивный...

А потом начались какие-то встречи около синагоги. Какие-то «Памятки для отъезжающих». Какие-то разговоры с иностранными журналистами.

Маруся стала ходить на выставки левой живописи. Перепечатывала на своей «Олимпии» запрещенные рассказы Шаламова и Домбровского. Пыталась читать в оригинале Хемингуэя.

Ее родители о чем-то догадывались, но молчали. Пришлось Марусе с ними объясниться.

Как это было — лучше не рассказывать. Тем более что подобные драмы разыгрывались во многих номенклатурных семействах.

Родители обвиняли своих детей в предательстве. Дети презирали родителей за верноподданничество и конформизм.

Взаимные попреки сменялись рыданиями. За оскорблениями следовали поцелуи.

Федор Макарович знал, что должен будет в результате уйти на пенсию. Галина Тимофеевна знала, что с дочкой она больше не увидится.

В октябре Маруся зарегистрировалась с Цехновицером. К Новому году они получили разрешение. Девятого января были в Австрии.

Оказавшись на Западе, Цехновицер сразу изменился. Он стал еврейским патриотом, гордым, мудрым и немного заносчивым. Он встречался с представителями ХИАСа, носил шестиконечную анодированную звезду и мечтал жениться на еврейке.

Условия фиктивного брака Цехновицер добросовестно выполнил. Увез жену на Запад. Зато Маруся оплатила все расходы и даже купила ему чемодан.

Вскоре им предстояло расстаться. Цехновицер улетал в Израиль. Маруся должна была получить американскую визу.

Маруся говорила:

— Как ты будешь жить в Израиле? Ведь там одни евреи!

— Ничего, — отвечал Цехновицер, — привыкну...

Марусе было грустно расставаться с Цехновицером. Ведь он был единственным человеком из прошлой жизни.

Маруся испытывала что-то вроде любви к этому гордому, заносчивому, агрессивному неудачнику. Ведь что-то было между ними. А если было, то разве существенно — дурное или хорошее? И если было, то куда оно, в сущности, могло деваться?..

В аэропорт Маруся не поехала. У маленького Левушки третий день болело горло.

Маруся из окна наблюдала, как Цехновицер садится в автобус. Он казался таким неуклюжим под бременем великих идей. Его походка была решительной, как у избалованного слепого.

Через неделю Левушке благополучно вырезали гланды. Отвезла его в госпиталь миссис Кук из Толстовского фонда. Виза к этому моменту уже была получена.

Еще через шестнадцать дней Маруся приземлилась в аэропорту имени Кеннеди. В руках у нее был пакет с кукурузными чипсами. Рядом вяло топтался невыспавшийся Лева. Увидев двух негров, он громко расплакался. Маруся говорила ему:

— Левка, заткнись!

И добавляла:

— Голос в точности, как у папаши...

После кораблекрушения

В аэропорту Марусю поджидали Лора с Фимой. Лора была ее двоюродной сестрой по матери. Лорина мама — тетя Надя — работала простым корректором. Муж ее — дядя Савелий — преподавал физкультуру.

Лора носила фамилию отца — Мелиндер.

Татаровичи не презирали Мелиндеров. Иногда они брали Лору на дачу. Изредка сами ездили в Дергачево. Маруся дарила сестре платья и кофты. При этом говорилось:

— Синюю кофту бери, а зеленую я еще поношу...

Марусе и в голову не приходило, что Лора обижается.

В общем, сестры не дружили. Маруся была красивая и легкомысленная. Лора — начитанная и тихая. Ее печальное лицо считалось библейским.

Марусина жизнь протекала шумно и весело. Лорино существование было размеренным и унылым.

Маруся жаловалась:

— Все мужики такие нахальные!

Лора холодно приподнимала брови:

— Мои, например, знакомые ведут себя корректно.

И слышала в ответ:

— Нашла чем хвастать...

Татаровичи не избегали Мелиндеров. Просто Мелиндеры были из другого социального круга. В старину это называлось «бедные родственники». Так что сестры виделись довольно редко.

Маруся от кого-то слышала, что Лора вышла замуж. Но познакомиться с Фимой ей довелось лишь в Америке...

Эмиграция была для Лоры и Фимы свадебным путешествием. Они решили поселиться в Нью-Йорке. Через год довольно сносно заговорили по-английски. Фима записался на курсы бухгалтеров. Лора поступила в ученицы к маникюрше.

Дела у них шли прекрасно. Через несколько месяцев оба получили работу. Фима устроился в богатую текстильную корпорацию. Лора трудилась в парикмахерской с американской клиентурой. Она говорила:

— Русских мы практически не обслуживаем. Для этого у нас слишком высокие цены.

Лора зарабатывала пятнадцать тысяч в год. Фима — вдвое больше.

Вскоре они купили собственный дом. Это был маленький кирпичный домик в Форест Хиллсе. Жилье в этом районе стоило тогда не очень дорого. Жили здесь в основном корейцы, индусы, арабы. Фима говорил:

— С русскими мы практически не общаемся...

Фима и Лора полюбили свой дом. Фима собственными руками починил водопровод и крышу. Затем электрифицировал гараж. Лора тем временем покупала занавески и керамическую утварь.

Дом был уютный, красивый и сравнительно недорогой. Журналист Зарецкий, с которым Лора познакомилась в ХИАСе, называл его «мавзолеем». Старик явно завидовал чужому благополучию.

Лора и Фима были молодой счастливой парой. Счастье было для них естественно и органично, как здоровье. Им казалось, что всяческие неприятности — удел больных людей.

Лора и Фима слышали, что некоторым эмигрантам живется плохо. Вероятно, это были нездоровые люди с паршивыми характерами. Вроде журналиста Зарецкого.

Лора и Фима жили дружно. Они жили так хорошо, что Лора иногда восклицала:

— Фимка, я так счастлива!

Они жили так хорошо, что даже придумывали себе маленькие неприятности. Вечером Фима, хмурясь, говорил:

— Знаешь, утром я чуть не сбил велосипедиста.

Лора делала испуганные глаза:

— Будь осторожнее. Прошу тебя — будь осторожнее.

— Не беспокойся, Лорик, у меня прекрасная реакция!

— А у велосипедиста? — спрашивала Лора...

Бывало, что Фима являлся домой с виноватым лицом.

— Ты расстроен, — спрашивала Лора, — в чем дело?

— А ты не будешь сердиться?

— Говори, а то я заплачу.

— Поклянись, что не будешь сердиться.

— Говори.

— Только не сердись. Я купил тебе итальянские сапожки.

— Ненормальный! Мы же договорились, что будем экономить. Покажи...

— Мне страшно захотелось. И цвет оригинальный... Такой коричневый...

В субботнее утро Фима и Лора долго завтракали. Потом ходили в магазин. Потом смотрели телевизор. Потом уснули на веранде. Потом раздался звонок. Это была телеграмма из Вены. Маруся прилетала наутро рейсом 264. К семи тридцати нужно было ехать в аэропорт.

Встретили ее радушно. Засиделись в первую же ночь до трех часов. Ребенок спал. Телевизор был выключен. Фима готовил коктейли. Маруся и Лора сначала устроились на ковре. Лора сказала: «Так принято».

Затем они все-таки перешли на диван.

Лора в десятый раз спрашивала:

— Зачем ты уехала, да еще с малолетним ребенком?

— Не знаю... Так вышло.

— Понятно, когда уезжают диссиденты, евреи или, например, уголовники...

— У меня было плохое настроение.

— То есть?

— Мне показалось, что все уже было...

Маруся хотела, чтобы ее понимали. Хотя сама она не понимала многого.

— У тебя действительно все было — развлечения, поклонники, наряды... А ты вдруг — раз и уезжаешь.

— Мне сон приснился.

— Например?

— Вроде бы у меня появляются крылья. А дальше — как будто я пролетаю над городом и тушу все электрические лампочки.

— Лампочки? — заинтересовался Фима. — Ясно. По Фрейду — это сексуальная неудовлетворенность. Лампочки символизируют пенис.

— А крылья?

— Крылья, — ответил Фима, — тоже символизируют пенис.

Маруся говорит:

— Я смотрю, ваш Фрейд не хуже Разудалова. Одни гулянки на уме.

— И все же, — спрашивала Лора, — почему ты уехала? Политика тебя не волновала. Материально ты была устроена. От антисемитизма страдать не могла...

— Этого мне только не хватало!

— Так в чем же дело?

— Да ни в чем. Уехала — и все. Тебя хотела повидать... И Фиму...

Играла радиола. Уютно звякал лед в стаканах. Пахло горячим хлебом из тостера. За окнами стояла мгла.

Ночью все проголодались. Лора сказала:

— Фимуля, принеси нам кейк из холодильника...

Лоре было приятно, что дом хорошо и небрежно обставлен. Что на стенах литографии Шемякина, а в холодильнике есть торт. Что в гараже стоит японская машина, а шкафы набиты добротной одеждой.

Лора еще днем говорила мужу:

— Пусть живет. Пусть остается здесь, сколько угодно... Не хочу мстить я ей за обиды, пережитые в юности. Не хочу демонстрировать своего превосходства... Мы будем выше этого. Ответим ей добром на зло... О чем ты думаешь?..

— Я думаю: как хорошо, что у меня есть ты!

— А у меня соответственно ты!..

Лора подарила Марусе свитер и домашние туфли. Маруся их даже не примерила.

Лора предоставила Марусе с ребенком отдельную комнату. Маруся Лору даже не поблагодарила.

Лора предложила ей: «Бери из холодильника все, что тебе захочется». Но Маруся в основном довольствовалась картофельными чипсами.

Театры Марусю не интересовали. В магазинах она разглядывала только детские игрушки. Ночной Бродвей показался ей шумным и грязным.

Так прошла неделя.

В субботу появился гость, Джи Кей Эплбаум — развязный и шумный толстяк. Он был менеджером в корпорации, где работал Фима. Вчетвером они жарили сосиски у заднего крыльца и пили «Бадвайзер».

На этот раз Джи Кей пришел один. До этого, сказала Лора, он приводил невесту — Карен Роуч.

На вопрос: «Где Карен?» — менеджер ответил:

— Она меня бросила. Я был в отчаянии. Затем купил себе новую машину и поменял жилье. Теперь я счастлив...

Эплбауму понравилась Маруся. Он захотел учиться русскому языку. Маруся спела ему несколько частушек. Например, такую: «Строят мощную ракету, посылают на Луну. Я хочу в ракету эту посадить мою жену...» Фима перевел.

Когда Эплбаум попрощался и уехал, Маруся сказала:

— По-моему, он дурак!

Лора возмутилась:

— Просто Джи Кей — типичный американец со здоровыми нервами. Если русские вечно страдают и жалуются, то американцы устроены подругому. Большинство из них — принципиальные оптимисты...

Лора объяснила Мусе:

— Америка любит сильных, красивых и нахальных. Это страна деловых, целеустремленных людей. Неудачников американцы дружно презирают. Рассчитывать здесь можно только лишь на одного себя...

— В Америке, — брал слово Фима, — нужно ежедневно переодеваться. Как-то я забыл переодеться, и Эплбаум спросил меня:

— Ты где ночевал, дружище?!

Днем Маруся возилась с Левушкой. Хлопот особых не было. Тем более что вместо пеленок Маруся использовала удобные и недорогие дайперсы.

Эти самые дайперсы — первое, что Маруся оценила на Западе. Кроме того, ей нравились чипсы, фисташки и разноцветная бумажная посуда. Поел и выбросил...

Маруся испытывала беспокойство. Ей надо было срочно искать работу. Тем более что Левушку определили в детский сад.

Сначала он плакал. Через неделю заговорил по-английски.

А Маруся все думала, чем бы заняться. В Союзе она была интеллигентом широкого профиля. Работать могла где угодно. От Министерства культуры до районной газеты.

А здесь? Кино, телевидение, радио, пресса? Всюду как минимум нужен английский язык.

Программистом ей быть не хотелось. Медсестрой или няней — тем более. Ее одинаково раздражали цифры, чужие болезни и посторонние дети.

Ее внимание привлекла реклама ювелирных изделий. В принципе это имело отношение к драгоценностям. А в драгоценностях Маруся разбиралась.

Ювелирные курсы занимали весь третий этаж мрачноватого блочного дома на 14-й улице. Руководил ими мистер Хигби, человек с наружностью умеренно выпивающего офицера. Он сказал Марусе через переводчика:

— Я десять лет учился живописи, а стал несчастным ювелиром. Разве это жизнь?!

Переводчиком у него работал эмигрант из Борисполя — Леня. В будущем Леня собирался открыть магазин ювелирных изделий. Он говорил:

— На этом я всегда заработаю свою трудовую копейку...

Всех учащихся разбили на группы. Каждому выдали набор инструментов. У каждого на столе была паяльная лампа, тиски и штатив.

В углу постоянно гудел никелированный кипятильник. Рядом возвышался дубовый стеллаж. Там в специальных коробках хранились работы бывших учащихся. Они показались Марусе безвкусными. Какой-то Барри Льюис выковал из серебра миниатюрный детородный орган...

В каждой группе был преподаватель. Марусе достался пан Венчислав Глинский, беженец из Кракова. Он целыми днями курил, роняя пепел себе на брюки.

Занятий фактически не было. Каждый делал все, что ему хотелось. Одни паяли, другие сверлили, третьи вырезали фигурки из жести.

Среди учащихся было несколько чернокожих. Они часами слушали музыку, покачиваясь на табуретках. Возле каждого на полу стоял транзистор. Иногда Маруся ощущала странный запах. Переводчик Леня объяснил ей, что это марихуана.

Марусиным соседом был китаец, тихий и приветливый. Он скручивал из медной проволоки тонкую косичку. Маруся занялась тем же самым. Потом она вырезала из жести букву «М». Обработала напильником края. Проделала специальное отверстие для цепочки. Вроде бы получился кулон. Китаец взглянул и одобрительно помахал ей рукой.

У Маруси за спиной остановился пан Венчислав. Несколько секунд он молчал, затем раздельно выговорил:

— Прима!

И уронил Марусе на рукав бесцветный столбик пепла...

В четверг Маруся получила 73 доллара. Что-то вроде стипендии. На эти деньги она купила Левушке заводной мотоцикл, сестре — цветы, а Фиме — полгаллона виски. Оставшиеся сорок долларов предназначались на хозяйство.

Лора брать деньги не хотела. Маруся настаивала:

— Я же вам и так должна большую сумму.

— Заработаешь, — говорил Фима, — отдашь с процентами...

Рано утром Маруся бежала к остановке сабвея. Дальше — около часа в грохочущем страшном подземном Нью-Йорке. Ежедневная порция страха.

Нью-Йорк был для Маруси происшествием, концертом, зрелищем. Городом он стал лишь месяц или два спустя. Постепенно из хаоса начали выступать фигуры, краски, звуки. Шумный торговый перекресток вдруг распался на овощную лавку, кафетерий, страховое агентство и деликатесный магазин. Череда автомобилей на бульваре превратилась в стоянку такси. Запах горячего хлеба стал неотделим от пестрой вывески «Бекери».

Образовалась связь между толпой ребятишек и кирпичной двухэтажной школой...

Нью-Йорк внушал Марусе чувство раздражения и страха. Ей хотелось быть такой же небрежной, уверенной, ловкой, как чернокожие юноши в рваных фуфайках или старухи под зонтиками. Ей хотелось достичь равнодушия к шуму транзисторов и аммиачному зловонию сабвея. Ей хотелось возненавидеть этот город так просто и уверенно, как можно ненавидеть лишь одну себя...

Маруся завидовала детям, нищим, полисменам — всем, кто ощущал себя частью этого города. Она завидовала даже пану Глинскому, который спал в метро и не боялся черных хулиганов. Он говорил, что коммунисты в десять раз страшнее...

От метро до ювелирных курсов — триста восемьдесят пять шагов. Иногда, если Маруся почти бежит, триста восемьдесят. Триста восемьдесят шагов сквозь разноцветную, праздную, горланящую толпу. В облаках бензиновой гари, табачного дыма и запаха уличных жаровен. Мимо захламленных тротуаров и ослепительных, безвкусных витрин. Под крики лотошников, вой автомобильных сирен и нескончаемый барабанный грохот...

Ежедневная порция страха и неуверенности...

Занятия на ювелирных курсах прекратились в среду.

Сначала все шло нормально. Муся раскалила на огне латунную пластинку. Держа ее щипцами, потянулась за канифолью. Пластинка выскользнула, описала дугу, а затем бесследно исчезла. Вскоре из голенища Марусиного лакированного сапога потянулся дымок.

Еще через секунду Марусин крик заглушил пронзительные вопли транзисторов. Застежка-молния, конечно же, не поддавалась. Окружающие не понимали, в чем дело.

Все это могло довольно плохо кончиться, если бы не Шустер. Шустер работал на курсах уборщиком. До эмиграции тренировал молодежную сборную Риги по боксу. Лет в пятьдесят сохранял динамизм, рельефную мускулатуру и некоторую агрессивность. Его раздражали чернокожие.

Целыми днями Шустер занимался уборкой. Он выметал мусор, наполнял кипятильник, перетаскивал стулья. Когда он приближался со шваброй, учащиеся вставали, чтобы не мешать. Все, кроме чернокожих. Черные юноши продолжали курить и раскачиваться на табуретках. Всякое рвение было им органически чуждо.

Шустер ждал минуту. Затем подходил ближе, отставлял швабру и на странном языке угрожающе выкрикивал:

— Ап, б...!

Его лицо покрывалось нежным и страшным румянцем:

— Я кому-то сказал — ап, б...!

И еще через секунду:

— Я кого-то в последний раз спрашиваю — ап?! Или не ап?!

Черные ребята нехотя поднимались, бормоча:

— О'кей! О'кей...

— Понимают, — радовался Шустер, — хоть и с юга...

Так вот, когда Маруся закричала, появился Шустер. Мигом сориентировавшись, он достал из заднего кармана фляжку бренди. Потом без колебания опорожнил ее в Марусин лакированный сапог. Все услышали медленно затихающее шипение.

Тот же Шустер разорвал заклинившуюся молнию.

Маруся тихо плакала.

— Покажите ногу доктору, — сказал ей Шустер, — тут как раз за углом городская больница.

— Покажите мне, — заинтересовался, откуда-то возникнув, Глинский.

Но Шустер оттеснил его плечом.

Врач, осмотрев Марусю, разрешил ей покинуть занятия. Маруся, хромая, уехала домой и решила не возвращаться...

Фима с Лорой отнеслись к ее решению нормально, даже благородно. Лора сказала:

— Крыша над головой у тебя есть. Голодной ты не останешься. Так что не суетись и занимайся английским. Что-нибудь подвернется.

Фима добавил:

— Какой из тебя ювелир! Ты сама у нас золото!

— Вот только пробы негде ставить, — засмеялась Маруся...

Так она стала домохозяйкой.

Утром Фима с Лорой торопились на работу. Фима ехал на своей машине, Лора бежала к остановке автобуса.

Сначала Маруся пыталась готовить им завтраки. Потом стало ясно, что это не требуется. Фима выпивал чашку растворимого кофе, а Лора на ходу съедала яблоко.

Просыпалась Маруся в десятом часу. Левушка к этому времени сидел у телевизора. На завтрак ему полагалась горсть кукурузных хлопьев с молоком.

Затем они шли в детский сад. Вернувшись, Маруся долго перелистывала русскую газету. Внимательно читала объявления.

В Манхэттене открывались курсы дамских парикмахеров. Страховая компания набирала молодых честолюбивых агентов. Русскому ночному клубу требовались официантки, предпочтительно мужчины. Так и было напечатано — «официантки, предпочтительно мужчины».

Все это было реально, но малопривлекательно. Кого-то стричь? Кого-то страховать? Кому-то подавать закуски?..

Попадались и такие объявления:

«Хорошо устроенный джентльмен мечтает познакомиться с интеллигентной женщиной любого возраста. Желательно фото».

Ниже примечание мелким шрифтом: «Только не из Харбина».

Что значит — только не из Харбина, удивлялась Маруся, как это понимать? Чем ему досадил этот несчастный Харбин? А может быть, он сам как раз из Харбина? Может, весь Харбин его знает как последнего жулика и афериста?..

Хорошо устроенный джентльмен ищет женщину любого возраста... Желательно фото...

Зачем ему фото, думала Маруся, только расстраиваться?..

Днем она ходила в магазин, стирала и пыталась заниматься английским. В три забирала Левушку. К шести возвращались Фима и Лора. Вечера проходили у телевизора за бокалом коктейля.

По субботам они ездили за город. Бродили по музеям. Обедали в японских ресторанах. Посмотрели музыкальную комедию с Юлом Бриннером.

Так прошел сентябрь, наступила осень. Хотя на газонах еще зеленела трава и днем было жарко, как в мае...

Маруся все чаще задумывалась о будущем.

Сколько можно зависеть от Лоры? Сколько можно есть чужой хлеб? Сколько можно жить под чужой крышей? Короче, сколько все это может продолжаться?..

Маруся чувствовала себя, как на даче у родственников. Рано или поздно надо будет возвращаться домой.

Но куда?

А пока что Маруся была сыта и здорова. Одежды у нее хватало. Деньги на хозяйство лежали в коробке из-под торта. Не жизнь, а санаторий для партийных работников. Стоило ли ради этого ехать в такую даль?..

В общем, чувство тревоги с каждым днем нарастало...

Однажды Маруся написала такое письмо родителям:

«Дорогие мама и папа!

Представляю, как вы меня ругаете, и зря. Дело в том, что абсолютно нечего писать. Ну, абсолютно.

Лазька улетел на свою историческую родину, где одни, пардон, евреи. Но он говорит — ничего, мол, пробьемся.

Что еще сказать?

Вена — тихий городок на берегу реки. Все говорили тут — Донау, Донау... Оказывается — река Дунай и больше ничего.

Вроде бы имеется оперный театр. Хотя я его что-то не заметила. Люди одеты похуже, чем в Доме кино. Однако получше, чем в Доме науки и техники.

В Австрии мы жили три недели. Почти не выходили из гостиницы. У входа дежурили эти самые, которые не просто, а за деньги. В общем, ясно. У одной была совершенно голая жэ. Панка бы ахнул. В этом плане свободы больше чем достаточно.

Леве из вещей купила носки шерстяные и джемпер. Себе ничего. В Америку летели около семи часов. В самолете нам показывали кино. Вы думаете — какое? В жизни не догадаетесь. «Великолепная семерка». Стоило ли ехать в такую даль?..

Поселилась я у Лоры с Фимой. Левка ходит в детский сад. А я все думаю, чем бы мне заняться.

Свободы здесь еще больше, чем в Австрии. В специальных магазинах продаются каучуковые органы. Вы понимаете? Мамуля бы сейчас же в обморок упала.

Чернокожих в Америке давно уже не линчуют. Теперь здесь все наоборот. Короче, я еще не сориентировалась. Скоро напишу. А вы пишите. Обнимаю. Ваша несознательная дочь Мария».

Таланты и поклонники

Как-то раз появился Зарецкий. Узнав, что хозяев нет дома, выразил смущение:

— Простите, что врываюсь без звонка.

— Ничего, — ответила Маруся, — только я в халате...

Через минуту он пил кофе с бело-розовым зефиром. Сахарная пудра оседала на тщательно выглаженных кримпленовых брюках...

Зарецкий любил культуру и женщин. Культура была для него источником заработка, а женщины — предметом вдохновения. То есть культурой он занимался из прагматических соображений, а женщинами — бескорыстно. Идея бескорыстия подчеркивалась явным сексуальным неуспехом.

Дело в том, что Зарецкого раздирали противоречивые страсти. Он добивался женщин, но при этом всячески их унижал. Его изысканные комплименты перемежались оскорблениями. Шаловливые заигрывания уступали место взволнованным нравственным проповедям. Зарецкий горячо взывал к морали, тотчас же побуждая ее нарушить. Кроме того, он был немолод. Самолеты называл аэропланами, как до войны...

Он ел зефир, пил кофе и любовался Марусиными ногами. Полы ее халата волнующе разлетались. Две верхние пуговки ночной сорочки были расстегнуты.

Зарецкий поинтересовался:

— Чем изволите зарабатывать на пропитание?

— Я еще не работаю, — ответила Маруся.

— А чем, ежели не секрет, планируете заниматься в будущем?

— Не знаю. Я вообще-то музработник.

— С вашими данными я бы подумал о Голливуде.

— Там своих хватает. А главное — им уж больно тощие нужны.

— Я поговорю с друзьями, — обещал Зарецкий.

Потом он сказал:

— У меня к вам дело. Я заканчиваю работу над книгой «Секс при тоталитаризме». В этой связи мной опрошено более четырехсот женщин. Их возраст колеблется от шестнадцати до пятидесяти семи лет. Данные обработаны и приведены в систему. Короче — я буду задавать вопросы. Отвечайте просто и без ложной застенчивости. Думаю, вы понимаете, что это — сугубо научное исследование. Мещанские предрассудки здесь неуместны. Садитесь.

Зарецкий вытащил портфель. Достал оттуда магнитофон, блокнот и авторучку. Корпус магнитофона был перетянут изоляционной лентой.

— Внимание, — сказал Зарецкий, — начали.

Он скороговоркой произнес в микрофон:

— Объект четыреста тридцать девять. Шестнадцатое апреля восемьдесят пятого года. Форест Хиллс, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Беседу ведет Натан Зарецкий.

И дальше, повернувшись к Марусе:

— Сколько вам лет?

— Тридцать четыре.

— Замужем?

— В разводе.

— Имели половые сношения до брака?

— До брака?
— Иными словами — когда подверглись дефлорации?
— Чему?
— Когда потеряли невинность?
— А-а... Мне послышалось — декларация...
Маруся слегка раскраснелась. Зарецкий внушал ей страх и уважение. Вдруг он сочтет ее мещанкой?
— Не помню, — сказала Маруся.
— Что — не помню?
— До или после. Скорее все-таки — до.
— До или после чего?
— Вы спросили — до или после замужества.
— Так до или после?
— Мне кажется — до.
— До или после венгерских событий?
— Что значит — венгерские события?
— До или после разоблачения культа личности?
— Вроде бы после.
— Точнее?
— После.
— Хорошо. Вы занимаетесь мастурбацией?
— Раз в месяц, как положено.
— Что — как положено?
— Ну, это... Женские дела...
— Я спрашиваю о мастурбации.
— О, Господи! — сказала Маруся.
Что-то мешало ей остановить или даже выпроводить Зарецкого. Что-то заставляло ее смущенно бормотать...
— Не знаю... Может быть... Пожалуй...
С нарастающим воодушевлением Зарецкий говорил:
— Отбросить ложный стыд! Забыть о ханжеской морали! Человеческая плоть священна! Советская власть лишает человека естественных радостей! Климакс при тоталитаризме наступает значительно раньше, чем в демократических странах!..
Маруся кивала
— Еще бы...
Зарецкий вдруг совсем преобразился. Начал как-то странно шевелить плечами, обтянутыми лиловой бобочкой. Вдруг перешел на звучный шепот. Задыхаясь, говорил:
— О, Маша! Ты — как сама Россия! Оскверненная монголами, изнасилованная большевиками, ты чудом сохранила девственность!.. О, пусти меня в свою зеленую долину!
Зарецкий двинулся вперед. От его кримпленовых штанов летели искры. Глаза сверкали наподобие хирургических юпитеров. Магнитофон затих, тихонько щелкнув.
— О, дай мне власть, — шептал Зарецкий, — и я тебя прославлю!
Маруся на секунду задумалась. Пользы от этого болтливого старика — немного. Радости — еще меньше. К тому же надо спешить за ребенком.
Зарецкий положил ей руки на талию. Это напоминало приглашение к старомодному бальному танцу.
Маруся отступила. Ученый человек, и так себя ведет. А главное, пора идти за Левой...
Зарецкий был опытным ловеласом. Его тактические приемы заключались в следующем. Первое: засидеться до глубокой ночи. Обнаружить, что автобусы не ходят. Брать такси — дороговато... Далее — «Разрешите мне посидеть в этом кресле?» Или — «Можно я лягу рядом чисто по-товарищески?..» Затем он начинал дрожать и вскрикивать. Оттолкнуть его в подобных случаях у женщин не хватало духа. Неудовлетворенная страсть могла обернуться психическим расстройством. И более того — разрывом сердца.
Зарецкий плакал и скандалил. Угрожал и требовал. Он клялся женщинам в любви. К тому же предлагал им заняться совместной научной работой. Порой ему уступали даже самые несговорчивые.

Так бывало ночью. В свете дня приемы часто оказывались недействительными.
Маруся сказала:
— Я скоро приду.
Через минуту появилась, одетая в строгий бежевый костюмчик.
Зарецкий, хмурясь, уложил магнитофон в портфель. Затем таинственно и мрачно произнес:
— Ты — сфинкс, Мария!
— Почему же свинство?! — рассердилась Маруся. — Это что еще за новости! А если я люблю другого?
Зарецкий саркастически расхохотался, взял жетон на метро и ушел.
С этого дня Марусе уже не было покоя. Женихи и ухажеры потянулись вереницей.
Видимо, свободная женщина распространяет какие-то особенные флюиды. Красивая — тем более.
Мужчины заговаривали с ней всюду, где она появлялась. В магазинах, на автобусной стоянке, перед домом, около газетного киоска. Иногда американцы, чаще — соотечественники.
Они звонили ей по телефону. Являлись в дом с какими-то непонятными предложениями. Даже посылали ей открытки в стихах. Например, диссидент Караваев прислал ей такое стихотворение: «Марусь! Ты любишь Русь?!»
С Караваевым Маруся познакомилась в аптеке. Он пригласил ее на демонстрацию в защиту Сахарова. Маруся сказала:
— С кем я оставлю ребенка?
Караваев рассердился:
— Если каждый будет заботиться только о своих детях, Россия погибнет.
Маруся возразила
— Наоборот. Если каждый позаботится о своем ребенке, все будет хорошо.
Караваев сказал:
— Вы — типичная эмигрантка, развращенная Западом. Думаете только о себе.
Маруся задумалась. Один говорит — сама Россия, изнасилованная большевиками. Другой — эмиграция, развращенная Западом. Кто же я на самом-то деле?..
Караваев предложил ей сообща вести борьбу за новую Россию. Маруся отказалась.
Издатель Друкер тоже призывал ее к борьбе. Но — за единство эмиграции.
Он говорил:
— Нас мало. Мы разобщены и одиноки. Мы должны объединиться на почве русской культуры.
Друкер пригласил Марусю в свое захламленное жилище. Показал десяток редких книг с автографами Георгия Иванова, Набокова, Ходасевича. Преподнес ей злополучного «Фейхтвагнера». И вновь заговорил насчет единства:
— Нас объединяет многое. Язык, культура, образ мыслей, историческое прошлое...
Марусе было не до этого. Объединение с Друкером не разрешало ее жизненных проблем. Интересовало Марусю главным образом не прошлое, а будущее. Она предложила:
— Будем друзьями.
Друкер, криво улыбаясь, согласился.
А вот таксисты действовали более решительно. Перцович говорил ей:
— Летим во Флориду, о'кей? Беру на себя дорогу, гостиницу и развлечения, о'кей? Покупаю модельные туфли, о'кей?
— Но у меня ребенок.
— Это не моя забота, о'кей?
— Я подумаю...
Еселевский вел себя поскромнее. Действовал с меньшим размахом. Предложил ей дешевый мотель на Лонг-Айленде. А вместо туфель — развесной шоколад из деликатесного магазина.

Будучи отвергнут, Еселевский не расстроился. Кажется, даже вздохнул с облегчением...

Лучше всех повел себя Баранов. Казался самым благородным. Он сказал:

— Я зарабатываю долларов семьсот в неделю. Двести из них систематически пропиваю. Хотите, буду отдавать вам сотню. Просто так. Мне это даже выгодно. Пить буду меньше.

— Это неудобно,—сказала Маруся.

— Чего тут неудобного?—удивился Баранов.—Деньги есть... И не подумайте худого. Женщины меня давно уже не интересуют. Лет двадцать пять назад я колебался между женщинами и алкоголем. С этим покончено. В упорной борьбе победил алкоголь.

— Я подумаю,— сказала Маруся.

Евсей Рубинчик тоже предложил содействие. И тоже бескорыстно. Обещал ей временную работу. Он спросил:

— Вы рисуете?

— Смотря что,—ответила Маруся.

Рубинчик пояснил:

— Надо ретушировать цветные фотографии.

— Как это—ретушировать?

— Подкрасить губы, щеки... В общем, чтобы клиенты были довольны.

Маруся подумала—дело знакомое.

— А сколько мне будут платить?

— Три доллара в час.

Рубинчик обещал позвонить.

Религиозный деятель Лемкус тоже заинтересовался Марусей. Сначала он подарил ей Библию на английском языке. Затем сказал, что Бог предпочитает неустроенных и одиноких. Наконец, пообещал хорошие условия в иной, загробной жизни.

— Когда это будет!—вздыхала Маруся.

— На то Господня воля,—опускал ресницы Лемкус.

Он же любил повторять, что деньги—зло.

— Особенно те,— соглашалась Маруся,— которых нет...

Хозяин магазина «Днепр» Зяма Пивоваров иногда шептал ей:

— Получены свежие булочки. Точная копия—вы...

Торговец недвижимостью Лернер приглашал:

— Поедем как-нибудь в Атлантик-Сити. Выиграешь тысяч двадцать.

Реализовать свою идею Лернеру пока не удавалось. Он ленился даже записать Марусин телефон.

Так пролетело месяца четыре. Дни тянулись одинаковые, как мешки из супермаркета...

Те же и Гонзалес

К этому времени я уже года полтора был натурализованным американцем. Жил в основном на литературные заработки. Книги мои издавались в хороших переводах. Не случайно один мой коллега любил повторять:

— Довлатов явно проигрывает в оригинале...

Рецензенты мною восхищались, называли советским Керуаком, упоминая попутно Достоевского, Чехова, Гоголя.

В одной из рецензий говорилось:

«Персонажи Довлатова горят значительно ярче, чем у Солженицына, но в куда более легкомысленном аду».

Рецензии меня почти не интересовали. К тому, что пишут обо мне, я совершенно равнодушен. Я обижаюсь, когда не пишут...

И все-таки мои романы продавались слабо. Коммерческого успеха не было. Известно, что американцы предпочитают собственную литературу. Переводные книги здесь довольно редко становятся бестселлерами. Библия—исключительный случай.

Литературный агент говорил мне:

— Напиши об Америке. Возьми какой-нибудь сюжет из американской жизни. Ведь ты живешь здесь много лет.

Он заблуждался. Я жил не в Америке. Я жил в русской колонии. Какие уж тут американские сюжеты!

Взять, например, такую историю. Между прачечной и банком грузин Дариташвили торгует шашлыком. Какая-то женщина выражает ему свои претензии:

— Почему вы дали господину Лернеру большой шашлык, а мне—совсем крошечный?

— Э-э,—машет рукой грузин.

— И все-таки почему?

— Э-э-э,—повторяет грузин.

— Я настаиваю, я буду жаловаться! Я этого так не оставлю! Почему?

Грузин с трагической физиономией воздевает руки к небу:

— Почему? Да потому, что он мне нравится!..

По-моему, это готовый сюжет. Только что в нем американского?..

И вот однажды раздается телефонный звонок. Слышу голос Муси Татарович:

— Принеси мне сигареты. Можешь?

— Что-нибудь случилось?

— Ничего особенного. У меня синяк под глазом. На улицу стесняюсь выйти. Деньги сразу же верну.

— Откуда?

— Тебе какое дело? Шубу продала.

— Я не про деньги говорю. Синяк откуда?

— С Рафкой поругалась.

— Я сейчас приеду...

С Марусей я познакомился за год до этого. В дни знаменитой авантюры с русским телевидением.

Двое бизнесменов, Лелик и Маратик, сняли офис в центре города. Дали объявления в русских газетах. Пообещали установить в каждом доме специальные репродукторы. Короче, взялись дублировать на русский язык передачи американского телевидения.

Затея имела успех, в особенности—среди пенсионеров. Старики охотно высылали деньги. Лелик и Маратик пригласили на работу шестерых сотрудников. Двух секретарш, бухгалтера, охранника, рекламного агента и меня как творческую единицу.

Я дописывал на работе свою книгу «Чемодан». Секретарши целыми днями болтали. Агент вымогал у рекламодателей деньги под несуществующее телевидение. Бухгалтер писал стихи. Охранник, бывший чемпион Молдавии по самбо, то и дело ходил за выпивкой.

Охрана предназначалась Лелику с Маратиком. На случай появления обманутых клиентов.

Одной из секретарш была Маруся Татарович.

Она мне сразу же понравилась—высокая, нарядная и какая-то беспомощная. Бросалась в глаза смесь неуверенности и апломба. Так чаще всего и бывает.

Я быстро понял, что она не создана для коллектива. Вот, например, характерный случай.

У второй секретарши был муж. Он подарил жене браслет на именины. Та захватила его на работу—похвастать. Маруся повертела его в руках и говорит:

— Какая прелесть! У меня в Союзе был такой же. Только платиновый...

После этого секретарша ее возненавидела...

Маруся слишком часто вспоминала о своих утраченных номенклатурных привилегиях. Слишком охотно рассказывала про своего знаменитого мужа. Чересчур размашисто бросала на диван ондатровую шубу.

Коллектив предпочитает, чтобы люди в ее обстоятельствах держались поскромнее.

Раза три я подолгу беседовал с Марусей за чашкой кофе. Она рассказывала мне свою довольно-таки нелепую историю. В какой-то степени мы подружились. Я люблю таких—отпетых, погибающих, беспомощных и нахальных. Я всегда повторял: кто бедствует, тот не грешит...

— Плохо,— говорила Маруся,— что вы женаты. Мы бы поладили... А главное, ваша жена — потрясающе интересная дама. Через месяц завела бы себе кого-нибудь получше...

Устроившись на работу, Маруся поторопилась снять квартиру. Деньги она заняла у Лоры. Тогда в нашем районе еще можно было отыскать жилье долларов за четыреста.

Внезапно Лелик и Маратик объявили:

— Первый месяц все работают бесплатно. Это традиция. Ведь мы создаем новую фирму.

Прошло четыре недели. Боссы помалкивали. Если с ними заговаривали о деньгах, переходили на английский язык.

Я понял, что нас обманули. (Старики это поняли еще через месяц.) Зашел к нашим боссам. Сказал им все, что думаю о них. Так, что даже в коридоре было слышно.

Маруся удивилась:

— Я и не подозревала, что вы знаете такие слова.

Короче, телевидение закрылось, не успев родиться. Лелика с Маратиком все еще разыскивают обманутые подписчики.

Исчезновение двух бизнесменов сопровождалось фельетонами в русской прессе. Фельетонисты выражали уверенность, что Лелик и Маратик засланы госбезопасностью. Цель — разложение капиталистической системы изнутри.

Один из фельетонов назывался: «Крайм родной, навек любимый!..» *

Бухгалтер Фалькович сказал:

— Подамся в управдомы.

И действительно, пошел работать супером в Асторию.

Замужняя секретарша улетела к дочке в Торонто. Рекламный агент стал торговать магнитофонными записями. Я вернулся к бедственному, но родному положению свободного художника. Охранник работает телохранителем у Якова Смирнова. Говорят, Смирнов его побаивается.

Маруся оказалась в пустой квартире и без денег. Раза два я возил ее на своей машине по каким-то учреждениям. Раздобыл ей кое-что из мебели. Подарил наш старый телевизор. Что еще я мог для нее сделать? Не разводиться же мне было по такому случаю!

Иногда мы сталкивались на улице. Глупо было расспрашивать, на что ты живешь? Вероятно, ей удалось добиться какого-то пособия.

Маруся говорила, что Левушка болеет. Что она пытается давать уроки музыки. Предполагает открыть небольшой детский сад.

Я почти не слушал. В таких делах, если начнешь прислушиваться, одно расстройство. Как говорится, беспомощный беспомощному — не помощник...

Тут как раз и появился этот латиноамериканец. Точнее говоря, не появился, а возник. Возник из хаоса чужой, заморской, непонятной жизни.

Что его породило? Однообразная вибрирующая музыка, долетающая из транзисторов? Смешанные запахи пиццерии, косметики и бензиновой гари? Разноцветные огни, плавающие в горячем асфальте? Отблески витрин на бортах проносящихся мимо автомобилей?..

Рафаэль материализовался из общего чувства неустойчивости. Из ощущения праздника, беды, успеха, неудачи, катастрофической феерии.

Маруся не помнила дня их знакомства. Не могла припомнить обстоятельств встречи. Рафаэль возник загадочно и неуклонно, как само явление третьего мира.

Марусе вспоминались лишь черты его давнишнего присутствия. Какие-то улыбки на лестнице. (Возможно, она принимала Рафаэля за человека из домовой хозобслуги.) Какие-то розы, брошенные в ее сторону из потрепанной автомашины. Протянутые Левушке конфеты за четыре цента.

Был запах дорогого одеколона в лифте. Теснота между дверьми. Приподнятая шляпа. Велюровый пиджак, сигары, кремовые брюки. Кольцо с фальшивым бриллиантом. Галстук цвета рухнувшей надежды.

Сначала Рафаэль был для Маруси улицей, особенностью пейзажа. Принадлежностью данного места наряду с витриной фирмы «Рейнбоу», запахом греческих жаровен или хриплым басом Адриано Челентано.

* Крайм (англ.— crime) — преступление.

Сначала Рафаэль был обстоятельством места и времени.

Затем оказалось, что Маруся сидит в его разбитом автомобиле. Что они возвращаются из ресторана «Дель Монико». Что Левушка уснул в машине. И что рука с фальшивым перстнем гладит Мусину ладонь.

— Ноу,— сказала Муся.

И переложила чью-то руку на горячее сиденье.

— Вай нот? *— спросил латиноамериканец.

И ласково потрогал ее округлое колено.

— Ноу,— сказала Муся.

И прикрыла его рукой свою ладонь.

— Вай нот?— спросил латиноамериканец.

И потянулся к вырезу на ее блузке.

— Ноу.

Она переложила его руку на колено.

— Вай нот?

Он положил ей руку на бедро.

— Ноу.

Маруся потянула вверх его ладонь.

— Вай нот?..

Одна его рука возилась с пуговицами на блузке. Вторая с некоторым упорством раздвигала ей колени.

Маруся успела подумать: «Как он ведет машину? Вернее — чем?..»

Автомобиль тем не менее двигался ровно. Только раз они задели борт чужого мерседеса.

При этом рук своих латиноамериканец так и не убрал. Лишь шевельнул коленями.

— Ты ненормальный,— она старалась говорить погромче,— крейзи!

Рафаэль, не останавливая машины, достал из кармана синий фломастер. Приставил его к своей выпуклой груди, обтянутой нейлоновым джемпером. Быстро нарисовал огромных размеров сердце. И сразу полез целоваться.

Теперь он развернулся к Мусе целиком. Руль поворачивал (как утверждает Муся) своим не очень тощим задом.

Приглашать его домой Маруся не хотела. Она стеснялась пустой квартиры.

Левушка спал в продавленном дерматиновом кресле. Сама Маруся — на погнутой раскладушке. Все это мы когда-то притащили с улицы.

В холодильнике лежали голубоватые куриные ноги. И все. Какие уж тут могут быть гости?!

Затем произошло следующее. Рафаэль откинул багажник. Извлек оттуда свернутый колесом матрас в полиэтиленовом чехле. За ним — бутылку рома, связку пепси-колы, четыре апельсина и галеты.

Матрас был совершенно новый, в упаковке.

К этому времени Маруся перестала удивляться. Она спросила:

— Как тебя зовут? Вот из ер нейм?

В ответ прозвучало:

— Рафаэль Хосе Белинда Чикориллио Гонзалес.

— Коротко и ясно,— сказала Маруся,— буду звать тебя Рафа.

— Рафа,— подтвердил латиноамериканец.

Затем добавил:

— Муська!

Еду и выпивку он быстро рассовал по карманам. Левушку тащил на плече. Матрас (я лично верю этому!) катился сам.

К тому же свободной рукой латиноамериканец поглаживал Мусю. При этом курил и галантно распахивал двери.

Вдруг Маруся уловила странное потрескивание. Прислушалась. Как выяснилось, это штаны латиноамериканца трещали от напора буйной плоти.

Следует отметить еще и такую подробность. Когда они выходили из лифта, мальчик неожиданно проснулся. Он посмотрел на Рафаэля безумными, как у месячного щенка, глазами и спросил:

* Why not? (англ.) — Почему бы нет?

— Ты кто? Мой папа?
И что вы думаете ответил латиноамериканец? Латиноамериканец ответил:
— Вай нот?

Разговоры

Я сел в автомобиль. Проехал три квартала. Вспомнил, что Маруся просила купить сигареты. Развернулся.
Наконец затормозил около ее подъезда. Может, думаю, гаечный ключ захватить на всякий случай? В качестве орудия самозащиты? Что если Рафаэль полезет драться?..
Я не трус. Но мы в чужой стране. Языка практически не знаем. В законах ориентируемся слабо. К оружию не привыкли. А тут у каждого второго — пистолет. Если не бомба...
При этом латиноамериканцы, говорят, еще страшнее негров. Те хоть рабами были двести лет, что отразилось соответственно на их ментальности. А эти? Все, как один, здоровые, нахальные и агрессивные...
Драки, конечно, и в Ленинграде бывали. Но обходилось все это без роковых последствий.
Сидели мы, помню, в одной компании. Прозаик Стукалин напился и говорит литературоведу Зайцеву:
— Я сейчас тебе морду набью.
А тот ему отвечает:
— Ни в коем случае, потому что я — толстовец. Я отрицаю всякое насилие. Если ты меня ударишь, я подставлю другую щеку.
Стукалин подумал и говорит:
— Ну и хрен с тобой!..
Мы успокоились. Решили, что драка не состоится. Вышли на балкон. Вдруг слышим грохот. Бежим обратно в комнату. Видим, Стукалин лежит на полу. А толстовец Зайцев бьет его по физиономии своими огромными кулаками...
Но дома все это происходило как-то безболезненно. А здесь?..
Ну, ладно, думаю, пора идти. Звоню.
Дверь открывает Маруся Татарович. Действительно, синяк под глазом. К тому же нижняя губа разбита и поцарапан лоб.
— Не смотри, — говорит.
— Я не смотрю. А где он?
— Рафка? Убежал куда-то в расстроенных чувствах.
— Может, — спрашиваю, — в госпиталь тебя отвезти?
— Не стоит. Я все это косметикой замажу.
— Тогда звони в полицию.
— Зачем? Подумаешь, событие — испанец дал кому-то в глаз. Вот если бы он меня зарезал или пристрелил.
— Тогда, — говорю, — можно уже и не звонить.
— Бессмысленно, — повторила Муся.
— Может, посадят его суток на двенадцать? Ради профилактики?
— За что? За драку? В этом сумасшедшем городе Нью-Йорке?! Да здесь в тюрьму попасть куда сложнее, чем на Марс или Юпитер! Для этого здесь надо минимум сто человек угробить. Причем желательно из высшего начальства. Здесь очередь в тюрягу, я думаю, примерно лет на сорок. А ты говоришь — посадят... Главное, не беспокойся. Я все это сейчас подретуширую...
Я огляделся. Марусино жилище уже не казалось таким пустым и заброшенным. В углу я заметил стереоустановку. По бокам от нее стояли два вельветовых кресла. Напротив — диван. У стены — трехколесный велосипед. Занавески на окнах...
Я сказал Марусе:
— Дверь запри как следует.
— Бесполезно. У него есть ключ.
Еще, думаю, не легче...
— Он тебе хоть помогает материально?
— Более или менее. Он вообще-то добрый. Всякое барахло покупает. Особенно для Левки. Испанцы, видно, к маленьким неравнодушны.

— И еще — к блондинкам.
— Уж это точно. Рафа в этом смысле — настоящий пионер!
— Не понял?
— Вроде Павлика Морозова. Всегда готов! Одна мечта: поддать — и в койку! Я иногда думаю, не худо бы его к турбине присоединить! Чтобы энергия такая зря не пропадала... А в смысле денег он не жадный. Кино, театры, рестораны — это запросто. Однако на хозяйство сотню дать жалеет. Или скорее всего не догадывается. А мне ведь надо за квартиру платить...
Маруся переоделась, заслонившись кухонной дверью.
— Хочешь кофе?
— Нет, спасибо... Чем он вообще занимается? — спрашиваю.
— Понятия не имею.
— Ну, а все-таки?
— Что-то продает. А может, что-то покупает. Вроде бы учился где-то месяц или два... Короче, не Спиноза. Спрашивает, например, меня: «Откуда ты приехала?» — «Из Ленинграда». — «А, говорит, знаю, это в Польше...» Как-то раз вижу, газету читает. Я даже удивилась — грамотный, и на том спасибо...
Маруся налила себе кофе и продолжала:
— Их здесь целый клан: мамаша, братья, сестры. И все более-менее солидные люди, кроме Рафы. У его маман четыре дома в Бруклине. У одного брата — кар-сервис. У другого — прачечная. А Рафка, в общем-то, не деловой. И деньги его мало беспокоят. Ему лишь бы штаны пореже надевать...
— Ну, хорошо, — говорю, — а все-таки что будет дальше?
— В смысле?
— Каковы перспективы на будущее? Он хочет на тебе жениться?
— Я тебе уже сказала, чего он хочет. Больше ничего. Все остальное — так, издержки производства.
— Значит, никаких гарантий?
— Какие могут быть гарантии? И что тут говорить о будущем? Это в Союзе только и разговоров, что о будущем. А здесь — живешь, и ладно...
— Надо же о Левушке подумать.
— Надо. И о себе подумать надо. А замуж выходить совсем не обязательно. Я дважды замужем была, и что хорошего?.. И вот что я тебе скажу. Когда-то мне случалось ездить на гастроли. Жила я там в гостиницах с командированными. Платили им два сорок. Это в сутки. На эти жалкие гроши они должны были существовать. А именно: три раза в день питаться. Плюс сигареты, транспорт, мелкие расходы. Плюс непременно выпить. Да еще и отложить чего-то женам на подарки. Да еще и бабу трахнуть по возможности. И все это на два, пардон, рубля сорок копеек...
— К чему ты это говоришь?
— С тех пор я всех этих командированных упорно ненавижу. Вернее, дико презираю.
Маруся зло прищурилась:
— Ты посмотри вокруг. Я говорю о наших эмигрантах. Они же все — командированные. У каждого в руке — два сорок. Тогда уж лучше Рафаэль с его, что называется, любовью...
Я спросил:
— И у меня в руке — два сорок?
— Допустим, у тебя — четыре восемьдесят... Кстати, я тебе должна за сигареты... Но у большинства — два сорок... Есть тут один из Черновиц, владелец гаража. Жена по медицинской части, вместе зарабатывают тысяч шестьдесят. Ты знаешь, как он развлекается по вечерам? Залезет в черный «Олдсмобиль» и слушает кассеты Томки Миансаровой. И это — каждый вечер. Я тебе клянусь. Жена на лавочке читает «Панораму» от и до, а Феликс слушает кассеты. Разве это жизнь? Уж лучше полоумный Рафа, чем отечественное быдло.
— Владелец гаража свою жену, я думаю, не избивает.
— Естественно. Не хочет прикасаться лишний раз...

Переодевшись и накрасившись, Маруся явно осмелела. Хотя синяк под слоем грима и косметики заметно выделялся. Да и царапина над бровью производила удручающее впечатление. А вот разбитую губу ей удалось закрасить фиолетовой помадой...

Тут снизу позвонили. Маруся надавила розовую кнопку. Сказала:

— Возвращение Фантомаса...

Затем добавила спокойно:

— Вдруг он к тебе полезет драться? Если что, ты дай ему как следует.

— Ого, — говорю, — вот это интересно! Я-то здесь при чем? Он, что, вообще здоровый?

— Как горилла. Видишь эту лампу?

Я увидел лампочку, свисающую на перекрученном шнуре.

— Ну?

— Он ее вечно задевает, — сказала Муся.

— Подумаешь, — говорю, — я тоже задеваю...

— Ты головой, а он плечом...

Тут снова позвонили. Теперь уже звонок раздался с лестничной площадки. Одновременно повернулся ключ в замке.

Затем в образовавшуюся щель протиснулась громоздкая и странная фигура.

Это был мужчина лет пятидесяти в коричневой футболке с надписью «Хелло!» и узких гимнастических штанах. На голове его белела марлевая повязка. Правая рука лежала в гипсе. Ногу он волочил, как старое ружье.

Я с некоторым облегчением вздохнул. Мужчина явно выглядел не хищником, а жертвой. На лице его застыло выражение страха, горечи и укоризны. В комнате запахло йодом.

— Полюбуйся-ка на это чучело, — сказала Муся.

Увидев меня, Рафа несколько приободрился и заговорил:

— Она меня избила, сэр! За что?.. Сначала она била меня вешалкой. Но вешалка сломалась. Потом она стала бить меня зонтиком. Но и зонтик тоже сломался. После этого она схватила теннисную ракетку. Но и ракетка через какое-то время сломалась. Тогда она укусила меня. Причем моими собственными зубами. Зубами, которые она вставила на мои деньги. Разве это справедливо?

Рафа скорбно продолжал:

— Я обратился в госпиталь, пошел к хирургу. Хирург решил, что я был в лапах террористов. Я ответил: «Доктор! Террористы не кусаются! Я был у русской женщины...»

— Заладил, — сказала Муся.

Рафа продолжал:

— Я ее люблю. Я дарю ей цветы. Я говорю ей комплименты. Вожу ее по ресторанам. И что же я слышу в ответ? Она говорит, что я паршивый старый негритос. Она требует денег. Она... Мне больно это говорить, но я скажу. Сегодня она плюнула на моего тигренка...

Я приподнял брови.

— На моего веселого парнишку...

Я не понял.

— Короче, она плюнула на мой восставший член. Не знаю, может быть, в России это принято? Но мне стало обидно...

Я спросил у Муси:

— Что же все-таки произошло?

— Да ничего особенного. Мне понадобились деньги, за квартиру уплатить. А он говорит — нету. Тебе, говорит, вечно нужны деньги. А я говорю, ты ничтожество. Я десять лет была женой великого артиста, русского Синатры. Ты ему ботинки чистить не достоин. Ты, говорю, паршивый черномазый сифилитик. А он говорит — я тебя люблю. Смотри, как я тебя люблю. И вдруг, ты понимаешь, стаскивает брюки. А я говорю — плевать мне на твое сокровище. И плюнула ему на это дело. А он мне говорит — ты сука. А я беру пластмассовую вешалку... И в результате происходит драка...

— Учтите, — вставил Рафаэль, — я не сопротивлялся. Я только закрывал лицо. Она меня загнала в угол. И я был вынужден ее толкнуть...

Рафаэль производил впечатление скромного и незлобивого человека. Вызывал если не жалость, то сочувствие. Застенчиво присел на край дивана.

Я сказал Марусе:

— Думаю, вам надо помириться.

И еще:

— Предложи ему чашку кофе.

— Я бы предпочел стаканчик рома.

— Еще чего?! — сказала Муся.

Тем не менее вытащила из холодильника плоскую бутылку.

Образовалась довольно странная компания. Женщина с подбитым глазом. Изувеченный ею латиноамериканец. И я, неизвестно почему здесь оказавшийся. А в центре — начатая бутылка рома.

Маруся говорила Рафаэлю:

— Ты посмотри на Серджио. Он — выдающийся писатель. Естественно, что у него проблемы в смысле денег... А ты? Ведь ты же — зиро, ноль! Так хоть бы зарабатывал как следует...

В ответ на это Рафаэль беззлобно повторял:

— О, Раша! Крейзи рашен вумен!..

Я твердил Марусе:

— Он мне нравится. Оставь его в покое. К тому же от него есть прок. Смотри, как ты заговорила по-английски.

Маруся отвечала:

— Для того язык и выучила, чтобы ругать его последними словами...

Мы немного выпили. Маруся вскипятила чайник. Рафаэль сиял от удовольствия. Даже когда я спотыкался об его вытянутую ногу.

Забыв про все свои увечья, латиноамериканец явно жаждал благосклонности. Он смотрел на Мусю преданными и блестящими глазами. Все норовил коснуться ее платья.

Тем сильнее я был поражен, узнав, что Рафаэль — марксист. До этого я был уверен, что вожделение и политика несовместимы.

Но Рафаэль воскликнул:

— Я уважаю русских. Это замечательные люди. Они вроде поляков, только говорят на идиш. Я уважаю их за то, что русские добились справедливости. Экспроприировали деньги у миллионеров и раздали бедным. Теперь миллионеры целый день работают, а бедняки командуют и выпивают. Это справедливо. Октябрьскую революцию возглавил знаменитый партизан — Толстой. Впоследствии он написал «Архипелаг ГУЛаг».

— О, Господи, — сказала Муся.

Латиноамериканец продолжал:

— В Америке нет справедливости. Миллионерам достаются кинозвезды, а беднякам — фабричные работницы. Так где же справедливость? Все должно быть общее. Автомобили, деньги, женщины...

— Смотри-ка, размечтался! — вставила Маруся.

— Разве это хорошо, когда у одного миллионы, а другой считает жалкие гроши? Все нужно разделить по справедливости.

Я перебил его:

— Мне кажется, что это бесполезно. Одни рождаются миллионерами, другие бедняками. Допустим, можно разделить все поровну, но что изменится? Лет через пять к миллионерам возвратятся деньги. А к беднякам вернутся соответственно заботы и печали.

— Возможно, ты и прав. Тем более что революция в Америке произойдет не очень скоро. Здесь слишком много богачей и полицейских. Однако в будущем ее, я думаю, не избежать. Врачей и адвокатов мы заставим целый день трудиться. А простые люди будут слушать джаз, курить марихуану и ухаживать за женщинами.

— Видишь, что за тип? — сказала Маруся. — Это ж надо!

— Оставь ты, — говорю, — его в покое. Он же в принципе незлой. И рассуждает, в общем-то, на уровне Плеханова, а может, даже Чернышевского...

Мы снова выпили. Я начал замечать, что Рафу тяготит мое присутствие. Хотя он трогал Мусю за руку и говорил:

— Пусть Серджио останется. Куда ему спешить? Давайте посидим еще минуты три. Буквально три минуты.

Но я сказал, что мне пора. Мы попрощались. Рафа излучал блаженство. Ударил меня дружески в живот тяжелой гипсовой рукой.

Маруся вышла следом на площадку.

— Получи, — говорит, — за сигареты.

— Глупости, — сказал я.

— Еще чего! Вот если бы ты жил со мной. Тогда я понимаю!

И тут я вдруг поцеловал ее. И сразу отворились металлические двери лифта.

— Чао! — слышу...

Я шел домой и почему-то чувствовал себя несчастным. Мне хотелось выпить, но уже как следует.

Как только я увидел дочку, все это прошло.

На улице и дома

Слухи у нас распространяются быстро. Если вас интересуют свежие новости, постойте около русского магазина. Лучше всего — около магазина «Днепр».

Это наш клуб. Наш форум. Наша ассамблея. Наше информационное агентство.

Здесь можно навести любую справку. Обсудить последнюю газетную статью. Нанять телохранителя, шофера или, скажем, платного убийцу. Приобрести автомобиль за сотню долларов. Купить валокордин отечественного производства. Познакомиться с веселой и нетребовательной дамой.

Говорят, здесь продают марихуану и оружие. Меняют иностранную валюту. Заключают подозрительные сделки.

О людях нашего района здесь известно все.

Известно, что у Зямы Пивоварова родился внук, которого назвали Бенджи. Что правозащитник Караваев написал статью в защиту дочки Брежнева Галины, жертвы тоталитаризма. Что владелец «Русской книги» Фима Друкер переиздает альбом «Японская эротика». Что Баранов, Еселевский и Перцович сообща купили ланчонет.

Все знают, что хозяин фотоателье Евсей Рубинчик так и не купил жене мутоновую шубу. Что Григорий Лемкус выдал замуж суку Афродиту. Что счастливчик Лернер оказался миллионным посетителем картинной галереи «Родос» и ему вручили триста долларов. Известно также, что до этого в картинных галереях Лернеру бывать не приходилось.

Известно, между прочим, что Зарецкий тайно ездил к Солженицыну. Был удостоен разговора продолжительностью в две минуты. Поинтересовался, что Исаич думает о сексе? Получил ответ, что «все сие есть блажь заморская, антихристова лжа...».

Короче, здесь известно все. И обо всех. Заговорили наконец и о Марусе с Рафаэлем. В таком примерно духе:

— К этой, с углового дома, ходит тут один испанец. И притом открыто. Разве можно так себя не уважать?!

Мужчины, обсуждая эту тему, весело подмигивали. Женщины сурово поднимали брови.

Мужчины говорили: «Эта рыжая, однако, не теряется».

Женщины высказывались строже: «Хоть бы каплю совести имела!»

Женщины, как правило, Марусю осуждали. Мужчины в основном сочувствовали ей.

Рафа в представлении мужчин был гангстером и даже террористом. Женщины считали его обыкновенным пьяницей.

Косая Фрида так и говорила:

— Типичный пьяный гой из Жмеринки!..

У наших женщин философия такая:

«Если ты одна с ребенком без копейки денег — не гордись. Веди себя немного поскромнее».

Они считали, что в Марусином тяжелом положении необходимо быть усталой, жалкой и зависимой. Еще лучше — больной, с расстроенными нервами. Тогда бы наши женщины ей посочувствовали. И даже, я не сомневаюсь, помогли бы.

А так? Раз слишком гордая, то пусть сама выкручивается... В общем: «Хочешь, чтоб я тебя жалела? Дай сначала насладиться твоим унижением!»

Маруся не производила впечатления забитой и униженной. Быстро начала водить машину. (Рафа поменял облезлый «бьюик» на высокий «джип».) Довольно часто появлялась в русских магазинах. Покупала дорогую рыбу, буженину, черную икру. Хотя я все еще не мог понять, чем Рафа занимается. Не говоря о Мусе...

Сто раз я убеждался: бедность — качество врожденное. Богатство тоже. Каждый выбирает то, что ему больше нравится. И, как ни странно, многие предпочитают бедность. Рафаэль и Муся предпочли богатство.

Рафа был похож на избалованного сына Аристотеля Онассиса. Он вел себя как человек без денег, но защищенный папиными миллиардами. Он брал взаймы где только можно. Оформлял кредитные бумаги. Раздавал финансовые обязательства.

Он кутил. Последствия его не волновали.

Сначала Муся нервничала, а затем привыкла. Америка — богатая страна. Кому-то надо жить в этой стране без огорчений и забот?!

Вот так они и жили.

Общество могло простить им что угодно: тунеядство, вымогательство, наркотики. Короче — все, за исключением беспечности.

Косая Фрида возмущалась:

— Так и я ведь заведу себе какого-нибудь Чиполлино!..

Наши интеллектуалы высказывались следующим образом. Зарецкий говорил:

— Взгляните-ка на этого латиноамериканца. На его суставы и ушные раковины. Перед нами характерный тип латентно-дискурсоидного моносексопата. А теперь взгляните на Марию Федоровну. На ее живот и тазовые кости. Это же типичный случай релевантно-мифизированного полисексуалитета... Короче говоря, они не пара...

Лемкус опускал глаза:

— Бог есть любовь!..

Правозащитник Караваев восклицал, жестикулируя:

— Безнравственно и стыдно предаваться адюльтеру, когда вся хельсинкская группа за решеткой!

Ему печально вторил издатель Друкер:

— Отдаться человеку, который путает Толстого с Достоевским!.. Я лично этого не понимаю...

Аркаша Лернер с некоторой грустью повторял:

— Красивых баб всегда уводят наглые грузины... Что?.. Испанец?.. Это в принципе одно и то же...

Владелец магазина Зяма Пивоваров рассуждал, как настоящий бизнесмен:

— Не пропадать же дефицитному товару...

Евсей Рубинчик, будучи в душе художником, отметил:

— Смотрятся они неплохо. Хотелось бы мне их запечатлеть форматом восемь на двенадцать...

Баранов, Еселевский и Перцович ограничивались довольно легкомысленными шутками. Перцович, в частности, сказал Марусе:

— Ты, Мусенька, друзей не забывай. Ты, если будешь замуж выходить, усынови меня. А то уже нет сил крутить баранку в шестьдесят четыре года...

Не то чтобы я подружился с Рафаэлем. Для этого мы были слишком разными людьми. Хотя встречаться приходилось нам довольно часто. Такой у нас район.

Допустим, вы разыскиваете кого-то. Адрес узнавать совсем не обязательно. Гуляйте по центральной улице. Купите банку пива. Съешьте порцию мороженого. Выкурите сигарету. И неизбежно встретите того, кого разыскиваете. Как минимум получите любую информацию о нем. И главным образом — порочащую...

Маруся раза три устраивала вечеринки. Приглашала нас с женой. Готовила домашние пельмени. Воспитывала Рафу:

— Не кури! Поменьше ешь! А главное, поменьше разговаривай! Учти, что ты здесь самый глупый.

Рафаэль не обижался. Он действительно часами говорил. И в основном про то, как стать миллионером. Строил планы быстрого обогащения. Планировал издание съедобных детских книг. Затем вынашивал проект съедобных шахмат. Наконец, пришел к волнующей идее съедобных дамских трусиков.

Его смущало лишь отсутствие начальных капиталов.

— Можно,— говорил он,— попросить у братьев. Они мне доверяют полностью. Достаточно снять трубку...

— Братья не дадут,— вставляла Муся.— И ты прекрасно это знаешь. Они не идиоты.

— Не дадут,— охотно соглашался Рафа,— это правда. Но попросить я хоть сейчас могу. Не веришь?..

Будучи американцем, он всей душой мечтал разбогатеть. Но, будучи еще и революционером, он мечтал добиться справедливости.

Маруся говорила:

— Шел бы ты работать, как все люди.

Рафа твердо возражал:

— Пускай работают дантисты, богачи и адвокаты.

Логика в его речах отсутствовала.

Однажды я сидел у Муси. Рафа прибежал откуда-то взволнованный и бледный. Закричал с порога:

— Гениальная идея! Принесет нам три миллиона долларов! Успех на сто процентов гарантируется. Никакого риска. Через три недели мы открываем фабрику искусственных сосков!

— Чего?— спросила Муся.

— Искусственных сосков!

— Не понял,— говорю.— Каких сосков?

— Обыкновенных, дамских.

И Рафа ткнул себя корявым пальцем в грудь.

— Все очень просто. Посмотри на женщин. Особенно тех, что помоложе. Они же все без лифчиков разгуливают. Чтобы сквозь одежду все это просвечивало. Ты заметил?

— Допустим,— говорю.

— Я долго наблюдал и вдруг...

— Поменьше наблюдай,— успела вставить Муся.

— Я долго наблюдал, и вдруг меня сегодня осенило. Все это хорошо для молодых. А кто постарше, тем обидно. Им тоже хочется, чтоб все просвечивало. И чтоб при этом совершенно не болталось. И я придумал,— Рафа торжествующе возвысил голос,— как этого добиться.

— Ну?

— Прошу внимания. Старуха надевает лифчик. Прикрепляет к лифчику резиновый сосок. Затем натягивает кофту.

— Ну и что?

— А то, что все просвечивает и совершенно не болтается.

— И ты намерен эту гадость продавать?— спросила Муся.

— В неограниченном количестве. Ведь это же иллюзия! Я буду торговать иллюзиями по сорок центов штука. И заработаю на этом миллионы. Потому что самый ходовой товар в Америке — иллюзии... Осталось раздобыть начальный капитал. Примерно тысяч двадцать...

— Он сумасшедший,— говорила Муся,— крейзи! Это факт. Но к Левке он действительно привязан. Он ему игрушки покупает. Ходит с ним в бассейн. Недавно рыбу ездили ловить. Он с Левушкой как равные в плане интеллекта. А может, Лева даже поумнее...

Однажды Муся заглянула к нам с женой и говорит:

— Дадите кофе? Я немного посижу. А около пяти заедет Рафа. Он должен Левушку забрать из киндергартена.

Моя жена открыла холодильник. Муся закричала:

— Боже упаси! Я на диете...

Мы пили кофе. Говорили о политике. Конкретно обсуждали личность Горбачева и его реформы. Маруся, в частности, сказала:

— Если там начнутся перемены, я об этом раньше всех узнаю. Потому что сразу же уволят моего отца. Он сам мне говорил: «Учти. Пока я занимаю столь ответственную должность, коммунизм тебе и маме не грозит...»

Тут снизу позвонили.

— Это Рафа.

Через минуту появился Рафаэль, учтивый, загорелый и благоухающий косметикой. Он изъявил желание выпить рома с пепси-колой. Сообщил, что духота на улице, как в преисподней.

Маруся засмеялась:

— Всюду этот Рафа побывал...

Затем спросила:

— Где ребенок? Во дворе?

— Сейчас все объясню.

Маруся начала приподниматься:

— Где Левушка?

— Не беспокойся. Все нормально.

Рафа снова выпил. Опустил стакан. Укрылся за моей спиной и тонким голосом проговорил:

— Мне кажется, я потерял его.

— Что?!

— Я думаю, он выпал из машины. Только не волнуйся...

Но мы уже бежали вниз по лестнице. Маруся — впереди. Я следом. Затем моя жена. И дальше Рафаэль, который на ходу твердил:

— Мы ехали через Грэнд Сентрал. Повернули к мосту. Лео перелез на заднее сиденье. Там лежали новые игрушки. А потом вдруг слышу — бэнг! Я думал, это взорвалась игрушечная бомба.

— Убью!— кричала Муся, не замедляя шага.

Мы бежали к переезду. Рафа на бегу курил сигару. Моя жена в домашних туфлях стала отставать. Я уговаривал Марусю действовать разумно. Люди уступали нам дорогу.

День был солнечный и знойный. Над асфальтом поднимались испарения бензина. В стороне аэропорта грохотали реактивные моторы. Сто восьмая улица была похожа на засвеченную фотографию.

Левее виадука мы заметили толпу, которая неплотно окружала полицейского. Маруся с криком бросилась вперед. Секунда, и глазам ее предстанет распростертое на выцветшем асфальте тело.

Люди расступились. Мы увидели заплаканного Левушку с игрушечной гранатой в кулаке. Его колени были в ссадинах. Других увечий я не обнаружил.

— Значит, это ваш?— спросил довольно хмуро полицейский.

Маруся подхватила Леву на руки.

Один в толпе сказал:

— Легко отделался.

Второй добавил:

— Надо отдавать таких родителей под суд.

Тут подоспели новые зеваки:

— Что случилось?

— Выпал из машины...

— Хорошо, что не из самолета...

Мы направлялись к дому. Рафаэль держался в отдалении. Потом вдруг говорит:

— Мне кажется, что это дело следует отпраздновать!..

Он сделал шаг по направлению к двери ресторана «Лотос».

И лишь тогда Маруся наградила его звонкой, оглушительной пощечиной. Раздался звук, как будто тысячи поклонников, допустим, Адриано Челентано одновременно хлопнули в ладоши.

Рафа даже глазом не повел. Он только поднял руки и сказал:

— Сдаюсь...

В июле Маруся отмечала день рождения. Собралось у нее двадцать человек гостей.

Во-первых, родственники — Фима с Лорой. Далее Зарецкий — что-то вроде свадебного генерала. Лернер — в роли тамады. Рубинчик — представитель наших деловых кругов. Издатель Друкер — воплощение культуры. Пивоваров, без которого такие вечеринки не обходятся. Баранов, Еселев-

ский и Перцович — в качестве народа. Караваев — олицетворяющий районное инакомыслие. И наконец Григорий Лемкус, заявившийся без приглашения, но с детьми.

Зарецкий подарил Марусе тронутую увяданием розу. Лернер — дюжину шампанского. Владелец «Русской книги» Друкер — том арабских непристойных сказок. Караваев — фотографию Белоцерковского с автографом: «Терпимость — наше грозное оружие!» Рубинчик преподнес ей маниордер на загадочную сумму — тридцать восемь долларов и шестьдесят четыре цента. Родственники Фима с Лорой — вентилятор. Пивоваров — целую телегу всякого добра из собственного магазина. Баранов, Еселевский и Перцович сообща купили Мусе новый телевизор. Лемкус одарил ее своим благословением. А мы с женой отделались банальной кофеваркой.

Ждали Рафу. Тот задерживался. Маруся объяснила:

— Он звонил. Сначала из Манхэттена. Потом с Лонг-Айленд. А полчаса назад — из Джексон-Хайтс. Кричал, что скоро будет. Может, деньги занимать поехал к родственникам? Видно, ищет мне какой-нибудь особенный подарок. Только это все не обязательно. Тут главное — внимание...

Решили подождать. Хотя Аркаша Лернер все глядел на заливное. Да и остальные проявляли легкую нервозность. В частности, Рубинчик говорил:

— И все-таки зимой намного лучше кушается. Летом тоже, в общем, кушается, но похуже...

В ответ на это Аркаша Лернер хмуро произнес:

— Я полагаю, глупо ждать зимы!

И осторожно взял маслину с блюда.

— Ну, тогда садитесь, — пригласила Муся.

Гости с шумом начали рассаживаться.

— Я поближе к вам, Мария Федоровна, — сказал Зарецкий.

— А я поближе к семге, — отозвался Лернер.

Прозвенел звонок. Маруся выбежала к лифту. Вскоре появился Рафаэль. Вид у него был гордый и торжественный. В руках он нес большой коричневый пакет. В пакете что-то щелкало, свистело и царапалось. При этом доносились тягостные вздохи.

Рафаэль дождался тишины и опрокинул содержимое пакета в кресло. Оттуда выпал, с треском расправляя крылья, большой зеленый попугай.

— О, Господи, — сказала Муся, — это еще что такое?!

Рафа торжествующе обвел глазами публику:

— Его зовут Лоло! Я уплатил за него триста долларов!.. Ты рада?

— Кошмар! — сказала Муся.

— А точнее — двести шестьдесят. Он стоит триста, но я купил его за двести шестьдесят. Плюс такс...

Лоло был ростом с курицу. Он был зеленый, с рыжим хохолком, оранжевыми пейсами и черным ястребиным клювом. Его семитский профиль выражал негодование. Склонив немного голову, он двигался вразвалку, часто расправляя крылья.

С кресла он перешагнул на этажерку. С этажерки — на торшер. Оттуда тяжело перелетел на люстру. С люстры — на карниз. Затем вниз головой спустился по оконной шторе. Ступил на крышку телевизора. Присел. На лакированной поверхности возникла убедительная кучка.

Одарив нас этим сокровищем, Лоло хвастливо вскрикнул. А потом затараторил с недовольным видом:

— Шит, шит, шит, шит, фак, фак, фак, фак...

— В хороших, надо думать, был руках, — сказала Муся.

— Мне бы так владеть английским, — удивился Друкер.

Попугай тем временем залез на стол. Прошелся вдоль закусок. Перепачкал лапы в майонезе. Цепко ухватил за хвост сардину и опять взлетел на люстру.

Муся обратилась к Рафаэлю:

— Где же клетка?

— Денег не хватило, — виновато объяснил ей Рафаэль.

— Но он же будет всюду какать!

— Не исключено. И даже вероятно, — подтвердил Зарецкий.

— Что же делать?

Рафа приставал к Марусе:

— Ты не рада?

— Я?.. Я просто счастлива! Мне в жизни только этого и не хватало!..

Мы общими усилиями загнали попугая в шкаф.

Лоло был недоволен. Он бранился, как советский неопохмелившийся разнорабочий. Царапал тонкую фанеру и долбил ее могучим клювом. А потом затих и, кажется, уснул.

Шкаф был дешевый. Щели пропускали воздух.

— Завтра что-нибудь придумаем, — сказала Муся.

И добавила:

— Ну, а теперь к столу!

Через минуту зазвенели рюмки, чашки и стаканы. Выпивали из чего придется. Лернер громко крикнул:

— С днем рождения!

Маруся от смущения произнесла:

— Вас также...

Расходились мы около часу ночи. Шли и обсуждали Мусины проблемы. Зарецкий говорил:

— Здоровая, простите, баба, не работает, живет с каким-то дикобразом... Целый день свободна. Одевается в меха и замшу. Пьет стаканами. И никаких забот... В Афганистане, между прочим, льется кровь, а здесь рекой течет шампанское!.. В Непале дети голодают, а здесь какой-то мерзкий попугай сардины жрет!.. Так где же справедливость?

Тут я бестактно засмеялся.

— Циник! — выкрикнул Зарецкий.

Мне пришлось сказать ему:

— Есть кое-что повыше справедливости!

— Ого! — сказал Зарецкий. — Это интересно! Говорите, я вас с удовольствием послушаю. Внимание, господа! Так что же выше справедливости?

— Да что угодно, — отвечаю.

— Ну, а если более конкретно?

— Если более конкретно — милосердие...

Я хочу домой

Настала осень. Наш район с трудом очнулся после долгого удушливого лета. Кондиционеры были выключены. Толстяки сменили отвратительные шорты на пристойные кримпленовые брюки. Женщины, слегка прикрывшись, обрели известную таинственность. Тяжелый запах дыма и бензина растворился в аромате подгнивающей листвы.

Марусю я встречал довольно часто. Иногда мы заходили в бар. Маруся жаловалась:

— Ты себе не представляешь! Рафа и Лоло — ну просто близнецы. В том смысле, что ответственности — ноль. И лексикон примерно одинаковый.

— Он так и не работает?

— Лоло?

— Да не Лоло, а Рафа?

Муся засмеялась:

— Ты его, должно быть, с кем-то путаешь. Скорей уж я поверю, что работает Лоло. Хотя и это, прямо скажем, маловероятно...

Марусе принесли коктейль — джин с лимонадом. Мне — двойную порцию столичной.

Мы пересели за отдельный столик. Я спросил:

— Тогда на что вы существуете?

— Не знаю... Я тут месяц проработала в одной конторе. Отвечала на звонки. Естественно, хозяин начал приставать. Я говорю ему: «Поехали в мотель. Все удовольствие — сто долларов». А он: «Я думал, ты порядочная женщина». А я ему: «Тебе порядочная и за миллион не даст».

Я перебил ее:

— Маруська, ты в своем уме?! Ведь ты не проститутка! Что вообще за разговоры?!

— А что ты мне советуешь? Тарелки мыть в паршивом ресторане? На программиста выучиться? Торговать орехами на Сто восьмой?.. Да лучше я обратно попрошусь!

— Куда? В Москву?

— Да хоть бы в Москву! А что особенного?! Ведь не посадят же меня. К политике я отношения не имею...

— А свобода?

— На фиг мне свобода! Я хочу покоя... И вообще зачем мне нужна свобода, когда у меня есть папа?!

— Ты даешь!

— Нормальный человек, он и в Москве свободен.

— Много ли ты видела нормальных?

— Их везде немного.

— Ты просто все забыла. Хамство, ложь...

— В Москве и нахамят, так хоть по-русски.

— Это-то и страшно!..

— В общем, жизни нет. На Рафу полагаться глупо. Он такой: сегодня на коленях ползает, а завтра вдруг исчезнет. Где-то шляется неделю или две. Потом опять звонит. Явился как-то раз, снимает брюки, а трусы в помаде. Я тебе клянусь! Причем его и ревновать-то бесполезно. Не поймет. В моральном отношении Лоло на этом фоне — академик Сахаров. Он хоть не шляется по бабам...

Я спросил:

— А Лева?

— Левка молодой еще по бабам шляться.

— Я спросил — как Левушка на этом фоне?

— А-а... Прекрасно. У него как раз все замечательно. И с Рафой отношения прекрасные. И с попугаем, когда тот в хорошем настроении... Как говорится, родственные души...

Я помахал рукой знакомому художнику. Его жена уставилась на Мусю. Так, будто обнаружила меня в сомнительной компании. Теперь начнутся разговоры. Впрочем, разговоры начались уже давно.

Однако настроение испортилось. Я заплатил, и мы ушли...

Прошла неделя. Где-то я услышал, что Муся ездила в советское посольство. Просилась якобы домой.

Сначала я, конечно, не поверил. Но слухи все усиливались. Обрастали всякими подробностями. В частности, Рубинчик говорил:

— Ее делами занимается Балиев, третий секретарь посольства.

Я позвонил Марусе. Спрашиваю:

— Что там происходит?

Она мне говорит довольно странным тоном:

— Если хочешь, встретимся.

— Где?

— Только не у магазина «Днепр».

Мы встретились на Остин-стрит, купили фунт черешен. Сели на траву у пресвитерианской церкви.

Муся говорит:

— Если тебя со мной увидят, будешь неприятности иметь.

— В том смысле, что жена узнает?

— Не жена, а эмигрантская, пардон, общественность.

— Плевать... Ты что, действительно была в посольстве?

— Ну, была.

— И что?

— Да ничего. Сказали: «Нужно вам, Мария Федоровна, заслужить прощение».

— Чем все это кончилось?

— Ничем.

— И что же будет дальше?

— Я не знаю. Я только знаю, что хочу домой. Хочу, чтоб обо мне заботились. Хочу туда, где папа с мамой... А здесь? Испанец, попугай, какая-то дурацкая свобода... Я, может быть, хочу дворнягу, а не попугая...

— Дворняга, — говорю, — у тебя есть.

Маруся замолчала, отвернулась. Наступила тягостная пауза. Я говорю:

— Ты сердишься?

— На что же мне сердиться? Встретить бы тебя пятнадцать лет назад...

— Я не такой уж старый.

— У тебя жена, ребенок... В общем, ясно. А просто так я не хочу.

— Да просто так и я ведь не согласен.

— Тем более. И хватит говорить на эту тему!

— Хватит.

Черешни были съедены. А косточки мы бросили в траву.

Чтобы прервать молчание, я спросил:

— Ты хочешь рассказать мне о своих делах?

И вот что я услышал.

В августе у Муси началась депрессия. Причины, как это обычно и бывает, выглядели мелкими. Известно, что по-настоящему страдают люди только от досадных мелочей.

Соединилось все. У Левушки возникла аллергия к шоколаду. Рафаэль не появлялся с четверга. Лоло сломал очередную клетку из тяжелой медной проволоки. Счет за телефон был не оплачен.

Тут как раз и появилось объявление в газетах. Все желающие могут посмотреть отечественный фильм «Даурия». Картина демонстрируется под эгидой нашей миссии в ООН. Свободный вход. По слухам, ожидается шампанское и бутерброды.

Муся вдруг решила, что пойдет. А Левушку оставит родственникам.

Зал был небольшой, прохладный. Фильм особенного впечатления не произвел. Стрельбой и гонками американских зрителей не удивишь.

Зато потом их утостили водкой с бутербродами. Слух относительно шампанского не подтвердился.

К Мусе подошел довольно симпатичный тип лет сорока. Назвался:

— Логинов Олег Вадимович.

Поговорили о кино. Затем о жизни вообще. Олег Вадимович пожаловался на дороговизну. Сказал, что качество в Америке — ужасно дорогая штука. Недавно, говорит, я предъявил своему боссу ультиматум. Платите больше, или я уволюсь.

— Чем же это кончилось? — спросила Муся.

— Компромиссом. Зарплату он мне так и не прибавил. Зато и я решил, что не уволюсь.

Муся засмеялась. Олег Вадимович казался ей веселым человеком. Она даже спросила:

— Почему среди людей гораздо больше мрачных, чем веселых?

Логинов ответил:

— Мрачным легче притворяться.

Потом вдруг спрашивает:

— А могу ли я задать вопрос, что называется, приватный?

— То есть?

— Проще говоря — нескромный... Как это случилось, уважаемая Мария Федоровна, что вы на Западе?

— По глупости, — ответила Маруся.

— Папаша ваш — солидная фигура. Мать — ответственный работник. Сами вы неплохо зарабатывали. Алиментов, извиняюсь, выходило ежемесячно рублей по сто...

— Не в деньгах счастье.

— Полностью согласен... В чем же? От политики вы были далеки? Материально вам хватало. Жили беззаботно... Родственников захотелось повидать? При этаких доходах родственников можно было выписать из-за границы — к нам...

— Не знаю... Дура я была...

— Опять же полностью согласен. Тем не менее какие ваши планы?

— В смысле?

— Как вы собираетесь жить дальше?

— Как-нибудь.

Тут Муся спохватилась:

— Я Америку не хаю. Мне здесь нравится.

— Еще бы,— поддержал товарищ Логинов.— Великая страна! Да мы-то здесь чужие, независимо от убеждений.

Маруся вежливо кивнула. Ей понравилось размашистое «мы», которым Логинов объединил их: эмигрантку с дипломатом.

— Может, я обратно попрошусь. Скажу — простите меня, дуру несознательную...

Логинов подумал, усмехнулся и сказал:

— Прощение, Мария Федоровна, надо заслужить...

Маруся поднялась и отряхнула юбку. С Квинс-бульвара доносился гул автомашин. Над крышами бледнело догорающее солнце. В тень от пресвитерианских башен налетела мошкара.

Я тоже встал:

— Так чем же это кончилось?

— Они мне позвонили.

— Кто — они?

— Два типа из советского посольства.

Я сказал:

— Идем, расскажешь по дороге. Может, выпьем кофе где-нибудь?

Маруся рассердилась:

— А киселя ты мне не хочешь предложить?

Мы оказались в баре на Семидесятой. Там грохотала музыка. Пришлось идти через дорогу к мексиканцам.

Я спросил:

— Так что же было дальше?

Муся попрощалась с Логиновым в холле. Думала, что он захочет проводить ее. И даже приготовилась к не слишком энергичному отпору. Но Олег Вадимович сказал:

— Если хотите, я вам позвоню...

Возможно, думала Маруся, он боится своего начальства. Или же меня не хочет подводить.

Домой Маруся ехала в сабвее. Целый час себя корила за ненужную пустую откровенность. Да и мысль о возвращении на родину казалась ей теперь абсурдной. Вдруг посадят? Вдруг заставят каяться? Ругать Америку, которая здесь совершенно ни при чем...

Прошло три дня. Маруся стала забывать про этот глупый разговор. Тем более что появился Рафа, как всегда — довольный и счастливый. Он сказал, что был в Канаде, исключительно по делу. Что недавно основал и, разумеется, возглавил корпорацию по сбору тишины.

— Чего? — спросила Муся.

— Тишины.

— Ого,— сказала Муся,— это что-то новенькое.

Рафаэль кричал:

— Я заработаю миллионы! Вот увидишь! Миллионы!

— Очень кстати. Тут как раз пришли счета.

— Послушай, в чем моя идея. В нашей жизни слишком много шума. Это вредно. Действует на психику. От этого все люди стали нервными и злыми. Людям просто не хватает тишины. Так вот, мы будем собирать ее, хранить и продавать...

— На вес? — спросила Муся.

— Почему на вес? В кассетах. И под номерами. Скажем, тишина номер один: «Рассвет в горах». А тишина, допустим, номер пять: «Любовная истома». Номер девять: «Тишина испорченной землечерпалки». Номер сорок: «Тишина через минуту после авиационной катастрофы». И так далее.

— За телефон бы надо уплатить,— сказала Муся.

Рафа не дослушал и ушел за пивом.

Тут ей позвонили. Низкий голос произнес:

— Мы из советского посольства...

Пауза.

— Але! Хотите с нами встретиться?

— А где?

— Да где угодно. В самом людном месте. Ресторан «Шанхай» на Лексингтон и Пятьдесят четвертой вас устраивает? В среду. Ровно в три.

— А как я вас узнаю?

— Да никак. Мы сами вас узнаем. Нас Олег Вадимович проинформировал. Не беспокойтесь. Просьба не опаздывать. Учтите, мы специально прилетим из Вашингтона.

— Я приду,— сказала Муся.

И подумала: «Тут кавалеры доллар на метро боятся израсходовать. А эти специально прилетят из Вашингтона. Мелочь, а приятно...»

Ровно в три она была на Лексингтон. У ресторана поджидали двое. Один — довольно молодой, в футболке. А второй — при галстуке и лет на десять старше. Он-то и представился — Балиев. Молодой сказал, протягивая руку,— Жора.

В ресторане было тесно, хотя ланч давно закончился. Гудели кондиционеры. Молодая китаянка проводила их за столик у окна. Вручила каждому меню с драконами на фиолетовой обложке. Жора погрузился в чтение. Балиев равнодушно произнес:

— Мне — как всегда.

Маруся поспешила заявить:

— Я есть не буду.

— Дело ваше,— реагировал Балиев.

Жора возмутился:

— Обижаешь, мать! Идешь на конфронтацию! А значит, создаешь очаг международной напряженности!.. Зачем?.. Давай поговорим! Побудем в деловой и конструктивной обстановке!..

Тут Балиев с раздражением прикрикнул:

— Помолчите!

У Маруси сразу же возникло ощущение театра, зрелища, эстрадной пары. Жора был веселый, разбитной и откровенный. А Балиев — по контрасту — хмурый, строгий и неразговорчивый.

При этом между ними ощущалась согласованность, как в цирке.

Жора говорил:

— Не падай духом, мать! Все будет замечательно! Беднейшие слои помогут! Запад обречен!..

Балиев недовольно хмурился:

— Не знаю, как тут быть, Мария Федоровна. Решения в таких делах, конечно, принимаются Москвой. При этом многое, естественно, зависит и от наших, так сказать, рекомендаций...

Китаянка принесла им чаю. Мелко кланяясь, бесшумно удалилась. Жора вслед ей крикнул:

— Побыстрее, дорогуша! Выше ногу, у́же глаз!..

Балиев наконец кивнул:

— Рассказывайте.

— Что?

— Да все как есть.

— А что рассказывать? Жила я хорошо, материально и вообще. Уехала по глупости. Хочу, как говорится, искупить. Вплоть до лишения свободы...

Жора снова возмутился:

— Брось ты, мать! Кого теперь сажают?! Нынче, чтобы сесть, особые заслуги требуются. Типа шпионажа...

Тут Балиев строго уточнил:

— Бывают исключения.

— Для полицаев!.. А Мария Федоровна — просто несознательная.

— В общем,— неохотно подтвердил Балиев,— это так. И все-таки прощенье надо заслужить. А как — на этот счет мы будем говорить в посольстве.

— Я должна приехать?

— Чем скорей, тем лучше. Ждем вас каждый понедельник. С часу до шести. Записывайте адрес.

— А теперь,— сказал ей Жора,— можно вас запечатлеть? Как говорится, не для протокола.

Он вынул из кармана фотоаппарат. Балиев чуть придвинулся к Марусе. Официант с дымящимся подносом замер в нескольких шагах.

Зачем им фотография понадобилась, подумала Маруся. В качестве улики? В доказательство успешно проведенной операции? Зачем? И ехать ли мне в это чертово посольство?.. Надо бы поехать. Просто ради интереса...

Муся ехала «Амтраком» в шесть утра. За окнами мелькали реки, горы, перелески — все как будто нарисованное. Утренний пейзаж в оконной раме. Не природа, думала Маруся, а какая-то цивилизация...

Затем она гуляла час по Вашингтону. Ничего особенного. Если что и бросилось в глаза, так это множество строительных лесов.

Посольский особняк едва виднелся среди зелени. Казалось, что ограда лишь поддерживает ветки. Прутья были крашеные, толстые, с шипами.

Муся постояла возле запертых дверей, нажала кнопку.

Вестибюль, на противоположной стенке — герб, телеустройство.

— Ждите!

Кресло, стол, журналы «Огонек», знакомые портреты, бархатные шторы, холодильник.

Ждать пришлось недолго. Вышли трое. Жора, сам Балиев и еще довольно гнусный тип в очках. (Лицо, как бельевая пуговица, вспоминала Муся.)

Далее — минуты три бессмысленных формальностей:

— Устали? Как доехали? Хотите пепси-колы?

После этого Балиев ей сказал:

— Знакомьтесь — Кокорев Гордей Борисович.

— Мы так его и называем — КГБ, — добавил Жора.

Кокорев прервал его довольно строгим жестом:

— Я прошу внимания. Давайте подытожим факты. Некая Мария Татарович покидает родину. Затем Мария Татарович, видите ли, просится обратно. Создается ощущение, как будто родина для некоторых — это переменная величина. Хочу — уеду, передумаю — вернусь. Как будто дело происходит в гастрономе или же на рынке. Между тем совершено, я извиняюсь, гнусное предательство. А значит, надо искупить свою вину. И уж затем, гражданка Татарович, будет решено, пускать ли вас обратно. Или не пускать. Но и тогда решение потребует, учтите, безграничного мягкосердечия. А ведь и у социалистического гуманизма есть пределы.

— Есть, — уверенно поддакнул Жора.

Наступила пауза. Гудели кондиционеры. Холодильник то и дело начинал вибрировать.

Маруся неуверенно спросила:

— Что же вы мне посоветуете?

Кокорев помедлил и затем сказал:

— А вы, Мария Федоровна, напишите.

— Что?

— Статью, заметку, что-то в этом роде.

— Я? О чем?

— Да обо всем. Детально изложите все, как было. Как вы жили без забот и огорчений. Как на вас подействовали речи Цехновицера. И как потом вы совершили ложный шаг. И как теперь раскаиваетесь... Ясно? Поделитесь мыслями...

— Откуда?

— Что — откуда?

— Мысли.

— Мыслей я подкину, — вставил Жора.

— Мысли — не проблема, — согласился Кокорев.

Балиев неожиданно заметил:

— У одних есть мысли. У других — единомышленники...

— Хорошо, — сказала Муся, — ну, положим, я все это изложу. И что же дальше?

— Дальше мы все это напечатаем. Ваш случай будет для кого-нибудь уроком.

— Кто же это напечатает? — спросила Муся.

— Кто угодно. С нашей-то рекомендацией!.. Да хоть «Литературная газета».

— Или «Нью-Йорк Таймс», — добавил Жора.

— Я ведь и писать-то не умею.

— Как умеете. Ведь это не стихи. Здесь основное — факты. Если надо, мы подредактируем.

— Послушай, мать, — кривлялся Жора, — соглашайся, не томи.

— Я попрошу Довлатова, — сказала Муся.

Кокорев переспросил:

— Кого?

— Вы что, Довлатова не знаете? Он пишет, как Тургенев, даже лучше.

— Ну, если как Тургенев, этого вполне достаточно, — сказал Балиев.

— Действуйте, — напутствовал Марусю Кокорев.

— Попробую...

В баре оставались — мы, какой-то пьяный с фокстерьером и задумчивая черная девица. А может, чуть живая от наркотиков.

Маруся вдруг сказала:

— Угости ее шампанским.

Я спросил:

— Желаете шампанского?

Девица удивленно посмотрела на меня. Ведь я был не один. Затем она решительно и грубо повернулась к нам спиной.

Мой странный жест ей, видно, не понравился. Она даже проверила — на месте ли ее коричневая сумочка.

— Чего это она? — спросила Муся.

— Ты не в Ленинграде, — говорю.

Мы вышли на сырую улицу, под дождь. Автомашины проносились мимо наподобие подводных лодок.

Стало холодно. Такси мне удалось поймать лишь возле синагоги. Дряхлый «чекер» был наполнен запахом сырой одежды.

Я спросил:

— Ты что, действительно решила ехать?

— Я бы не задумываясь села и поехала. Но только сразу же. Без всех этих дурацких разговоров.

— Как насчет статьи?

— Естественно, никак. Я матери пишу раз в год, и то с ошибками. Вот если бы ты мне помог.

— Еще чего?! Зачем мне лишняя ответственность? А вдруг тебя посадят?

— Ну и пусть, — сказала Муся.

И придвинулась ко мне. Я говорю ей:

— Руки, между прочим, убери.

— Подумаешь!

— В такси любовью заниматься — это, извини, не для меня.

— Тем более, — вмешался наш шофер, — что я секу по-русски.

— Господи! Какие все сознательные! — закричала Муся, отодвинувшись.

И тут я замечаю на коленях у шофера русскую газету. Механически читаю заголовки: «Подожжен ливийский танкер»... «Встреча Шульца с лидерами антисандинистов»... «На чемпионате мира по футболу»... «Предстоящие гастроли Бронислава Разудалова»...

Не может быть! Еще раз перечитываю — «Гастроли Бронислава Разудалова. Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Детройт. В сопровождении ансамбля...»

Я сказал шоферу:

— Дайте-ка газету на минуточку.

Маруся спрашивает:

— Что там? Покушение на Рейгана? Война с большевиками?

— На, — говорю, — читай...

— О, Господи! — я слышу. — Этого мне только не хватало!..

Операция «песня»

Гастроли Разудалова должны были продлиться три недели. Начинались они в Бруклине, шестнадцатого. Далее шел Квинс. Затем, по расписанию — Чикаго, Филадельфия, Детройт и, кажется, Торонто.

На афишах было выведено:

«Песня остается с человеком».

Ниже красовалась фотография мужчины в бархатном зеленом пиджаке. Он был похож на страшно истаскавшегося юношу. Такие лица — наглые, беспечные, решительные — запомнились мне у послевоенных второгодников. Мужчина был запечатлен на фоне колосящейся пшеницы или ржи. А может быть, овса.

Афиш у нас в районе появилось множество. В одном магазине Зямы Пивоварова их было целых три. У кассы, на дверях и под часами.

Весь район наш был заинтригован. Все прекрасно знали, что у Муси — сын от Разудалова. Что Муся — бывшая жена приезжей знаменитости. Что встреча Разудалова и Муси будет полной драматизма.

Он певец, лауреат, звезда советского искусства, член ЦК. Она безнравственная женщина на велфере.

Захочет ли партийный Разудалов встретиться с Марусей? Побывает ли у нас в районе? Как на все это посмотрит Рафаэль?

Короче, все мы ожидали драматических событий. И они, как говорится, не замедлили последовать.

Газета напечатала статью под заголовком «Диверсант у микрофона». Разудалова в статье именовали, например, «кремлевским жаворонком». А его гастроли — «политическим десантом». Автор, между прочим, восклицал:

«О чем поет заезжий гастролер, товарищ Разудалов? О трагедии еврейского народа? О томящейся в узилище Ирине Ратушинской? О загубленной большевиками экономике? А может, о карательной психиатрии?

Нет!

Слагает он другие гимны. О труде на благо Родины. О пресловутой дружбе. О так называемой любви...

И дирижирует всем этим — комитет госбезопасности!

Зачем нам гастролер с Лубянки? Кто за всем этим стоит? Каким послужит целям заработанная им валюта?!»

И тому подобное.

Статейка вызвала довольно много шума. Каждый день печатались все новые материалы. Целая дискуссия возникла. В ней участвовали самые значительные люди эмиграции.

Одни сурово требовали бойкотировать концерты. У других сквозила мысль: зачем? Кто хочет, пусть идет. Едим же мы советскую икру. Читаем ведь Распутина с Беловым.

Самым грозным оказался публицист Натан Зарецкий. У него была идея Разудалова похитить. Чтоб в дальнейшем обменять его на Сахарова или Ратушинскую.

Зарецкого поддерживали ястребы, которых оказалось большинство. Ходили слухи, что в концертный зал подложат бомбу. Что у входа будут якобы дежурить патрули. Что наиболее активных зрителей лишат восьмой программы и фудстемпов. Что организатора гастролей депортируют. И прочее.

Я позвонил Марусе:

— Ты идешь?

— Куда?

— На вечер Разудалова.

— Пойду. Назло всем этим чокнутым борцам за демократию. А ты?

— Я и в Союзе был к эстраде равнодушен.

Муся говорит:

— Подумаешь! Как будто ты из филармонии не вылезал...

Потом она рассказывала мне:

«Концерт прошел нормально. Хулиганов было трое или четверо. Зарецкий нес таинственный плакат «Освободите Циммермана!» На вопрос: «Кто этот самый Циммерман?» — Зарецкий отвечал:

— Сидит за изнасилование.

— В Москве?

— Нет, в городской тюрьме под Хартфордом...

Из зала Разудалову кричали:

— Почему не эмигрируешь в Израиль?

Разудалов отвечал:

— Я, братцы, не еврей. За что, поверьте, дико извиняюсь...

Сам он постарел, рассказывала Маруся. Однако голос у него пока довольно звонкий. Песенки все те же. Он любит ее. Она любит его. И оба любят русскую природу...

А потом ему вопросы задавали. И не только о политике. Один, к примеру, спрашивает:

— Есть ли жизнь на Марсе?

Бронька отвечает:

— Да навалом.

— Значит, есть и люди вроде нас?

— Конечно.

— А тогда чего они нам голову морочат? Вдруг опустится тарелка, шороху наделает — и поминай как звали... Почему они контактов избегают?

Бронька говорит:

— Да потому, что шибко умные...

В конце он декламировал стихи, рассказывала Муся. Говорит, что собственные:

> Ах, есть у Маши настроение —
> Постигнуть машиностроение.
> Ах, есть у Саши настроение —
> Постигнуть Машино строение...*

Короче, говорила Муся, все прошло нормально. Хлопали, вопросы задавали... Скоро ли в России коммунизм построят?

Бронька отвечал:

— Не будем чересчур спешить. Давайте разберемся с тем, пардон, что есть...

Ну и так далее».

Маруся замолчала. Я спросил:

— Ты видела его? Встречалась с ним?

— Да, видела.

— И что?

— Да ничего. Так. Собственно, чего бы ты хотел?

Действительно, чего бы я хотел?..

Концерт закончился в двенадцать. Муся с Левой подошли к эстраде. Рафаэль повел себя на удивление корректно. Побежал за выпивкой.

Толпа не расходилась. Разудалов выходил на сцену, кланялся и, пятясь, удалялся.

Он устал. Лицо его тонуло в белой пене хризантем и гладиолусов.

А зрители все хлопали. И, мало этого, кричали «бис»!

Взволнованный певец утратил бдительность. Он спел: «Я пить желаю губ твоих нектар». Хоть эта песня и была запрещена цензурой, как антисоветская. С формулировкой — «пошлость».

Муся не дослушала, протиснулась вперед. Над головой она держала сложенную вчетверо записку: «Хочешь меня видеть — позвони. Мария». Дальше телефон и адрес.

Муся видела, как Разудалов подхватил записку на лету. Движение напоминало жест официанта, прячущего чаевые. Жаль только, лица Марусиного он не разглядел.

На этом выступление закончилось. Но Муся уже вышла с Левушкой под дождь. Увидела, что Рафаэль сидит в машине. Села рядом.

Рафа говорит:

— Я ждал тебя и чуть не плакал.

— Вот еще!

— Я думал, ты уедешь с этим русским.

— С кем же я оставлю попугая?!

---

* Шуточное стихотворение Г. Варшавского.

— Он так замечательно поет.
— Лоло?
— Да не Лоло, а этот русский тип. Он мог бы заменить тут Леннона и даже Пресли.
— Да, конечно. Мог бы. Если бы он умер вместо них...
Тут появился Разудалов с оркестрантами. Их поджидали два автомобиля. Синий лимузин и голубой микроавтобус.
Разудалов выглядел смущенным, озабоченным. Марусе показалось: он кого-то ищет. Что-то отвечает невпопад своим поклонникам. А может быть, ребятам из посольства. Вдруг она даже подумала: не Жора ли сидит там за рулем микроавтобуса? Разумно ли бросаться ей при всех к советскому артисту? Да еще с ребенком. Незачем компрометировать его. Захочет — позвонит.
Маруся обратилась к сыну:
— Посмотри на этого задумчивого дяденьку с цветами. Знаешь, кто это такой?
Ответа не последовало.
Мальчик спал, уткнувшись в поясницу Рафаэля Чикориллио Гонзалеса.
— Поехали домой, — сказала Муся...

Разудалов позвонил в час ночи из гостиницы. Сначала повторил раз двадцать: «Маша, Маша, Маша...» Лишь потом заговорил дрожащим, тихим голосом. Не тем, что пел с эстрады:
— Нас предупредили... Есть такое соглашение, что всех невозвращенцев будут отправлять домой...
Маруся удивилась:
— Разве ты невозвращенец?
— Боже упаси! — перепугался Разудалов. — Я же член ЦК... Ну как ты?
— Как? Да все нормально. Левушка здоров...
Тут наступила маленькая пауза. Уже через секунду Разудалов говорил:
— Ах, Лева!.. Помню... Мальчик, сын... Конечно, помню... Рыженький такой... Ну как он?
— Все нормально.
— В школу ходит?
— Да, конечно, ходит... В детский сад.
— Прекрасно. Ну а ты?
— Что я?
— Ты как?
— По-разному.
— Не вышла замуж?
— Нет.
— Родители здоровы?
— Это тебе лучше знать.
— Ах, да, конечно... Вроде бы здоровы... Почему бы нет?.. Особенно папаша... Я их года полтора не видел...
— Я примерно столько же... А ты как?
— Я? Да ничего. Пою... Лауреат всего на свете... Язву приобрел...
— Зачем она тебе понадобилась?
— Как это?
— Да я шучу... Ты не женился?
— Нет уж. Узы Гименея, извини, не для меня. Тем более что всех интересует лишь моя сберкнижка... Кстати, что там с алиментами?
— Да ладно... Спохватился... Ты лучше скажи, мы встретимся?
И снова наступила пауза.
Проснулся Рафа. Деликатно поспешил в уборную.
А Разудалов все молчал. Затем уныло произнес:
— Я, в общем-то, не против... Знаешь, что? Тут есть кафе в отеле «Рома». Называется «Мариас»...
— Это значит: «У Марии», «У Маруси».
— Потрясающее совпадение. Ты приезжай сюда к одиннадцати завтра. Я сяду у окна. А вы пройдете мимо...

«Господи, — подумала Маруся, — лауреат, заслуженный артист, к тому же член всего на свете... Сына повидать боится. Это ж надо!»
— Ладно, — согласилась Муся, — я приеду.
— Угол тридцать пятой и седьмой. В одиннадцать.
— Договорились. Слушай...
— Я синий бант надену, чтобы ты меня узнал.
— Договорились... Что?.. Да я тебя отлично помню.
— Пошутить нельзя?..
— Учти, я тоже изменился.
— То есть?
— Зубы вставил...

Полдень в центре города. Горланящая пестрая толпа. Водовороты у дверей кафе и магазинов. Резкие гудки. Назойливые крики торгашей и зазывал. Дым от жаровен. Запах карамели...
Угол тридцать пятой и седьмой. Брезентовый навес. Распахнутые окна кафетерия при маленькой гостинице. Бумажные салфетки чуть трепещут на ветру.
За столиком — мужчина лет пятидесяти. Тщательно отглаженные брюки. Портсигар с изображением Кремля. Обшитая стеклярусом рубашка, купленная на Диленси. Низкие седеющие бакенбарды.
Он заказывает кофе. Нерешительно отодвигает в сторону меню. Валюту надо экономить.
Папиросы у него советские.
К мужчине приближается девица в униформе.
— Извините, здесь нельзя курить траву. Полиция кругом.
— Не понимаю.
— Здесь нельзя курить траву. Вы понимаете — «траву»!
Мужчина не силен в английском. Тем не менее он понимает, что курить запрещено. При том, что окружающие курят.
И мужчина, не задумываясь, тушит папиросу.
Негр в щегольской одежде гангстера или чечеточника дружески ему подмигивает. Ты, мол, не робей. Марихуана — двигатель прогресса!
Разудалов улыбается и поднимает чашку. Налицо единство мирового пролетариата...

Стрелка приближается к одиннадцати. За стеклом универмага «Гимблс» — женщина в нарядном белом платье. Рядом мальчик с округлившейся щекой: внутри угадывается конфета. Он твердит:
— Ну, мама... Ну, пошли... Я пить хочу... Ну, мама... Ну, пошли...
Маруся видит Разудалова и думает без злобы:
«Горе ты мое! Зачем все это надо?! Ты же ископаемое. Да еще и бесполезное...»
Маруся с Левушкой решительно проходят вдоль окна. Их будущее — там, за поворотом, в равнодушной суете нью-йоркских улиц. Прошлое глядит им вслед, расплачиваясь с официанткой.
Прошлое застыло в нерешительности. Хочет их догнать. Шагает к двери. Топчется на месте.
Есть и некто третий в этой драме. За Марусей крадучись упорно следует невыспавшийся Рафаэль.
Ночной звонок смутил его и растревожил. Он боится, что проклятый русский украдет его любовь.
Он выследил Марусю. Ехал с ней в метро, закрывшись «Таймсом». Прятался за кузовом грузовика. Теперь он следует за ней упругим шагом мстителя, хозяина, ревнивца.
Черные очки хранят весь жар манхеттенского полдня. Шляпа — тверже раскаленной крыши. Терракотовые скулы неподвижны, как борта автомашин.
Вот Рафаэль идет под окнами кафе. Встречается глазами с Разудаловым и думает при этом:
«Революция покончит навсегда с врачами, адвокатами и знаменитостями...»
Разудалов, в свою очередь, беззвучно произносит:
«Ну и рожа!»
Добавляя про себя:

«Оскал капитализма!..»

Муся с Левушкой прошли вдоль овощного ряда. Чуть замедлили шаги у магазина «Стейшенери». Повернули к станции метро.

За Мусей с неотступностью кошмара двигался безумный Рафаэль. Очки и шляпа придавали ему вид кинозлодея. Локти утюгами раздвигали шумную толпу. В нем сочетались хладнокровие кинжала и горячность пистолета.

Левушка тем временем остановился у киоска с надписью «Мороженое».

— Нет, — сказала Муся, — хватит.

— Мама!

— Хватит, говорю! Ведь ты же утром ел мороженое.

Левушка сказал:

— Оно растаяло давно.

Маруся потянула сына за руку. Тот с недовольным видом упирался.

Вдруг над головами убедительно и строго прозвучало:

— Стоп! Мария, успокойся! Лео, вытри слезы! Я плачу!..

И Рафаэль (а это был, конечно, он) небрежным жестом вытащил стодолларовую бумажку.

Через две минуты он уже кричал:

— Такси! Такси!..

Ловите попугая!

Прошло около года. В Польше разгромили «Солидарность». В Южной Африке был съеден шведский дипломат Иен Торнхольм. На Филиппинах кто-то застрелил руководителя партийной оппозиции. Под Мелитополем разбился ТУ-129. Мужа Джеральдины Фарраро обвинили в жульничестве.

А у нас в районе жизнь текла спокойно.

Фима с Лорой ездили в Бразилию. Сказали — не понравилось. Хозяин фотоателье Евсей Рубинчик вместо новой техники купил эрдельтерьера. Лемкус, голосуя на собрании баптистов, вывихнул плечо. Натан Зарецкий гневно осудил в печати местный климат, телепередачи Данка Росса и администрацию сабвея. Зяма Пивоваров в магазине «Днепр» установил кофейный агрегат. Аркадий Лернер приобрел на гараж-сейле за три доллара железный вентилятор, оказавшийся утраченным шедевром модерниста Кирико. Ефим Г. Друкер переименовал свое издательство в «Невидимую книгу». Караваев написал статью в защиту террориста и грабителя Буэндиа, лишенного автомобильных прав. Баранов, Еселевский и Перцович обменяли ланчонет на рыболовный катер.

Муся не звонила с октября. Ходили слухи, что она работает в каком-то непотребном заведении. Мол, чуть ли не снимается в порнографическом кино.

Я раза два звонил, но безуспешно. Телефон за неуплату отключили. Странно, думал я. Как могут сочетаться порнография и бедность?!

Говорили, что у Муси, не считая Рафаэля, пять любовников. Один из них — полковник КГБ. Что тоже вызывало у меня известные сомнения. Без телефона, я считал, подобный образ жизни невозможен.

Говорили, что Маруся возвращается на родину. И более того — она давно в Москве. Ее уже допрашивают на Лубянке.

Характерно, что при этом наши женщины сердились. Говорили — да кому она нужна?! Так, словно оказаться на Лубянке было честью.

Говорили и про Рафаэля. Например, что он торгует героином и марихуаной. Что за ним который год охотится полиция. Что Рафаэль одновременно мелкий хулиган и крупный гангстер. И что кончит он в тюрьме. То есть опять же на Лубянке, правда, местного значения. Допустим, в Алькатрасе. Или как у них тут это называется?..

Мои дела в ту пору шли неплохо. Вышла «Зона» на английском языке. На радио «Свобода» увеличилось число моих еженедельных передач. Разбитый «Крайслер» я сменил на более приличную «Импалу». Стал задумываться о покупке дачи. И так далее.

Чужое неблагополучие меня, конечно, беспокоило. Однако в меньшей степени, чем раньше. Так оно с людьми и происходит.

Я все чаще повторял:

«Достойный человек в мои годы принадлежит не обществу, а Богу и семье...»

И тут звонит Маруся. (Счет за телефон, как видно, оплатила.)

— Катастрофа!

— Что случилось?

— Все пропало! Этого я не переживу.

— В чем дело? Рафа? Левушка? Скажи мне, что произошло?

Она заплакала, и я совсем перепугался.

— Муська, — говорю ей, — успокойся! Что такое? Все на свете поправимо...

А она рыдает и не может говорить. Хотя такие, как Маруся, плачут раз в сто лет. И то притворно...

Наконец сквозь плач донесся возглас безграничного отчаяния:

— Лоло!

— О, Боже! Что с ним?

Муся (четко и раздельно, преодолевая немоту свершившегося горя):

— У-ле-тел!..

Как выяснилось, мерзкий попугай сломал очередную клетку. Опрокинул вазу с гладиолусами. В спальне разбросал Марусину косметику. На кухне съел ванильное печенье.

Под конец наведался в сортир, где увидал раскрытое окно. И был таков.

Что им руководило? Ощущение вины? Любовь к свободе? Жажда приключений? Неизвестно...

Я стал утешать Марусю. Говорю:

— Послушай, он вернется. Есть захочет и придет. Вернее — прилетит.

Маруся снова плачет:

— Ни за что! Лоло ужасно гордый. Я его недавно стукнула газетой...

И затем:

— Он был единственным мужчиной в Форест Хиллсе... Нет у меня ближе человека...

Плачет и рыдает.

Видно, так уж получилось. Чаша Мусиного горя переполнилась, Лоло явился тут, что называется, последней каплей.

Все нормально. Я такие вещи знаю по себе. Бывает, жизнь не ладится: долги, короста многодневного похмелья, страх и ужас. Творческий застой. Очередная рукопись в издательстве лежит который год. Дурацкие рецензии в журналах. Зубы явно требуют ремонта. Дочке нездоровится. Жена грозит разводом. Лучший друг в тюрьме. Короче, все не так.

И вдруг заклинит, скажем, молнию на брюках. Или же, к примеру, раздражение на морде от бритья. И ты всерьез уверен — если бы не эта пакостная молния! Ах, если бы не эти отвратительные пятна! Жил бы я и радовался!.. Ладно...

Муся все кричит:

— Будь проклята Россия, эмиграция, Америка!..

— Откуда ты звонишь?

— Из дома.

— Заходи.

— Мне надо Левушку кормить. И Рафа должен появиться... Что я им скажу?! О, Господи, ну что я им скажу?!

И Муся снова зарыдала.

А дальнейший ход событий был таков. К шести явился Рафа. Он спросил:

— В чем дело?

Муся еле слышно выговорила:

— Лоло!

И Рафа сразу вышел, обронив единственное слово:

— Жди!

В шесть тридцать он был на Джамайке. Там, где брат его Рауль владел кар-сервисом «Зигзаг удачи». Молодой диспетчер сообщил, что брата нет. Что он поехал к своему дантисту. Будет завтра утром.

Рафаэль сказал:
— Как жаль.
Затем добавил:
— Встань-ка.
Молодой диспетчер с удивлением приподнял брови.
— Встань, — повысил голос Рафаэль.
И, оттолкнув диспетчера, склонился над мигающими лампочками пульта.
Микрофон в его руке напоминал фужер. Причем фужер с каким-то дьявольским, целительным напитком.
Медленно, отчетливо и внятно Рафа произнес:
— Внимание! Внимание! Внимание!
Затем он выждал паузу и начал:
— Братья!..
И через секунду:
— Слушайте меня! У микрофона Рафаэль Хосе Белинда Чикорильо Гонзалес!..
В голосе его теперь звучали межпланетные космические ноты:
— Все, кто на трассе! Все, кто на трассе! Все, кто на трассе, с пассажиром или без. С хорошей выручкой или пустым карманом. С печалью в сердце или радостной улыбкой на лице... К вам обращаюсь я, друзья мои!..
Все шире разносился его голос над холмами. Разрывными пулями неслись в эфир слова:
— Исчез зеленый попугай! Ловите попугая! Отзывается на клички: Стари Джопа, Пос, Мьюдилло и Засранэс...
Рафаэль упорно и настойчиво твердил:
— Исчез зеленый попугай! Ловите попугая!..

Что-то странное происходило в нашем замечательном районе. Вдоль по улицам неслись десятка три автомашин с зажженными мерцающими фарами. Сирены выли не переставая.
Рафаэль, склонившийся над пультом, черпал информацию.
— Алло! Я — тридцать восемь, два, одиннадцать. Сворачиваю на Континентал. Вижу под углом три четверти — зеленый неопознанный объект... Простите, босс, но это светофор!..
— Хай! Я — Лу Рамирес. Следую по Шестьдесят четвертой к «Александерсу». В квадрате «ноль-один» — зеленая стремительная птица. Вышел на преследование... Догоняю... О, Каррамба! Это «Боинг Ал Италиа»...
— Эй, босс! Я — Фреди Аламо, двенадцать, сорок шесть. Иду по Елоустоун к Джуэл авеню. Преследую двух чудных филиппинок. Жду вас, босс!.. Что?.. Попугай! Тогда меняю курс на запад...
Час спустя все магистрали Форест Хиллса были полностью охвачены дозорами. Отчеты поступали беспрерывно:
— Босс! Оно зеленое и лает! Думаю, что это крашеная такса!..
— Босс! Я задержал его и посадил в багажник. Крупный говорящий попугай. Конкретно, говорит, что он — Моргулис...
— Босс! Как насчет павлина?.. Что? Откуда я звоню? Из зоо-секшн в Медоу парке...
Слухи у нас распространяются быстро. К девяти часам на трассу выехали Баранов, Еселевский и Перцович. Следом поспешил Евсей Рубинчик в «Олдсмобиле». Пивоваров на своем рефрижераторе-траке. Аркаша Лернер на зеленой «Волве». Лемкус на разбитом мотоцикле «Харлей Дэвидсон», который выдала ему баптистская община.
Караваев и Зарецкий выставили пешие дозоры. Публицист Зарецкий нес огромный транспарант:
«Ловите попугая и Ефима Друкера!»
А на вопрос: при чем здесь Друкер? — разъяснял:
— Он должен был издать мою работу «Секс при тоталитаризме». Вот уже три года я пытаюсь изловить его...
Занятно, что Ефим Г. Друкер тоже патрулировал одну из магистралей. Но — вдали от Караваева с Зарецким...
Рев стоял над Форест Хиллсом:

— Ловите попугая! Ловите попугая! Ловите попугая!..

Тем временем Маруся накормила Левушку. Включила телевизор. Разодетый и похожий на хорошенькую барышню Майкл Джексон тонким голосом выкрикивал:

Я лечу сквозь тучи.
Я мчусь сквозь годы...
Что может быть лучше
Дурной погоды?! *

С улицы долетали крики латиноамериканских мальчишек. Левушка стоял перед зеркалом в Марусиных пляжных очках. На кухне потрескивал тостер. Из уборной доносился запах водорослей.
Муся вынула из холодильника бутылку рома и подумала: «Напьюсь и буду плакать до утра. Потом засну в чулках...»
— Напьюсь, — сказала вслух Маруся, — жизнь кончена...
Вдруг чей-то голос повелительно и строго молвил:
— Жить!
Маруся огляделась — никого.
Все тот же голос еще строже и решительней добавил:
— Факт!
Маруся поднялась из-за стола.
И снова:
— Жить!
А через две секунды:
— Факт!
И наконец скороговоркой:
— Шит, шит, шит, фак, фак, фак, фак... Шит, шит, шит, шит, фак, фак, фак...
— Лоло! — воскликнула Маруся, бросившись к окну.
Откинула портьеру.
Он стоял на подоконнике. Зеленый, с рыжим хохолком, оранжевыми бакенбардами и черным ястребиным клювом. Боевой семитский профиль выражал раскаянье и нежность. Хвост был наполовину выдран.
Прозвенел звонок. Маруся подбежала к телефону. Рафа подозрительно спросил:
— Ты не одна?
— Я не одна, — воскликнула Маруся, — приезжай. Но только приезжай скорей!..

Хэппи энд

К дому Муси Татарович подъезжали вереницы легковых машин. Приятно щелкали замки вместительных багажников. Оттуда извлекались свертки, ящики, корзины в разноцветной упаковке, перевязанные лентами.
Баранов, Еселевский и Перцович, не снимая ярких галстуков, орудовали дружно молотками. Собирали на широком тротуаре привезенную частями белую двуспальную кровать.
Евсей Рубинчик нес, шатаясь, клетку из сварного чугуна. Она предназначалась для Лоло, хотя в ней мог бы уместиться Рафаэль.
Аркаша Лернер шел к Марусе налегке. Он ей принес билет нью-йоркской лотереи, купленный за доллар. А разыгрывалось в этот день четыре миллиона с небольшим.
Владелец магазина «Днепр» фантазией не обладал. Он снова прикатил Марусе целую телегу всяческих деликатесов. Но сама телега в этот раз была из мельхиора.
Друкер ограничился ста восемнадцатью томами «Мировой библиотеки приключений и фантастики».
Григорий Лемкус вынул из багажника квадратный полированный футляр. В нем помещалась кипарисовая лютня с инкрустациями. Лемкус пояснил, вручая Мусе инструмент:
— Облагораживает душу!
Чек он сохранил, загадочно при этом высказавшись:
— Таксдидактибл...
Всех удивил правозащитник Караваев. Он явился неопохмелившийся

* Перевод В. Голованова

и мрачный. Захотел устроить в честь Маруси Татарович небольшое личное самосожжение. Буквально возле Мусиного лифта.

Караваева успели потушить французским бренди «Люамель». Зеленый синтетический пиджак его, как выяснилось, был огнеупорным.

Караваев понемногу успокоился и вежливо спросил:

— Нельзя ли потушить меня внутри?

Ему был выдан дополнительный стакан того же «Люамеля»...

Всех растрогал публицист Натан Зарецкий. Подарил Марусе ценный, уникальный сувенир. А именно — конспиративную записку диссидента Шафаревича, написанную собственной рукой. Она гласила:

«Вряд ли».

И размашистая подпись:

«Шафаревич. Двадцать первое апреля шестьдесят седьмого года...»

Около семи к Марусиному дому подкатил роскошный черный лимузин. Оттуда с шумом вылезли четырнадцать испанцев по фамилии Гонзалес. Это были: Теофилио Гонзалес, Хорхе Гонзалес, Джессика Гонзалес, Крис Гонзалес, Пи Эйч Ар Гонзалес, Лосариллио Гонзалес, Марио Гонзалес, Филуменио Гонзалес, Ник Гонзалес и Рауль Гонзалес. И так далее. Был даже среди них Арон Гонзалес. Этого не избежать.

Как выяснилось, лимузин был их подарком жениху. Невесте же предназначалась серенада...

Стол был накрыт. Бутылки изготовились к атаке. Орхидеи, гладиолусы, тюльпаны завороженно роняли лепестки в фаянсовое блюдо с неразрезанной индейкой.

Рафаэль был в смокинге. Невеста в белом платье с кружевами.

И все гости улыбались. И Лоло не сквернословил. И у Левушки привычно ощущалась неизменная конфета за щекой.

И музыка наигрывала. И все кого-то ждали. И я, честно говоря, догадываюсь в общем-то кого. Живого автора.

И тут явились мы с женой и дочкой. И Маруся вдруг заплакала. И долго вытирала слезы кружевами...

Тут я умолкаю. Потому что о хорошем говорить не в состоянии. Потому что нам бы только обнаруживать везде смешное, унизительное, глупое и жалкое. Злословить и ругаться. Это грех.

Короче — умолкаю...

Письмо живого автора Марии Татарович.

Вместо эпилога

Муся!

Ты довольно часто спрашивала — уж не импотент ли я? Увы, пока что — нет.

А если — да, то этот факт, как минимум, заслуживает комментариев.

Позволь тебе сказать, что импотенцию мою зовут — Елена, Ника, мама. В общем, ясно.

Да, я связан. Но куда серьезней то, что я люблю мои вериги, путы, цепи, хомуты, оглобли или шпоры. Всей душой...

Ты — персонаж, я — автор. Ты — моя причуда. Все, что слышишь, я пронзношу. Все, что случилось, мною пережито.

Я — мстительный, приниженный, бездарный, злой, какой угодно — автор.

Те, кого я знал, живут во мне. Они — моя неврастения, злость, апломб, беспечность. И т. д.

И самая кровавая война — бой призраков.

Я — автор, вы — мои герои. И живых, я не любил бы вас так сильно. Веришь ли, я иногда почти кричу:

«О, Господи! Какая честь! Какая незаслуженная милость: я знаю русский алфавит!»

Короче, мы в расчете. Дай вам Бог удачи! И так далее.

А если Бога нет, придется, Муся, действовать самой.

На этом ставим точку. Точка.

●

Арк. ЭЛЬЯШЕВИЧ

Четыре октавы бытия

Среди документальных жанров прозы есть жанр ни на что не похожий и ни к одному из других жанров непосредственно не примыкающий. Он вбирает в себя воспоминания, дневники, письма, очерк, публицистику, исповедь. И все это перерабатывает и объединяет.

Что же это за жанр? Четкого определения у него до сих пор нет. Одни склонны видеть в нем мемуары особого рода. Другие применяют к нему название «записки». Третьи — боязливо употребляют иноземное понятие эссе. А Наталия Иванова в своей книге «Точка зрения» окрестила его «авторской прозой», прозой «прямого непосредственного авторского высказывания», в которой автор выступает одновременно и рассказчиком и героем.

И все же никто до конца не знает, что это такое. И как к произведениям подобного рода следует относиться. Как их характеризовать? И какую роль они играют в современном литературном процессе?

Попробуем на всякий случай обратиться к «Краткой литературной энциклопедии». Она указывает на то, что жанр эссе ведет свое начало от знаменитого сочинения французского писателя-философа Мишеля Монтеня (1533—1592) «Опыты» и что это не что другое, как «сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные», что эссеистический стиль отличается образностью, афористичностью, подчеркнутой субъективностью, установкой на разговорную речь и все это нередко в произведениях научного или научно-популярного характера. Там же сообщается, что для русской и советской литератур жанр эссе, оказывается, «нехарактерен».

Фундаментальные признаки жанра растворяются здесь в массе нормативных характеристик. Частный случай возведен в непреложный принцип, возможность — в необходимость. Обходится главное: многосоставность эссеистических произведений и одновременно их многоликость и разноплановость, крайне затрудняющие определение этого жанра.

Да, может быть, в том ограниченном смысле, который вкладывает КЛЭ в понятие эссе, оно и впрямь не очень свойственно русской и советской литературе. Но стоит выйти за его узкие рамки, и сразу убеждаешься, что на самом деле это совсем не так.

Еще со времен «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева и «Путешествия в Арзрум» Пушкина стал складываться свой собственный русский вариант эссеистического мышления.

У Радищева в синтетическом способе познания бытия среди других жанров преобладала публицистика, у Пушкина — путевой очерк. Но уже в «Былом и думах» грандиозный синтез действительности — результат ее освоения всеми наличными средствами и формами документалистики.

Разумеется, «Былое и думы» не эссе. Это эссеистический роман. И еще точнее, эпопея, энциклопедия эссеизма. Сам писатель называл свой труд «не столько записками, сколько исповедью». Важное признание. Но и оно не покрывает всей многоярусной структуры «Былого и дум». Воспоминания здесь постоянно взаимодействуют с пламенной публицистикой, историческая хроника с очерком, исповедь с трезвыми раздумьями социолога. А в стиле книги сплелись строгая аналитичность, ирония, лирика и сатира.

Достаточно интересна и пока еще не написанная история эссеистики в советской прозе. В ней будут, очевидно, представлены имена Л. Рейснер, М. Кольцова, М. Пришвина, В. Некрасова, Ю. Нагибина, В. Солоухина, А. Адамовича и такие произведения, как «Сентиментальное путешествие» и «Гамбургский счет» В. Шкловского, «Ни дня без строчки» Ю. Олеши, «Золотая роза» К. Паустовского, «Перечитывая Чехова» и «Уроки Стендаля» И. Эренбурга, «Трава забвения» и «Святой колодец» В. Катаева, путевые очерки Д. Гранина и некоторые его «литературоведческие» работы, «По-

рог любви» П. Проскурина, «Люди или нелюди» В. Тендрякова...

Много мыслей возникает при взгляде на эти списки.

Число писателей — «чистых» эссеистов в нашей литературе и впрямь невелико. Большинство из них параллельно, а иногда и значительно чаще творили и творят в других жанрах. Однако их обращение к эссеистике нельзя, разумеется, считать случайным.

Да ведь и сами жанры в литературе не замкнуты на ключ. Они легко размывают свои границы, а то и захватывают чужую территорию.

Единой для всех модели эссе никогда не существовало и не существует. Она обновляется от произведения к произведению и от десятилетия к десятилетию, сбрасывая с себя, как старую кожу, вчерашние стилевые ориентиры и уходя от былых тематических увлечений.

Человеческая душа, общество, мир, время и пространство бытия — все охватывается в эссе. Все становится одновременно и способом самопознания автора, и средством глубокого вторжения в действительность.

Бывают времена, когда открытый, «начистоту», разговор художника с читателем становится насущно необходим. Может быть, поэтому последние годы отмечены яркой вспышкой заложенной в эссе духовной энергии. Интерес к этому жанру заметно возрос. В эпохи крутых общечеловеческих переломов «авторская проза», как никакая другая, аккумулирует в себе острейшее социальное содержание.

К сожалению, сам этот термин, казалось бы, куда более четкий и удобный, чем эссе, настолько широк, что его можно при желании прикладывать к книгам друг на друга совершенно не похожим.

И не случайно, к примеру, цикл рассказов Ю. Трифонова «Опрокинутый дом», «Разбилось лишь сердце мое...» Л. Гинзбурга, «За доброй надеждой» В. Конецкого, «Дороги и судьбы» Н. Ильиной, рассказы В. Распутина «Что передать вороне?» и «Наташа», «Камешки на ладони» В. Солоухина и еще несколько весьма разнородных произведений попадают у Н. Ивановой в один и тот же не знающий внутренних разграничений типологический ряд.

Между тем «Дороги и судьбы» — это все-таки мемуары. «Камешки на ладони» — нечто совсем другое: записки, заметки, страницы дневников — все что угодно, но только не воспоминания. А «Разбилось лишь сердце мое...» — «роман-эссе».

Сложнее с рассказами Ю. Трифонова и В. Распутина. На первый взгляд, перед нами чистейшей воды автобиографическая проза. И все же что-то не дает с таким определением смириться.

Странное дело, но, читая эти рассказы, меньше всего думаешь о самих писателях. «Я» героя-рассказчика не проецируется в нашем сознании на «я» автора. Они не вполне идентичны друг другу. И хотя многие подробности биографий Трифонова и Распутина совпадают с подробностями биографий их героев, герои эти отделены от авторов, как бы объективированы и воссозданы по законам художественной, а не документальной прозы, для которой важно, не «кто этот герой», а «что он прожил и что он сделал» (В. Бахтин), в то время как проза художественная, а точнее в данном случае сказать, «аутентичная», формирует образ «переживающего» человека, рисует его внутреннее состояние и стремится к воссозданию целостного и законченного характера (разумеется, в зависимости от своих жанровых масштабов).

Этой прозе свойственны ассоциативность, глубокий подтекст, образы ее многозначны и недосказаны, а ситуации наполнены метафорическим и символическим смыслом.

«Первое лицо» в «аутентичной прозе» принадлежит человеку, как бы независимому от своего прототипа. Образ его принципиально двупланов (на поверхности он имеет конкретный адрес, а в глубине это образ человека «вообще», хотя и наделенного яркой индивидуальностью и действующего в особой исторической обстановке) и тем самым становится как бы формой построения характера, неравного автору, живущего обособленно от него своей самостоятельной жизнью.

Именно так или еще более независимо живут, к примеру, во многом автобиографические, но зашифрованные и объективированные герои Э. Ремарка (Пауль Боймер в «На западном фронте без перемен») и В. Некрасова (лейтенант Керженцев — «В окопах Сталинграда»), бунинский Арсеньев, Лютов в «Конармии» И. Бабеля, Павка Корчагин, Ник в ранних рассказах Э. Хемингуэя и мальчик Чик — из повести Фазиля Искандера, персонажи рассказов В. Борхерта, В. Шаламова и т. д.

«Аутентичны» по своей природе не только рассказы Ю. Трифонова, но и его «московские повести», романы «Время и место» и «Исчезновение», «аутентично» многое в творчестве В. Астафьева, Ю. Бондарева, А. Битова, Г. Матевосяна.

За совмещением в эссе далеких друг от друга жанров всегда стоят несхожая художественная цель и в равной мере неповторимый образ рассказчика.

Так, к примеру, В. Конецкий в «Ледовых брызгах» (заключительная книга из цикла «За доброй надеждой») объединяет воедино разные жанры, чтобы рассказать о жизни, какой она открывается человеку, сумевшему совместить не столь просто совместимые профессии моряка и писателя.

Он, как обычно, подробно рассказывает о своих плаваниях по морям и океанам. А между делом еще о том, о сем: вспоминает детство, мать, родных, знакомых, войну, блокаду... Вслед за воспоминаниями идут всякого рода занятные

выписки из занятных книг, философские сентенции, глубокомысленные выводы и афоризмы.

Сентенциями и афоризмами Конецкий-писатель комментирует и объясняет Конецкого-капитана, чтобы читатели не ошиблись в том, кто он такой, этот капитан, и что собой представляет.

Раскованности в обращении к читателям Конецкому не занимать. Не всегда поймешь, где он ерничает, а где становится серьезным. Редкое словцо он вымолвит без своего обычного подхихикивания и усмешки. Но на сей раз эта раскованность чуть-чуть иная: раскованность не столько фразы и стиля, а и мысли, и, пожалуй, даже не мысли, а самого отношения к жизни.

Сколько я помню Конецкого, он всегда пишет грустную прозу. Не совсем, конечно, грустную, а еще при этом и чертовски смешную. И если бы я сочинял сейчас статью о его творчестве, я так бы ее и озаглавил «Грустно-смешная проза В. Конецкого». Смех сквозь слезы, одним словом.

Все привыкли к тому, что автобиографический герой Конецкого постоянно острит, иронизирует над всем и всеми, в том числе и над самим собой, и разгуливает по книжным страницам этаким обветренным морским волком. Но не все знают, что он при этом чувствует и что стоит за его бравадой и независимым видом бывалого человека.

Не знаю точно и я. Хотя догадываюсь: одиночество и ощущение неприкаянности среди друзей и женщин. Это раз.

Смертельная боязнь прослыть сентиментальным. Это два.

Хемингуэй — это три.

«Хемингуэй повлиял на меня не стилистически — он повлиял на меня нравственно. Его честность, его правдивость, доходящая порой до грубости (так и нужно!), в изображении войны, любви, питья, еды, смерти — вот что было мне бесконечно дорого в творчестве Хемингуэя».

Правда, это слова Юрия Казакова. Но под ними, несомненно, мог бы подписаться и Конецкий. И недаром они приведены с сочувственным комментарием в «Ледовых брызгах».

И — неприятие. Это уже четыре.

«Неприятие» в данном случае всего важнее. И поэтому надо растолковать, что это такое.

Писатель органически не приемлет малейшую пошлость, расхожие истины, ложь в ее многообразном обличии, газетные и беллетристические штампы, велеречивость лозунгов и рубашки, разорванные от усердия на ораторских грудях.

Уж такой он есть. Индивидуальность у него такая. Но не только у него. В этом-то вся суть. Маска, которую, однажды примерив, он не снимает много лет, не принадлежит ему, а находится, будучи стократ размноженной, в общественном пользовании.

Трудно сказать когда, может, в 60-е годы, а может, чуть раньше, часть нашей молодой интеллигенции, «звездные мальчики» — Конецкий, конечно же, из их поколения — потянулись к уличному жаргону, к нарочитой грубости и этакому показному цинизму.

Почему? Да все из того же неприятия психологии и фразеологии времени, того занудного, фальшивого языка, на котором разговаривали «отцы» и который отражал их занудные и фальшивые мысли. И из неприятия их литературы. Это теперь мы куда как лихо говорим о «периоде застоя», а тогда поди-ка попробуй скажи. Или попробуй объяви себя «неформалом». А ведь они и были у нас, эти «звездные мальчики», самыми первыми в литературе «неформалами».

Погружаясь в чтение Конецкого, видишь: чем сильнее хочется ему быть нежным, печальным и говорить о высоких человеческих чувствах, тем прочней он выставляет на их пути заслон, как бы отстраняет от себя. За маской циника и весельчака скрывается неуверенный в себе, мятущийся и остро ощущающий неустройство мира человек. И прячет он под своей моряцкой прозодеждой необычайно ранимое и чувствительное сердце.

Конечно, все это уже было не раз в литературе. А чего, спрашивается, не было? Дело не в маске — маски повторяются, дело в том, что стоит за нею.

Сегодня на дворе другие времена и другая погода по сравнению с той, какая стояла в ту пору, когда Конецкий совершал свои первые шаги в литературе. Но пошлость не исчезает из жизни. Не исчезают из нее и мещанство, и фальшь, и приспособленчество, и словесные стереотипы. Да и люди по-прежнему редко когда обретают искомое душевное равновесие. Вот почему герою Конецкого, может быть, и нет нужды перестраиваться и отказываться от ставшего привычным грима.

Другая черта прозы В. Конецкого, хотя, возможно, и не другая, а все та же,— ее избыточный эксцентризм. Ей, так же как и прозе одного из учителей писателя — Сергея Колбасьева, — «намертво противопоказаны канонические корни». И он тоже «любит дразнить гусей». Шествует по улице... стадо мирных, глупых, жирных от своего спокойствия, в сознании своей значительности гусей. И всегда находится кто-либо, одержимый веселой ненавистью к такому самодовольному гусиному стаду, кто начинает его дразнить. Этим и занимается наш автор. Вглядываясь в окружающее, он неизменно подмечает парадоксальность жизни, ее странные, ни с чем несообразные очертания. Но парадоксальна не только жизнь, парадоксально и ее восприятие писателем. Иначе бы он просто ничего не понял и не уловил в мире, закрытом для тех, кто подходит к нему с обычными мерками.

И тут В. Конецкий, кстати сказать, тоже не одинок. Еще в семидесятые годы в Ленинграде сложилась целая «школа» писателей, «дразнящих гусей»,— парадоксалистов и бытовых фантастов, рисую-

щих мир острых углов, смещенных контуров и деформированных пропорций, где обитают чудаки, монстры и загадочные личности, мир, который по крупице создавался в XX веке А. Грином, М. Булгаковым, Г. Гессе, К. Воннегутом. В «школу» эту входят Вадим Шефнер, Валерий Попов, Радий Погодин, Александр Житинский, Глеб Горбовский, а возможно, и братья Стругацкие.

О чем бы ни писал Конецкий, он всегда тщательно смешивает изобразительные краски. Излюбленное его занятие — игра контрастами. В смешном он тут же отыскивает страшное, в страшном — смешное, в прекрасном — безобразное.

Лирический образ в книгах писателя неизменно снижается, обрастает чуждыми ему и разлагающими подробностями, а житейская неустроенность и неудовлетворенность автобиографического героя прорастает диковинными цветами соленого «морского» юмора.

Проза В. Конецкого — проза, рассказывающая о нелегкой судьбе художника, взявшего на себя двойную ношу участника жизни и ее летописца и страдающего от этого постоянного мучительного раздвоения. Он не мыслит себя без письменного стола. Но что бы он за ним делал, если бы не был знаком с ледовыми брызгами и штормовыми морями.

После «Ледовых брызг» «Зрячий посох» В. Астафьева читается как произведение совсем другого жанра.

Эксцентрика, парадоксальность, всепроникающая ирония Конецкого Астафьеву совершенно чужды. Он предпочитает естественность и сердечность русской народной речи. Ему нужны «обыкновенные простые слова», ведь и пишет он обычно об «обыкновенных и необыкновенно простых» людях. И героев своих выбирает из их числа.

На сей раз таким героем стал Александр Николаевич Макаров — известный критик, учитель и друг Астафьева. Рассказ об их дружбе и составляет сердцевину «повести».

И «Ледовые брызги», и «Зрячий посох» — книги о превратностях жизни. Однако у В. Астафьева это превратности не только судьбы писателя, но и целой исторической эпохи.

Многое обусловило дружбу Астафьева и Макарова, а всего сильнее — присущее им обоим чувство острой ответственности за судьбы страны и тягостное ощущение разъедающей литературную среду игры мелких, своекорыстных страстей. Оба они страдали от всесилия беспощадной цензуры, от патологической трусости издателей и редакторов, от разгула ортодоксальной критики, готовой обвинить всех и каждого в «безыдейности и нарушении принципов марксизма», от попыток высших чинов «выстраивать литературу по ранжиру и издавать согласно строю». При этом у каждого из них были еще, конечно, свои особые трудности, свои собственные обиды и боли.

Боль Астафьева усугублялась его нелегким вхождением в литературу. Он жил в глубокой провинции и, как множество других провинциалов, чувствовал себя ущербным, когда сталкивался с заносчивой и чопорной московской литературной элитой.

Тем больше он ценил Макарова — одного из немногих москвичей, кто сразу разгадал большой талант Астафьева и бескорыстно помогал ему в наиболее трудную пору жизни.

Подобно Горькому и Воронскому Макаров в трудное время занимался «собирательством» нашей литературы. Он никого не поносил, никому не читал нотаций, не претендовал на роль литературного вождя. И судьба, казалось, отплатила ему сторицей.

О многих подробностях жизни Макарова мы узнаем от Астафьева. Он работал в обстановке всеобщего запретительства, строжайшего контроля и бесконечных придирок начальства, обязан был улавливать каждое дуновение идеологического ветерка и неусыпно печься о соответствии литературы последним резолюциям и докладам. И при этом все же наперекор стихии оставался самим собой, честным и неподкупным человеком.

Нет, он не был ни святым, ни ангелом, и Астафьев не берется изымать его из времени, хотя и отчетливо видит, как часто он поднимался над ним и как страдал от невозможности громогласно сказать о кровном и наболевшем.

В одном только Астафьев не прав, утверждая, что место, занятое Макаровым, осталось после его смерти пустым. К счастью, это далеко не так. И сегодня есть еще у нас «собиратели» настоящей литературы, ее честные, высокоталантливые и принципиальные защитники и пропагандисты. Назову среди них хотя бы Анатолия Бочарова, Игоря Золотусского, Льва Аннинского, Александра Михайлова, Игоря Дедкова, чьи книги во многом способствовали потеплению литературного климата.

Есть в «Зрячем посохе» мысли о состоянии нашей литературы и о препонах, стоящих на ее пути, и комментарий писателя к своему собственному творчеству, и воспоминания о литературных единомышленниках и собратьях. А вот чего нет, так какой-либо напускной важности и спеси. О своих человеческих недостатках Астафьев говорит в полный голос, ничего не тая.

Полудикое сибирское село, где он вырос, не привило ему сдержанность, ведь с раннего детства он вынужден был отстаивать себя отнюдь не всегда парламентским способом. Вот откуда его «норовистый» характер, вспыльчивость и горячность, создавшие ему немало врагов. Культуру, эрудицию, то, что другим прививается с детства, он брал волевым напором, с боем, в разные годы, и как много ни преуспел, а все остались какие-то пробелы.

Придирчив, не всегда справедлив, а

иногда просто яростен в своем неприятии тех, кого он считает воплощением земного зла, Астафьев. А сколько между тем в его книгах, в том числе и в «Зрячем посохе», пронзительной лирики, элегических красок, светлой пушкинской печали!

Но, пожалуй, всего любопытнее раздумья Астафьева о России, русском народе и всей суровой действительности нашего века.

Астафьева неизменно раздражали те, кто бьет себя в грудь и исходит криком: вот как они, смотрите, любят Россию! Может быть, поэтому патриотическое звучание его книг ненавязчиво и подчеркнуто негромко.

Одно дело — любить Родину вообще, так сказать, абстрактно, совсем другое — в ее конкретном историческом состоянии. «Я очень люблю свою Родину...— скажет писатель,— но не в нынешнем ее облике — в гражданской глухоте и полураспаде, наверное, я уже и не люблю, больше жалею, как старую, неизлечимо больную, немощную мать...»

Полемический замысел этих ответственных строк несомненен. Ведь и сегодня выходят у нас книги, полные многословных водянистых рассуждений об особой миссии «славянского мира» и русского народа.

Его раздумьям о судьбах Родины чужда идея избранничества русской нации, ее особого предназначения вкупе с отрицанием чужеземных форм жизни и политического устройства западных государств. До чужеземных ли нам нынче форм? В своих бы как-нибудь разобраться.

Не знаю, часто или нет бывает Астафьев за рубежом, но что-то не помню, чтобы его автобиографические герои, разъежая по этим самым заграницам, первым делом бежали бы в стриптизы и порнокино, а вслед за тем, усладив свое естество и удовлетворив жгучее любопытство, тут же начинали крыть последними словами подобные зрелища и осуждали бы их как проявление самого что ни на есть поганого буржуазного духа.

Десятки тысяч мешочников из провинциальных городов, осаждающих столицы в поисках харчей, пустые полки магазинов, скудное меню детских садов и больниц — вот о чем, среди прочего, пишет Астафьев, вглядываясь в хмурые лики современной России.

Обнаружились у нас, утверждает писатель, такие, казалось бы, «отмершие качества», как «зависть, нахрапистость, жадность». И что еще хуже — невиданная прежде жестокость, вшестером на одного, да еще на старика-инвалида — и ложь, и лицемерие, и воровство, и болезненная любовь к золоту,— чем больше его у торговых работников, тем меньше продуктов на прилавках. И невесть откуда взявшаяся спесь современного российского добытчика, активного строителя своего «мелочно-буржуазного коммунизма».

Рост преступности, отчуждение человека от человека, торжество всемогущего блата — без спасительного звонка не вылечат и даже не похоронят, дремучее несусветное хамство, забвение чести, нежности, благородства — все это, по Астафьеву, пополняет картину нравственного одичания народа.

Много причин у наших сегодняшних недугов. Астафьев не дает никаких скороспелых рецептов для их устранения. Пусть этим занимаются историки и социологи. Его дело — ставить вопросы. А когда он все же обращается к источникам современного варварства, то не всегда, на мой взгляд, бывает прав.

Кабала прогресса... О ней Астафьев пишет с особой энергией. В прошлом, считает он, трудовому человеку не хватало времени для бродяжничества и безделья. Сегодняшний же человек по воле прогресса освободил себя от полновесного труда, отбарабанил свою рабочую смену, и хоть трава затем не расти. А свобода, которой он так гордится, куда девать — не знает и пускается поэтому в разгул, в накопительство и пьянство.

А между тем «никогда еще, никогда не был человек так несвободен и обезличен как... в наши дни, на исходе века... среди... машин, облегчающих быт... парков, где стадом гуляют, стадионов, где толпой, кучей одни бегают, другие «болеют»... Многолюдные лайнеры, колоссальные магазины, дымные и шумные рестораны, санатории, дома отдыха — все-все, не говоря уж о казармах, больницах, тюрьмах, лагерях,— все-все словно бы специально создано для того, чтобы сгрудить, случить людей, сделать их массой, масса же всегда безлика, всегда она — стадо...»

И «никогда,— продолжает свою мысль писатель,— еще не наваливалась на человека и так уверенно не завладевала им массовая культура... кино, телевизор, приемник, танцплощадка, спортзал, лекторское заведение — все-все создается для того, чтобы человек вкушал, что ему дают, учился тому, что вдалбливают в детских учреждениях, в школах, в вузах, в училищах: раб времени, раб машин, раб обстоятельств... человек наших дней уже не говорит, он визжит о своей свободе».

Разумеется, Астафьев далеко не одинок в своем «неприятии» современной цивилизации. С позиций подобного рода выступали и Хайдеггер, и Адорно, и Печчеи, и французские «новые философы». А в нашей стране — Белов и Распутин.

При всех различиях между собой они сходятся в одном: научно-технический прогресс оторвал человека от природы. Он привел к разрушению личности и на место *человека-творца* выдвинул *человека-потребителя*, обуреваемого первобытными инстинктами и падающего тем ниже, чем выше становятся достижения «индустриального общества».

Но истина всегда конкретна. Надо ли говорить, что ни машины сами по себе, ни «многолюдные лайнеры», ни «колос-

сальные магазины» (было бы их у нас побольше!) и тем более стадионы, санатории и больницы не повинны в разгуле хулиганства, бандитизма, нахрапе частнособственников и в эпидемиях жестокости и пьянства.

Ведь все это создавалось людьми для своего подлинного, а не мнимого блага, с самой демократической и гуманной целью. И потом, какова же альтернатива? Изба? Натуральное хозяйство: соха, лапти, телега, знахари, лучина?

В этом ли спасение?

Не в существовании книг, телевизоров и лекториев кроется опасность. Вся суть в том, что они несут своей аудитории, к чему ее зовут, инструментом каких идей и стоящих за ними политических сил выступают. Прежде чем пугать злодеяниями прогресса, надо разобраться, кому он принадлежит и кого обслуживает, кто ими руководит и на что направляет.

Хронический дефицит, вхолостую работающие машины, низкий уровень жизни, грубые нарушения демократии и законности, власть бюрократии и как следствие этого — утрата людьми высоких гражданских идеалов — вот где истинная, а не мнимая причина нравственного упадка общества, вот его исторические и социальные корни. И, видимо, не случайно, как только Астафьев переходит к особенно дорогой для него и важной теме современной русской деревни, так его наблюдения и выводы обретают иной, куда более справедливый характер.

Ответственность за сегодняшний упадок русского крестьянства Астафьев возлагает не просто на подчинение современного человека губительным искусам цивилизации, но в первую очередь на социальное браконьерство, на ложную экономическую политику, на ошибки и преступления власти, видевшей долгие годы в деревне лишь дешевый источник сельскохозяйственного сырья и рабочей силы. И это, разумеется, гораздо ближе к истине.

Публицист и художник слиты в авторе «Зрячего посоха» воедино. От раздумий об отечественной литературе он обычно идет к жизни, от жизни снова к литературе. Ее состоянию в годы застоя Астафьев дает резко отрицательную, гневную оценку. Эта литература «проповедует преданность идее (богу новому), власти, обществу и попутно... как неизбежное, прославляет терпение, послушание, воздержание и призыв к вечному беспрекословному труду, во имя царства лучшего (ранее — Божьего)... Мы помогаем и властям, и церкви околпачивать народ — и оттого двурушничество искусства, его зависимость достигли небывалых размеров, неслыханной развязности и наглого самодовольства».

Горький вывод! И разве не на собственной шкуре испытал Астафьев и редакторский произвол, и страх перед цензурой, и сознание бесплодности своего труда, и тем самым — своей жизни. И лишь твердое убеждение, что творческую мысль не остановить, не задушить, поддерживало его, когда казалось, что ничто другое уже поддержать не может.

Мысль писателя в «Зрячем посохе» то и дело разбегается по разным каналам, перебивается, обрывается напрочь и снова возвращается сама к себе, чтобы опять оборваться. И, лишь выходя на финишную прямую, обретает единое широкое и глубокое русло, объединяя в себе все содержание книги, все ее многочисленные темы, образы и жанровые элементы.

Мысль эта — о Памяти.

«Ах, как хотелось бы некоторым деятелям,— негодует Астафьев,— чтоб и в прошлом у нас все было красно и ладно...» И вот ведь оказия: ему тоже хотелось бы, да не найти писателю такого «топора, чтоб память враз отрубить», и запомнил он хорошо строки Твардовского: «Кто прячет прошлое ревниво, тот и с грядущим не в ладу!»

Зрячий посох — это и есть не что иное, как память. Так ее называли древние.

Кто его знает, может быть, и правда, высшее предназначение документальной прозы в том, чтобы сохранять своих героев от забвения, а человечество от беспамятства.

Повесть Виктора Некрасова «Городские прогулки» может показаться лишь непритязательными картинками городской старины и ее уходящего быта. Да и автор предупреждает читателей, что они не найдут здесь ни крепко сколоченного сюжета, ни сложных характеристик героев, ни романтических подробностей.

И впрямь трудно понять, почему эта чуточку старомодная повесть с ее акварельными красками, раздумчивая, неторопливая, лишенная громких звучаний, осталась в свое время у нас неопубликованной и чем-то возмутила высокое начальство.

Впрочем, как мы увидим дальше, было в ней, было кое-что неугодное времени. Иногда в самом тексте, а иногда между строк. Старый, уютный, провинциальный Киев — милая родина писателя, Москва довоенных и послевоенных лет, Париж, Бухара, Нью-Йорк... Улицы. Бесконечное число уходящих в прошлое улиц с их раскрытой лишь внимательному глазу поэзией (автор явно получает удовольствие от одного перечисления их древних названий), полузабытые городские маршруты.

Крещатик ранним утром, днем и вечером, приливы и отливы городских толп. Маленькое путешествие в детство, к дому, где прожито было почти двадцать лет. И другой дом на Андреевском спуске, еще хранящий незримые следы присутствия Михаила Булгакова.

И еще дома, дома...

Странно пусты в памяти рассказчика эти улицы и города. Один, в сосредоточенном молчании он проходит по ним, чтобы лучше увидеть, больше вспомнить, заново пережить.

А если он все же выбирает для своих прогулок спутников, то чаще всего не ре-

альных и живых, а вымышленных, призрачных, давно ушедших. Он сидит с Хемингуэем в маленьком парижском кафе и ведет с великим американцем сердечную беседу. А в Москве, в другом кафе, неподалеку от старинного особняка, где когда-то собирались декабристы и куда заходил Пушкин, разговаривает с... его кучером. Собеседники курят «Беломор» и рассуждают о варварском разрушении Москвы и о ее новой архитектуре.

Неожиданные композиционные «наплывы», монтажные перебои и где-то, почти пунктиром, мысли и наблюдения, придающие этой элегической повести социальный и удивительно современный характер, касается ли это всего-навсего нашей так называемой «наглядной агитации» или проблем архитектурного стиля.

«Наглядная агитация»... Трудно сказать, кто ее — бесполезную, а иногда и просто нелепую — выдумал в сталинские годы. И сколько на нее расходовали да и сейчас еще расходуют народных денег.

«Велика беда!» — воскликнет по этому поводу иной сегодняшний читатель, не знающий прошлого. И не поймет, что стоит за иронической улыбкой писателя. Ведь уже забылось, как в шестидесятые годы улицы наших городов были завешены плакатами, доверительно сообщавшими, какой рай нас ждет через двадцать лет, когда мы перегоним Америку по мясу, молоку и прочим благам, а быстрое развитие строительной индустрии обеспечит огромные масштабы капитального строительства.

Ну что же, перегнали... Обеспечили... Маниловщина эпохи застоя дорого обошлась народу. И уже на рубеже семидесятых годов, в то время, когда Некрасов писал свою повесть, иллюзорность хрущевских планов становится все очевидней. Сказать об этом во всеуслышание было нельзя, да и не с руки и без того гонимому писателю. Однако ж пусть полунамеком, но сказал. Сказал и о другом, еще сам не ведая того, какой зловещий пророческий смысл будет заложен в нарисованной им юмористической сценке.

Симпатичный зеленый городишко, куда киевляне летом приезжают отдыхать: тихо, красиво, можно порыбачить, базар недорогой. И вот на окраине этого городка писатель натыкается на лесопилку, обнесенную давно не ремонтированным забором. Визжит циркульная пила, пахнет свежими опилками, возле покосившихся ворот спит богатырским сном рядом с заглохшим трактором бронзовый полуголый парень, а над воротами трепыхается на ветру выцветший от дождей и солнца лозунг «Да здравствует традиционная дружба народов Советского Союза и Непала!»

Городок этот — Чернобыль, где спустя годы беспечность, бесхозяйственность и разгильдяйство, прикрытое громкими словами торжественных обещаний и патетических лозунгов, станут причиной невиданной катастрофы.

Прогулки по окрестностям Киева ведут Некрасова и в Бабий Яр.

Писать о Бабьем Яре в ту пору никто не запрещал. Но это и не поощрялось. Известное стихотворение Евтушенко казалось данью шалостям хрущевских лет.

Глубокий овраг, где за три дня было уничтожено сто тысяч людей, засыпали землей. Долгие годы местное начальство не спешило поставить на месте события, потрясшего своей жестокостью весь мир, памятник.

В такой обстановке те, кто хотел поскорее протолкнуть свое сочинение в печать, естественно, темой Бабьего Яра не интересовались. А Виктор Некрасов не торопился и поэтому интересовался. Для него, крещенного в одной из киевских церквей, расстрел ста тысяч евреев был трагедией всего народа и трагедией всех киевлян, к какой бы нации они себя ни причисляли.

Каждый год 29 сентября к оврагу приходят люди. Ходят по пустырю, плачут, разбрасывают цветы, становятся на колени, целуют землю и уносят горстки ее с собой. И даже в 25-ю годовщину расстрела их никто не попытался здесь встретить, утешить и поддержать.

Пролегла через овраг новая асфальтированная дорога. Выросли кругом многоэтажные здания. От прошлого давным-давно ничего не осталось. Впрочем, вскоре был объявлен конкурс на памятник жертвам фашизма.

От скульпторов потребовали, чтобы их монументы «отображали героизм, непреклонную волю, мужество и бесстрашие наших людей перед лицом смерти от рук немецких палачей...» А между тем о каком героизме слабых и беззащитных женщин, стариков и детей могла идти речь в Бабьем Яру, о какой «непреклонной воле»?

Писатель, необычайно чуткий ко всякой фальши, чуждый во всех своих книгах громогласному пустословию и дешевой патетике, В. Некрасов противился превращению памятника в традиционное выражение протеста. Ему казалось, что группа расстреливаемых людей со сжатыми кулаками и воздетыми к небу руками кричит «нет» тебе и тебя не подпускает к своим безымянным могилам. Ложный замысел порождает и ложное воплощение.

Монополия героического, принудительность эмоций, навязчивость крика, на мой взгляд, не полностью преодолены нашим искусством и сегодня. А ведь нам возводить монумент Победы. Нам ставить памятник погибшим в годы сталинских репрессий.

Тут есть над чем призадуматься.

«Талант,— сказал писатель по какому-то частному поводу,— даже в сложные времена выходит победителем». И совсем на другой странице горестно добавил: и все же «как много надо иметь внутренней силы, чтобы не сломиться под ударами незаслуженной критики и гордо перенести нелегкие годы забвения».

Эти сила и гордость нашлись у В. Некрасова. Добрый талант писателя взял верх над превратностями эпохи. И как

хорошо, что книги его сегодня вновь обретают Родину.

«Путевые заметки» В. Гроссмана «Добро вам!», рассказывающие о его поездке в начале 60-х годов в Армению, пришли к широкому читателю по странному совпадению в дни разрушительного армянского землетрясения, потрясшего весь мир. И прозвучали при этом едва ли не как самый первый, пусть не прямой, но поразительно своевременный и сердечный отклик на катастрофическое событие.

Как будто писатель еще четверть века назад предвидел, что судьба может послать многострадальному армянскому народу новые страшные испытания. И именно поэтому от всей души желал ему добра и счастья.

«Добро вам!» писалось на исходе жизни В. Гроссмана. В ту невыносимо тяжелую пору, когда его вершинное достижение — роман «Жизнь и судьба» был арестован и изъят у автора, а смертельная болезнь уже примеривалась к своей жертве. Тем более удивительны мажорная тональность этого на редкость доброго, жизнелюбивого произведения и щедрость его изобразительных красок.

Был ли Гроссман прав, дав своей работе сверхскромный подзаголовок «Из путевых заметок»? Если да, так только чисто формально. На самом же деле его дорожные впечатления, конечно, вышли за рамки путевого очерка и, как и положено эссе, органично, без всяких швов слились здесь с публицистикой, а предельно откровенная тональность близкого к исповеди рассказа обрела поддержку в глубоких философских раздумьях.

Гроссман приехал в Ереван на два месяца переводить роман одного местного писателя, зная два армянских слова и уповая целиком на подстрочник. Вряд ли что-либо другое могло толкнуть его на это, кроме элементарной нужды.

Не знаю, перевел ли он этот роман о медеплавильном заводе, но путешествие его оказалось не напрасным: едва ступив на армянскую землю, он почувствовал себя влюбленным и в ее народ, и в ее природу. Люди, их облик, их обычаи и обряды, дома, храмы, горы — все поразило его и все вызвало в нем острую потребность обдумать и осмыслить увиденное.

«Добро вам!» — меньше всего путеводитель по чужой стране. Здесь все до последней детали прочувствовано, пережито и подчеркнуто субъективно. Таков м о й Ереван, такова м о я Армения,— говорит нам писатель.

Путь рассказчика из Еревана пролегает по многим городам и деревням Армении. И всюду он стремится разгадать эту единую связь времен, запечатленную в суровом армянском пейзаже и в самом облике народа, вобравшем в себя историю тысячелетних нашествий, пленений и скитаний, историю культурных и трудовых связей людей.

Сама история древнего народа представляется писателю протекающей на трагическом фоне мертвых, распавшихся гор: «Маленький народ стал казаться мне народом-великаном». Ведь только великан способен превращать камни в сочные холмы овощей и исторгать виноградный сок из базальта.

Писатель не склонен идеализировать народ. И еще меньше склонен идеализировать человека. Люди всегда разные. Хорошие и плохие, а нередко и хорошие и плохие одновременно.

Приезд Гроссмана в Армению не вызвал у местных литераторов ни малейшего интереса, хотя он писал об армянах и его произведения были переведены на армянский язык.

Некоторые собеседники писателя отлично помнили приезды в Ереван работников аппарата Союза писателей и дамы, выдававшей в московском Литфонде дефицитные путевки. И уже «совершенно сияющими были воспоминания об именитых московских гостях, чьи служебные заслуги... превосходили их заслуги перед литературой».

Дело было, разумеется, не в причудах писательской памяти: Гроссман находился в опале, широко распространился слух о гневе самого высокого начальства по поводу его нового романа. Встречаться с ним поэтому было не лучшим занятием. Да к тому же ничего от него и не зависело. Путевок он не выдавал, договоры не заключал, командировки не выписывал.

Совсем другие отношения сложились у него с простыми людьми всех возрастов и профессий. Они приняли его без особых церемоний, но с уважением, делились своею радостью и горем, рассказывали о жизни, звали в гости, угощали вином, даже книги его, как выяснится, многие читали. И он чувствовал себя поэтому среди них «человеком среди людей».

Многие из этих людей запечатлены в «путевых заметках» с тем проникновением в их душу, когда можно говорить не просто о портретах, а о характерах.

В книгах Гроссмана меня больше всего привлекает их доброта.

Когда читаешь, к примеру, Астафьева или Конецкого, думаешь, что писатель должен быть яростным и нетерпимым. Иначе нельзя. Иначе соглашательство, раболепство, равнодушие к нуждам людей, незаинтересованность в общественном благе. Но стоит взять в руки книги Некрасова и Гроссмана — людей трудной судьбы, много перетерпевших в жизни,— тут же приходишь к иному выводу: как бы ни был праведен во многих случаях гнев художника, нельзя копить в себе злобу, призывать к мести, расправе, уничтожению. И уж, конечно, художник обязан преодолевать свои собственные обиды, свое личное раздражение. Высшее предназначение художника — понимать людей, верить им, сострадать, проникать в их души.

Среди героев книг Гроссмана мы много раз встречаем лжецов, предателей, добровольных палачей и просто ничтожных людишек с себялюбивой, завистливой, мелкой душонкой. И каждый раз, показывая их страшное и гадкое нутро и

говоря об их низменной сути, писатель, хотя, разумеется, и не призывает к любви и всепрощению, но и не переходит черту: не топает ногами, не пылает ненавистью и не изрыгает проклятия. А остается судьей, суровым, неподкупным судьей, готовым выслушать все объяснения, во всем тщательно разобраться, но не простить там, где это прощение невозможно.

Впрочем, суд художника — суд не уголовный, а нравственный. И раскаяние человека, осознание им своей вины и своих преступлений никогда не оставляло Гроссмана равнодушным. Доброта его — не доброта слепоты, слабости, а доброта веры в лучшие стороны человеческой натуры, в то, что хороших, внутренне неиспорченных и способных к самоочищению людей больше, чем плохих, страшных и неисправимых.

Вероятно, нужны и «злые», и «добрые» художники. Ведь из их противостояния и общих усилий и складывалась мировая литература. В конечном счете они, пусть с разных сторон и разными средствами, всегда делали одно общее дело: расчищали, как могли, путь к прогрессу, к справедливости, к правде.

Проза Гроссмана — проза со свободно ощутимой ритмической организацией. Легкое дыхание просторного и прихотливого ритма описательных страниц умеряется здесь тяжелой поступью исполненных библейского пафоса торжественных периодов, когда мысль рассказчика, обрастая все новыми и новыми оттенками, как бы поворачивается к читателям не одной, а множеством граней.

Назвать эту прозу просто лирической или лирико-патетической неточно. Перед нами особая интеллектуальная, философская лирика, где переживание рассказчика тут же разлагается на составные части и становится предметом всестороннего психологического анализа.

Время и люди, красота и правда, язычество и христианство, тело и душа, жизнь и смерть — таковы лишь некоторые размышления писателя. Но, вероятно, всего важнее среди них мысли о национальном характере.

По сути своей, считает Гроссман, национальный характер — характер человеческий. Он лишь окраска этого характера, его кристаллическая форма. Все люди — братья. Но это не хотят признать те, кто насаждает национальную ограниченность и государственную рознь. Отсекая человеческую суть национального характера, они выдвигают лишь его бесчеловечную сторону, не зерно, а шелуху.

Обоготворение национального характера вступает в резкое противоречие с утверждением великого разнообразия человеческих характеров каждой нации. Есть национализм великих и национализм малых народов. При всех разделяющих их оттенках они во многом сходны.

Высокое, прекрасное чувство национальной гордости легко превращается в дрянное, чреватое многими бедами сознание национальной исключительности. избегли этого превращения и иные из армянских спутников Гроссмана. Им важна была не поэзия, не архитектура, не наука, не история сами по себе, им только хотелось сказать, что армянский поэт лучше русского или французского национального поэта, а армянский народ превосходит все другие народы. Смириться с такой позицией писатель не мог, хотя он понимал, что виновны в ней прежде всего те, кто на протяжении многих веков попирал достоинство армян: турецкие убийцы, завоеватели-ассимиляторы, разносчики пошлых и сальных армянских анекдотов.

«Лишь всегда, неотступно возвышая человеческое, лишь объединяя национальное с человеческим,— скажет он,— можно достичь истинного достоинства, а значит, и истинной свободы... И, конечно, русские люди, так же как армяне, грузины, казахи, калмыки, узбеки, должны во всей глубине понимать, что в отказе от идей превосходства своего национального характера лежит истинное утверждение величия и достоинств русского человека, русского народа, его литературы, его науки».

Какие точные слова и какая справедливая и плодотворная программа! И как она созвучна нашим сегодняшним помыслам и заботам!

В. Гроссману казалось, что в поэзии XX века стало меньше «жаркого сердечного могущества и всепоглощающей человечности... Словно поэзия из булочной перебралась в ювелирный магазин, и на смену великим пекарям пришли великие ювелиры».

Вряд ли это заключение применительно к поэзии и к литературе в целом можно считать справедливым. И опровергает его, конечно же, само творчество писателя.

В. Гроссман, бесспорно, был «ювелиром». Но он при этом был еще и «пекарем» и обнажал беспощадную правду о жизни и судьбах своих современников.

Все разнородные жанровые и тематические пласты в эссе объединены образом героя-рассказчика. Как в «театре одного актера», он непрерывно находится на «сцене», рассказывая о себе и своей жизни и одновременно о многих и о многом.

Круг его жизни широко разомкнут в историю и в жизнь других. Он вспоминает, размышляет, странствует, ведет дневники, проповедует, исповедуется и переписывается с друзьями.

Безусловно, права Наталия Иванова, эссе — есть способ с а м о п о з н а н и я, «стремление обнажить самого себя, понять себя и свое время, напряженный диалог с самим собой...» Но это еще и с п о с о б п о з н а н и я д р у г и х. Способ рассказать о мире через себя и о себе с помощью мира.

Не случайно почти все книги, о которых выше шла речь, имеют своим сю-

жетным ядром путешествие героя во времени и пространстве. И ничто их так не сближает, как Дорога и навеянные ею впечатления, воспоминания и раздумья.

И даже в «Зрячем посохе» — повести, организованной, казалось бы, на основе иной композиционной структуры,— автор-рассказчик постоянно перемещается из одной пространственной точки в другую.

А дорога, как известно, во все века и у всех писателей оставалась местом встреч и столкновений героя с действительностью, заманчивой формой открытия огромного мира.

В основу эссеистической структуры всегда заложена какая-то драма. Нет эссе без явной или потаенной полемики с миром, без неприятия его отталкивающих или уродливых сторон, без апелляции к высшей справедливости и правде.

У одних эссеистов объект изображения полностью сливается с субъектом. Другие лишь пропускают действительность через себя. Но все они неизменно ходят по краю какой-то душевной пропасти. И у каждого из них она своя.

В чем-то они схожи: одинокий, мятущийся человек Конецкого и глубоко озабоченный рассказчик Астафьева, немногословный в выражении своих чувств и о многом умалчивающий повествователь Некрасова и познающий себя в процессе познания других рассказчик Гроссмана.

Психологическое каждый раз опирается на социальное и ведет его за собой.

Героем Конецкого руководит отвращение к общественной фальши, лицемерию, разрыву слова и дела.

Решительное неприятие людей, оторванных от народа и живущих за его счет, напряженная дума о судьбах отечественной литературы владеют героем Астафьева.

В «Городских прогулках» повествователя угнетают тирания общественных вкусов, насаждаемый «сверху» произвол в оценке произведений искусства и их творцов, а наряду с этим — царящая в обществе атмосфера бездумности и равнодушия. Герой же Гроссмана больше всего озабочен острыми проблемами национальных отношений.

При этом Конецкий и Некрасов говорят не только от себя, но и как бы от имени своих не близких друг другу поколений. Астафьев — от лица всей необъятной России. А Гроссмана волнуют чувства и настроения народов, объединенных общностью своей трагической судьбы.

Человек. Поколение. Народ. Человечество. Четыре октавы бытия. И четыре аспекта его познания.

Эта завидная широта социально-психологического диапазона эссеистической прозы, присущая ей духовная независимость и свободомыслие, многое объясняют в ее сегодняшнем расцвете.

Время настойчиво требует от литературы открытого разговора с читателем, разговора «начистоту», без посредников и образных масок. Может быть, поэтому мы все чаще сталкиваемся в последние годы с эссеизацией жанров повести и романа: «Печальный детектив» В. Астафьева, «Все течет» и «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «Пушкинский дом» А. Битова, «Все впереди» В. Белова, «Факультет ненужных вещей» Ю. Домбровского, «Белые одежды» В. Дудинцева, «Мужики и бабы» Б. Можаева, «Зубр» Д. Гранина, «Ягодные места» Е. Евтушенко — во всех этих и многих других книгах художественное повествование размывается волнами публицистики, а в многоголосый хор их персонажей отчетливо вплетается — а иногда и солирует — авторский голос.

И без этого плодотворного скрещения жанров, без этого сочетания беллетристики с исповедью и проповедью нам сегодня нередко становится в литературе неуютно и пусто. Как будто герои повестей и романов больше не говорят словами, вложенными им в уста автором, и не несут в себе его идей и его отношения к действительности.

Между тем «авторская проза» и тем более эссе, конечно же, остаются всего лишь одной из многих возможностей художественного объяснения жизни. Не стоит преувеличивать их роль в жанровом ансамбле современной литературы. Но нет смысла о ней и забывать.

Давно известно: все жанры хороши, кроме скучного. Да и не в жанрах в конечном счете суть. Все, как мы только что убедились, решает позиция писателя, его честность, мудрость, талант и, что всего, очевидно, важней, его способность, не поддаваясь диктату обстоятельств, непримиримо отстаивать свои убеждения и свое собственное бескомпромиссное видение мира.

По страницам книг и журналов

Жизнь и смерть Хведора Ровбы

Василь Быков. Облава. Повесть. «Новый мир». 1990. № 1.

Опыт литературы учит: не бывает таких трагических эпох в истории народа, которых не выразили бы рано или поздно совестливые художники. Обстоятельства могут не благоприятствовать, цензура преграждать дорогу, эйфория ложной веры сбивать с толку, репрессии «обуздывать», подталкивать к эзопову языку, темному до невнятицы; могут пройти долгие годы вынужденного молчания, но наступает пора — и правда выходит наружу.

Через десятилетия, через полвека под накопившимся «некультурным слоем» печатной лжи, беллетристической лакировки обнаруживается жесткая конструкция правды, грубый, шершавый подтекст жизни. Тогда общество открывает для себя новую книгу. Молодые читают ее потрясенно,— неужели такое могло быть?! Могло случиться?! Пожилые с покаянным, смятенным чувством: значит, я был слепцом, жил, не ведая масштабов народного бедствия, бездны его страданий!

Сегодня мы взволнованные читатели книг-откровений. Большая литература, наследница гражданственных традиций XIX века, продолжала жить, создавались поэмы, повести и романы в надежде на времена, когда откроются дороги к читателю.

Удивляют нынешние сетования на некий кризис прозы, на невнимание журналов к современности и новым именам. Строго говоря, это благодетельный кризис расхожей, малокровной прозы, которую все еще по инерции печатают в книжных издательствах, но на журнальном пороге многое никнет, даже и такое, что несколько лет тому назад могло бы заинтересовать редакции. Все усложнилось: молодые не рассчитывают на чрезмерное снисхождение к возрасту, «генералы», сановные авторы поостерегутся, думается мне, нести в журнал «сырье» в расчете на то, что, как прежде, редакторы дотянут, докрасят, доштукатурят...

Писатели, самые бесстрашные из нас, давно и настойчиво стремились сказать слово правды о трагедии «раскрестьянивания» страны, о великом голоде начала 30-х годов, о неисчислимых человеческих жертвах и разрушении самого уклада народной жизни. Все честное и сильное памятно: лучшие страницы прозы Ф. Абрамова и В. Астафьева, залыгинское «На Иртыше», «Матренин двор» А. Солженицына, роман и повести Б. Можаева. Яростным, обжигающим светом пронизал темнóты эпохи «великого перелома» В. Тендряков — два его посмертно опубликованных рассказа «Хлеб для собаки» и «Пара гнедых» выхватили из трагического прошлого образы большой впечатляющей силы.

Но каждый последующий шаг литераторов в этом направлении представляется мне все более сложным и затрудненным, хотя и почти убран цензурный «шлагбаум», а наука и статистика помогают осмыслить масштабы и глубины народного бедствия. Явление уже названо и очерчено вышедшими книгами, в иных очерчено ярко, памятно, и исторический материал, в них заключенный, уже не открытие и не откровение, сила новизны, первопрочтения потеряна. Народную судьбу нужно выражать с новой художественной энергией, создавая свой особый образный мир — и узнаваемый, и непредвиденный.

Василь Быков, давно и прочно определенный критикой и литературоведением в военные писатели, никогда не давал нам забыть о своих крестьянских корнях — характеры героев его военных повестей, их судьбы и память, большинство ретроспекций уводили нас в деревенское прошлое, под стрехи их детства. Случалось, что в книги о войне и оккупации входили горькие, страшные картины насильственной коллективизации, входили цельным, обстоятельно разработанным сюжетом,— былая жизнь Степаниды и Петрока и испытания, выпавшие на их долю в годы оккупации, стягивались в один мучительный и нерасторжимый узел исторических судеб крестьянства.

Повесть В. Быкова «Облава» вся о довоенном времени, о «тихих» годах, когда еще молчат пушки и приговоренных к уничтожению убивают не за околицей, а увозят умирать в Заполярье, на северные лесоповалы и в шахты. «Тихая» повесть, она и завершится мудро и печально: «Не дано было жить тихо, так хоть тихо умер». Какая же должна быть мера земного страдания, мера трагического отчуждения, чтобы, погружаясь навеки в болотную бездонную трясину, испытывать в этот миг душевное облегчение! И названия глав повести, четырех из пяти, тоже обещают покой, доброту, благость, тишину, врачующее созерца-

ние: «Человек на околице», «Ночь и покой», «Полнолуние», «Радость земли». Только последняя, пятая глава, давшая название всей повести — «Облава»,— вознесет историю жизни Хведора Ровбы к высотам классической трагедии. Совсем не громкая, как, впрочем, все у Василя Быкова, я бы даже сказал — тишайшая, как и сам Хведор Ровба, короткая повесть набатно отзовется в душе. Горестные, но простые, бесхитростные события, заурядные, единственные для Ровбы поступки, неотвязно повторяющиеся мысли, унылые даже в этой повторяемости,— отчего же так учащается наш пульс, так истов и громок отзыв нашей памяти — личной и исторической — страданиям Ровбы, так неотступно желание сразу же перечитать повесть, не выпустить из рук номера журнала, хотя бы перелистать эти четыре десятка страниц, убедиться, что все так, так, все на редкость просто, погружено в обыденность и поднято до высокого порога страдания общечеловеческого.

Все в повести быковское, свое, единственно сущее для художника, узнаваемое по любой частности, по тону и неторопливости повествования, по особой почти педантической заботе о достоверности каждой бытовой подробности, по колдовской слитности авторского голоса и размышлений, мыслей, воспоминаний, горестных умозаключений героя повести. Едва ли возможно разглядеть разделительную черту между авторским восприятием мира, природы, даже между авторским изображением Хведора Ровбы и самим Ровбой, его опасливым взглядом из-за околицы туда, где в сутеми схоронилось родное Недолище и уже исчезающий с лица земли хутор, поставленный его трудами. Только преданное, внешне ровное, но в сущности своей трепетное следование за Хведором. Не суждения о нем, сколь бы тонкими и умными они ни оказались, не суд над Ровбой, пусть самый благожелательный, не попытка взглянуть с некой высоты на простого, замордованного жизнью, но сохранившего свою нравственность человека, а, повторяю, следование за ним, полное слияние с ним и такое его приближение к нам, что и наш взгляд на него становится братским.

Осиротев, схоронив на ссыльном севере жену Ганулю и дочь Олю, раскулаченный Ровба с фальшивой справкой на чужое имя бежит на родину. Он движим чувствами столь же понятными и естественными, сколь и необъяснимыми: ведь именно в тех краях «люди для него представляли наибольшую опасность в поле, в деревнях, на дорогах», а «встречи со своими он теперь опасался больше всего». Он — беглый, отныне вдвойне преступник, справка на имя неведомого Андрея Фомича Зайцева не поможет там, где всякий признает в изможденном скитальце Хведора Ровбу, былого солдата первой мировой войны, безземельного бедняка, после революции осчастливленного народной властью и поставившего хутор на выделенной ему земле. Жена, дочь, сын, немудреное хозяйство, доставшееся ему кровавым потом,— вот его земные богатства, которым позавидует лишь нерадивый хозяин, озлобившийся злыдень.

В простоте душевной Хведор связывает свою распроклятую долю раскулаченного с тем, что, поднатужась, он купил молотилку, купил на пользу себе и соседям, но и на собственную погибель. После доноса Микиты Зыркаша о молотилке Ровба попал в число хозяев, подлежавших «твердому» обложению, а затем и разорению, и ссылке. Так он думает и после долгой северной поселенческой муки, после всех страшных потерь,— но мы хорошо знаем, что, и не случись Ровбе обзавестись молотилкой, судьба его не была бы легче: истовый труженик, хозяин пары лошадей, домашней скотины, рачительный хлебороб, с толком ведущий хозяйство, украшающий землю плодовыми деревьями, на глазах у односельчан выбившийся из нужды к достатку, он и без молотилки угодил бы в списки тех, кого жестокая действительность пустила в «перемол» и на истребление.

В. Быков только мельком касается последнего скитания Хведора, его крестного пути от угрюмой северной реки до родительского села, в самом названии которого — Недолище! — выражены горестность судьбы и несбыточность надежд. В мире зла и несправедливости встречаются Ровбе и люди с сердцем: бригадир лесосплава Кузнецов, без слов уразумевший, что после смерти дочери Хведора неотвратимо повлечет в побег, и сунувший ему спасительную бумагу; или тот, кто подарил однажды кожаные постолы босому, со сбитыми в кровь ногами, путнику. Мы запомним и эти фигуры, ненадолго проступившие в сумерках жизни Хведора Ровбы.

С настороженностью гонимого, преследуемого зверя бродит вблизи Недолища Ровба, дождавшись сумерек и ночной темноты, приглядывается к ближним от околицы хатам: какая нынче в них жизнь? Бродит в ночи и по своему негоревшему пепелищу, теряясь в догадках, куда свезли по бревнышку родную избу, дворовые постройки; замирает у черной ямы на месте бывшего колодца с живой и, казалось, на века подаренной ему и его детям водой... По привычным звукам, по слабому, затеплившемуся вдруг свету окон, по мелькнувшей там тени пытается отгадать новую жизнь односельчан, идущую без него, прокаженного...

Медлительно, тяжело ворочаются жернова его памяти, не потому, что он тугодум,— причина в другом. Хведор уже дошел до мыслимого предела; в стране, в огромной стране для него нет и пяди другой земли, нет и не возникло другой жизненной цели, нет уже и судорожного или яростного цепляния за жизнь, чтобы выжить и жить, жить и жить... Все это уже не для него, замордованного, одолевшего и страх смерти, и все искусы жизни.

«Умереть бы, найти великий покой в родной стороне было бы для него счастьем, о котором он мог только мечтать».

Чьи это слова? Автора с его святым правом приникать к душе и мыслям героя? По видимости — автора, но только по видимости: В. Быкову удалось столь полное слияние с героем, с кругом его мыслей, с инстинктивными движениями, с самим его дыханием, что и авторский текст как бы пропущен через Ровбу, становится его не опосредованным, а прямым выражением.

Не скажу, что Ровба пришел намеренно к околице Недолища, чтобы здесь умереть,— такое «выпрямление» было бы манерным, — но гибель его неотвратима, в ней гневный приговор палачеству и высокая проба трагедии. У него за спиной «тихие» смерти жены и дочери, но рассказано о них скупо, для нас, читателей, случившееся с ними осталось как бы на втором плане страдальческой одиссеи Хведора Ровбы; рассказано без тех подробностей, которые непременно открылись бы, не будь Ровба великим терпеливцем, а его потери — только предысторией блужданий героя у околицы Недолища. Он воплощенное смирение, страдалец, если кого и клянущий, то только «растреклятую судьбу». У Хведора Ровбы начисто отнято бунтарство, даже и тень бунтарства, всякое, пусть неотчетливое, слабое шевеление социального протеста. Покорность судьбе, оставаясь индивидуальной чертой натуры, характера Ровбы, вместе с тем оказывается и приметой времени, страшной приметой сломленности, мерой слепоты и угнетенности, и — стократно — уликой преступления, творимого над народом. И еще в нем огромный, поражающий воображение ресурс доброты и милосердия.

В годы, когда покорствовал Ровба, возникали и бунты, сотни бунтов, настоящие крестьянские восстания, с которыми власть справлялась, бросая на подавление регулярные армейские части,— мы теперь все больше узнаем о реальных событиях тех лет. Но Ровба пришел в жизнь, а после и на страницы повести, другой и с другим: с великой добротой, с изначальной любовью ко всем людям, со смирением и поистине евангельским даром всепрощения. Он и смолоду был такой, пройдя круги ада, потеряв все, что с любовью и лаской держал в натруженных руках, не озлобился. Тихая печаль и горестное недоумение донимают его при взгляде на совсем обнищавшую землю Недолища, на небрежно, не по-хозяйски выбранный из земли картофель, на безрадостность темных окон под стрехами. Нет в его душе и крохотного, с маковое зернышко, места для злорадства, для мстительного или просто недоброго чувства.

Хведор Ровба, не поднявшийся до протеста и гнева, тем сильнее пробуждает этот гнев в нас. Гневное чувство вырастает, как если бы мы наблюдали палачество, творимое над ребенком, над существом изначально беззащитным. Создан цельный, совершенный характер, в нем одно из важнейших толкований механизма насилия, одно из объяснений того, почему это насилие могло вершиться почти безнаказанно. Создан характер, которому отныне суждено жить и оставаться в литературе, заняв свою «нишу», никого не повторив. Он заслуживает самого глубокого психологического и социального исследования и как народный характер, и как художественный, типично быковский образ. В сущности, В. Быков через десятилетия и многие подступы и пробы двигался навстречу этому Хведору Ровбе.

Я не обмолвился, сказав вначале о достигнутой в «Облаве» трагедийной высоте повествования. Трагедии, утверждал Аристотель в «Поэтике», происходят, вершатся между своими. Если рвутся кровные связи, родственная или родовая близость, сила напряжения, сила взрыва должна быть куда более значительной, чем при ссоре или конфликте чужих друг другу людей. Драматично отчуждение хлебороба от родной земли, насильственное изгнание, отторжение его от односельчан, воплощающих для него народ, но Быков удесятеряет трагедийный накал событий, вводя в повествование Миколку Ровбу, сына, счастливо избежавшего участи всей семьи. Что ж, размышляет Ровба, Миколка был «парень разумный, грамотный, не ровня батьке», и хорошо, что уцелел, выбился в люди, в какие-то начальники, хорошо и то, думает отец, что на сына не лег «позор семьи», клеймо раскулаченного. Он и не писал никогда сыну, чтобы не помешать его отдельной, благополучной, достойной жизни.

Но случайная встреча со стариком пастухом и услышанная от него новость так оглушила Ровбу, что земля поплыла у него из-под ног. «Кому жаловаться? — с ухмылкой вопрошает старик Хведора.— Начальникам? Так они же у нас как зверюги. Приедет который... Вунь этот Ровба: все матюгом да пагрозой. Сибирью пужает...» Пройдут считанные часы, и по чьему-то доносу (не женщины ли, которая шарахнулась, завидя Ровбу, и кинулась в избу) начнется облава, двинутся отовсюду сельчане, деревенские загонщики, пограничники, псы о четырех ногах и двуногие, азартные, немилосердные, а с ними — нет, не просто с ними, а покрикивая на них, приказывая, — Миколка, сын, родная кровь, начальник...

Ровба загнан к Боговизне — бездонной трясине, гиблому болоту, нагонявшему издавна страх на здешних жителей. Полукруг загонщиков все сужается, они тычут в заросли лозняка длинными шестами, бьют по болотной жиже, чуют, знают, что Хведор Ровба скрывается здесь, неподалеку. И перед самой гибелью Хведору суждено услышать зна-

комый, родной голос — голос сына: «Давай, давай! Еще можно...», «Лещук, вон туда пырни!»

Для Миколки не секрет, на кого идет охота, какого «зверя» ищут. «Ровба, вылазь!» — то и дело кричат загонщики.— Гражданин Ровба, от имени советской власти предлагаю сдаться...»

Сын охотится на отца!

Закрытостью от нас фигуры и образа Миколки, его как бы анонимностью, а главное, потрясающим душевным откликом отца на открывшийся ему ужас, бездну, столь же гибельную, как и трясины Боговизны, Василь Быков поднимает конфликт до уровня трагедии. Ровба и тут, напоследок, жалеет не себя, гибнущего, обреченного, а сына: «Бедный Миколка, и ему лезть сюда! Однако, видать, не от сладкой жизни, наверно, заставили...» Может, ему приказали... послали на поимку отца, от которого он отрекся. Если отрекся, то можно, видно, и ловить. Но если такое возможно, то как тогда жить?» А за миг до вечной тьмы его осеняет спасительное доброе открытие: «Счастливая Ганулька, она уже не увидит такого».

Эстетическая мысль обычно искала формулу высокой трагедии в судьбе и гибели героя, опередившего свое время, эпоху. Применимо ли это к Ровбе, смиреннейшему из смертных, терпеливцу, никогда не нарушившему ни одной из господних заповедей, не покусившемуся ни на одно из мирских установлений, ни разу не поднявшему гневного голоса?

Не знаю, но последние страницы повести, но страшная Боговизна, могильные бездны которой Ровба предпочел жизни в уничтожившем его обществе, но само столкновение реального с р е д н е в е к о в ь я с удивительной нравственной высотой героя, его доброй и милосердной душой понуждают прочитывать финал, а значит, и всю повесть как высокую, чистую и по жанру трагедию.

Кто не помнит рожденных нашей историей и социальной жизнью проклятых вопросов: «Что делать?» и «Кто виноват?». Тишайший Ровба приходит к нам еще с одним вопросом, характерным для него и для миллионов других, сметенных с лица земли: «За что?»

За что?

«Это проклятое з а ч т о, — свидетельствует автор повести, — раскаленным гвоздем сидело у него в голове».

«За что все это навалилось на меня?» Всякий час донимает его это проклятое: за что?

И оттого, что самому Ровбе не отыскать ответа ни у Бога, ни у людей и вопрос этот в его устах оборачивается для нас криком отчаяния, великой безответной печалью, что Хведор Ровба и уходит из жизни с тем же вопросом в душе и на устах, мысль читателя истово, настойчиво будет искать ответа.

Александр БОРЩАГОВСКИЙ

Большие хлопоты в казенном доме

•

Евгений С и д о р о в. Теченье стихотворных дней. Статьи. Портреты. Диалоги. М., «Советский писатель», 1988.

•

Шла цыганка по улице, настороженно оглядывая по сторонам, всматриваясь в лица прохожих; чуть поодаль — ее товарки; багряным, оранжевым и попугайно-зеленым переливаются их живописные обноски. Цыганки на работе. А навстречу им — критик Евгений Сидоров. Все-то мы, бывает, даем слабину; и со мною бывало: поддашься гипнозу, протянешь замызганной красавице рубль, якобы для ее грудного ребеночка, ан, глядь, уже и обступили цыганки, тараторят. Минута — и все, что было в кошельке, им вытряхнул, взамен же приобретя два-три угаданных штриха достаточно мне самому известной собственной биографии, да какие-то туманнейшие посулы, и еще ощущение, что вот опять облапошили... А чем Сидоров лучше? Он тоже остановился, позволил себя обобрать, услышав зато: «А ждут тебя, красивый, большие хлопоты в казенном доме!» И исчезли цыганки, аки призраки. Растворились.

Сцену встречи критика с цыганками я, разумеется, выдумал. Выдумал, зная незлобивость его натуры: ни опровержений строчить он не станет, ни, поддавшись веяниям моды, в суд на меня человолюбиво не подаст. Но вымысел мой претендует на некую достоверность и художественную обобщенность, потому что и литературно-нравственная установка Евгения Сидорова как творческой личности, и, в частности, пафос его нового сборника как нельзя лучше определяет именно избитая формула разного рода гаданий. Применительно к Сидорову эта формула способна открыть глубоко скрытые в ней содержательные начала.

Казенный дом — Литературный институт им. А. М. Горького. О нем не раз говорится в книге. То мелькнет упоминание о «страдающих от непризнания, обивающих пороги редакций, приемной комиссии Литературного института» бездарностях. То воспоминание встретишь: в институте «училась целая плеяда писателей, о которых вскоре услышала вся страна». То цитата из горестных автобиографических признаний поэта Николая Глазкова: «Когда меня исключили из пединститута, я пошел к поэту Асееву и потребовал рекомендацию в Литинститут...» И подобное влечение к дому на Тверском бульваре в Москве вполне объяснимо: сказать, что Евгений Сидоров много лет руководит институтом,— ничего не сказать. Возглавляет? Опять не то! Он неотторжим от Литературного института. Овеянный легендами особняк — материализация какой-то части его души. Кстати, снова раздается настороженное ворчание: да зачем он нужен, Литинститут? Да что он дает стране? Да кого выпускает? Во что он государству обходится? И вообще пора бы его того-с... у-праздн-иты!

Я — лицо незаинтересованное, но я вижу всю бесчеловечность таких рассуждений. А Евгений Сидоров, буде в пылу реформаторских рационализаций институт и впрямь вздумали б упразднять, он, по-моему, добудет где-нибудь по меньшей мере ручной пулемет, выроет у входа окопчик и заляжет там с группой студентов в самой искренней готовности умереть, но не сдаться. И будет он прав. Потому, что нельзя ликвидировать... ауру. Дух. Традицию. Вереницу воспоминаний. Срезать один угол и без того деформированного треугольника, незримо прочерченного в центре Москвы: университет — консерватория — писательский институт. Я не буду аргументировать именами: мол, он дал таких-то и таких-то писателей. Даже если б он таких писателей и не дал, а дал бы других, поменьше мастерством и талантом, он навеки должен остаться в Москве. Нерационально? Допустим. Но уж больно торопимся мы обнаружить свой трезвый рационализм, не умея понять: иррациональное тоже может оказаться полезным, нужным. Духовно необходимым народу. Ах, да что там, ежели дойдет до дела, поковыляю к Литинституту и я: кряхтя, лягу у пулемета рядышком с Сидоровым, вторым номером буду, диски ему снаряжать.

Вся тирада моя — к одному: никогда я не видел, чтобы дом и человек так нашли бы друг друга, так слились бы, как это осуществляется в симбиозе «Сидоров — Литинститут». Слияние их представляется мне уникальным, но до крайности знаменательным. Дом, выражаясь общепринятым ныне термином,— это хронотоп Евгения Сидорова. Причем именно некий социальный, казенный дом. Дом соборный. А свое призвание критик видит в том, чтобы его обустраивать. Чтобы было как лучше. Чтоб царило в доме благообразие. Чтобы в нем, разумеется, не было ни сору, ни ссор.

Меня всегда восхищало деятельное отношение Евгения Сидорова к литературе. Конечно, критик на то и критик, чтобы относиться к своему предмету деятельно; но здесь деятельность достигает высшего напряжения. Сидоров вечно в хлопотах, а хлопотать, по-моему, по преимуществу наше, русское отношение к окружающему, усугубленное к тому же долгими годами социальных и бытовых неурядиц и бедствий. Начиная, пожалуй, с Горького уделом писателя стало за кого-нибудь хлопотать, выхлопатывать для ближних своих какой-нибудь чуть-чуть посытнее паек, возможность издать книгу, улучшить жилплощадь. А были смельчаки, так даже и за жизнь собратьев своих хлопотать пытались (ничего у них, насколько я знаю, не выходило; но честь и хвала их мужеству).

Поэзия для Евгения Сидорова — духовная модификация дома, в котором мы все живем. О быте этого дома он неустанно хлопочет. В данном случае речь идет о доме относительно новом: рассматривается поэзия за 25—30 лет, до 1985 приблизительно года. Ясно, что убранство дома достаточно скромно; и не виноват критик в том, что оно таким оказалось. Именно в эти годы закончилось начатое сразу же после революции растерзание русской поэзии надвое, дробление ее по землям заморским. Мы же здесь, как теперь становится ясно, обходились немногим; и это немногое нас удовлетворяло...

Сидоров старался, чтобы дом все-таки был на высоте. Говоря об альманахе «День поэзии 1977», он сетует на вновь приходящих в дом: при чтении «обширного раздела молодых... остается ощущение усталого торжества середины, какого-то раннего благополучия и уюта...» «Уют» — типично домоводческое понятие, для мироощущения Сидорова оно характерно. Он — за уют, но уют, отвергаемый им, был уютом капитуляции и не мог прийтись ему по душе. Со всем прямодушием сокрушается он, видя «унылое однообразие мотивов и интонаций, главенствующих в молодой русской поэзии и весьма поощряемых издателями». И именно Сидоров в годы пережитого нами тихого ужаса произнес ставшее впоследствии ежедневным слово «застой», хотя и ограничил его сферой поэзии (еще бы не ограничил!). «Мне говорят: застой. Если взять и прочитать всю выпускаемую ныне поэтическую продукцию, тогда да, застой». А далее — о том, что при общем застое поэты по отдельности все же эволюционируют. По формуле Дмитрия Сухарева:

Я знаю, какая б ни темень,
А ты свою линию гни.

Сердясь на капитулирующих, критик неутомимо поддерживал тех, кто гнул свою линию, поневоле блуждая впотьмах (а то и пребывая в Потьме).

Необъявленным лозунгом времени было: «Да не надо нам этого!» Чего именно не надо? Да вообще ничего. Модернизма. Структурализма. Религиозных исканий. Социологических штудий. Литературоведческих гипотез. Реформ экономики, упрощения правописания — ничего.

Поэзия в этих условиях всеобщего социального сомнамбулизма перестала быть поприщем для общественно значимого поступка. Уделом поэта стало изо дня в день «гнуть линию», и Сидоров справедливо выдвигает тех, кто осуществлял этот modus vivendi: Олега Чухонцева, Олега Дмитриева, Дмитрия Сухарева. Не поддаваться реакции можно было и не переча ей явно. Особенно преуспел в этом покойный Николай Глазков, кото-

рого Сидоров всемерно пропагандирует. Я и здесь готов его поддержать: эксцентричный созерцатель текущего быта, иронизирующий над собою, над окружающими, наделенный огромной филологической интуицией, поэт тогда был, я думаю, необходимее многих других. В доме, о здравии обитателей коего хлопочет критик, этому князю Мышкину современной поэзии отведено одно из самых почетных мест.

Книга Сидорова тяготеет если не к энциклопедичности, то к полноте несомненной. Дом заселен: кто-то по инерции эстрадных хрущевских времен продолжает громогласно кричать, а так-то все больше перешептываются. Русские поэты, литовец Юстинас Марцинкявичюс, грузин Отар Челидзе, казах Олжас Сулейменов. В камине потрескивают дрова, на столе незатейливое угощение:

> И сидра пузырьки, и пена,
> и баклажанная икра!

Чем богаты, тем, как говорится, и рады. И историки скорбных времен существования нашей поэзии не однажды, я полагаю, будут обращаться к книге Евгения Сидорова.

Упрекать критика в том, что он упустил кого-то, кого-то не приветил, бессмысленно: все-таки не словарь же он составлял, не новое издание КЛЭ единолично писал. Но об одном необъяснимом пробеле не сказать невозможно:

ВЫ-СОЦ-КИЙ!

Почему за порогом дома-книги оказался этот лирик, волею судеб ставший центром поэзии времен трагического застоя? Нравится он кому-нибудь из нас или нет, вызывает интерес как экстраординарный эстетический феномен или побуждает всего лишь к генеалогическим разысканиям на предмет выявления его расовой неполноценности, но он был же, был! И его хриплоголосые песни стали тем, что согревало, озадачивало, обкадеживало в бесцветные годы. Возводить его в гении нам, быть может, и ни к чему, но уж так получилось, что истории заблагорассудилось на какое-то время ниспослать нам в дар эксцентричного вольнодумца с гитарой. А серьезная критика его проглядела. Сидоров, скажем ему в оправдание, лишь повторил общую ошибку: о Высоцком похлопотать у него как бы сил не хватило, а без какого бы то ни было высказывания об этом не вписывающемся в каноны поэте любой анализ современной лирики будет принципиально неполон.

Есть люди, не выносящие многозначности. Им вынь да положь: похвалил я Евгения Сидорова или же обругал (иначе критик, по их мнению, мыслить не должен)? И не желая обрекать их на излишние томления духа, во всеуслышание провозглашаю: Си-до-ро-ва я по-хва-лил! Рецензия моя — по-ло-жи-тель-на-я! А чтобы уж и совсем было ясно, могу сообщить студентам Литературного института, пока его не упразднили, а их не разогнали ввиду бесперспективности их обучения: их шеф получил пятерку

С минусом, правда, в основном за Высоцкого. Но тут уж ничего не попишешь...

В. ТУРБИН

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**
Первый заместитель главного редактора **Н. К. ЛОШКАРЕВА.**
Редакционная коллегия: **Г. В. БУДНИКОВ** (зам. главного редактора), **В. В. ДЕМЕНТЬЕВ, Р. Т. КИРЕЕВ, Н. Д. КРЮЧКОВА, А. Н. КУРЧАТКИН, В. М. ЛИТВИНОВ, А. А. МИХАЙЛОВ, И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь), **В. Д. ПОВОЛЯЕВ, В. Я. САВАТЕЕВ, И. Е. ФИЛОНЕНКО.**

Технический редактор С. И. Суровцева

Сдано в набор 07.03.90. Подписано к печати 26.03.90. А 06861. Формат $70\times108^1/_{16}$. Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24. Тираж 335 000 экз. Заказ № 1985. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 241-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37. публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типогрвфия имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП. Мосива, А-137. ул. «Правды», 24.